

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ**



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ТОМ ВТОРОЙ



ПОВЕСТИ
РОМАН

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1983

84Кл7
А 36

Ч $\frac{4702010200-089}{078(02)-83}$ Подписное

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

(ПОСЛЕ СКАЗКИ)

ПОВЕСТЬ

I

У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой.

Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающей под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка навевалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окошкам. — Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Исык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, уж конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчик давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабушка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А случись, кто знает, — бабушка, может, и вправду не кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой... А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабушка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом...

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная, — побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки.

Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, и нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», — бросил он на ходу «Лежащему верблюду» — так он называл рыжий горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего кучехвостого мерина — так, небрежно, походя; ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» — наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк» — очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень —

это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди,кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел... Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, — главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне не видно было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, — самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только прогреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные... И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделять наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали — исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все,

чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами...

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки — ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и клонятся. И кланяются все как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят... Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они...

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!

Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала ко двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехала! Машина-магазин приехала!

Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли

о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, — и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот... Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец хмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он сжал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась:

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю, — коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура, — еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же!..

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в город деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну, разве это торговля! Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круглая голова. — Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет, — и помотал головой.

— А я думаю, есть, — с притворным недоверием протянул продавец. — Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги.

— Нет, дядя, — по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец. — Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да. — Мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? — шутливо попрекнул его продавец. — Ну, ладно, коли так. Держи, — он достал горсть конфет. — И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора.

Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить его — зачем, мол,

держат такую собаку. Да дед все упрашивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего, — сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть — все-таки собака...

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри, — предупредил он пса. — Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал — ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момун, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходиться с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко, и главное — не отлынивал, как другие. Айльные молодайки, которым надо было припять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!

И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момуна хоть бы что!

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям — на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни, — Момун отвечал: «Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти...»

Вот такой он был, Расторопный Момун!

И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдеправом был; когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцам в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аскальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагоприятное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым», — а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбочивое и морщи-

нистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты мне только скажи, в чем твоя нужда».

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький, старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые — вот и вся борода.

То ли дело — видишь вдруг едет по дороге осанистый старик, а борода как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное — чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то...) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неумной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым решительным?..)

А Момун был не таким. Он был чудаком, и относился к нему, как к чудаку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна: позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок... Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его, — на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, — а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.

— Ассалам-алейкум, большой купец! — сказал он полшутя-полусерьезно. — В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — весь сияя,

Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, — отвечал Момуну:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой, — смущенно извинялся Момун. — Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку...

— Сказывай! — перебил его продавец. — Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать — жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна.

— Ей-богу, нет таких денег, — оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?

— Ей-богу, нет, клянусь Рогатой матерью-оленихой!

— Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой...

— Э-э, да что с тобой толковать! — махнул рукой продавец. — Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.

— Гостит, стало быть, — понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый, — снова заговорил Момун. — Осенью, бог даст, продадим картошку...

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал, — отказался продавец.

Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать за машиной:

— Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника, и впуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь, — засуетился Момун, — я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда, — позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.

Давно она, наверно, была у него, слежалась уже.

— Держи, ушастый. — Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. — Теперь учишься. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смышленный, — отозвался Момун, пересчитывая сдачу.

Потом глянул на внука, неловко держащего новенький портфель, прижал его к себе.

— Вот и добро. Пойдешь осенью в школу, — негромко сказал он. Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика.

И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работающего человека пахло от него. Верный, надежный, родной, быть может, единственный на свете человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном... Ну и что же? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.

Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих в школу, — там, за горами, в исык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков. А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке, — вот, мол, дед купил! — потом тетке Бекей — она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.

Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще — мрачная и раздраженная — она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды.

Бабка говорит: были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери — тетка Бекей да еще мать мальчика, младшая дочь, — а все равно плохо, плохо, когда нет своих детей; еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее...

После тетки Бекей мальчик забежал показать попку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «Верблюда» и опять не было времени хлопнуть его по горбу, мимо «Седла», мимо «Волка» и «Танка», а дальше все по берегу, по тропе через облепиховый кустарник, потом по длинному прокоосу на лугу он добежал до Сейдахмата.

Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они — бабка с теткой Бекей сгребали. Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит — начальник как-никак. «Захочу, — говорит, — в два счета повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: «Лес не отара овец, не разбредется. Но присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит — дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало». А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничество. Дед говорит: «Такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пахнут». А Сейдахмат на огороде своем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управлять с огородом.

И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. «Зимой прошлой, — говорит, — не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское

сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косой.

Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки.

— Ты чего? Зовут меня, что ли?

— Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в школу пойду.

— Из-за этого и прибежал? — Сейдахмат хохотнул. — Дед Момун такой, — повертел он пальцем возле виска, — и ты туда же! А ну, что за портфель? — Он щелкнул замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой. — Постой, — воскликнул он, — в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?

— Как в какую? В ферменскую.

— Это в Желесай ходить? — подвигился Сейдахмат. — Так туда через гору километров пять, не меньше.

— Дед сказал, будет на лошади меня возить.

— Каждый день туда-сюда? Чудит старик... В пору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки — и назад! — Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.

Мальчик озадаченно молчал.

— Да я это так, для смеха! — объяснил Сейдахмат.

Он небожно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее. («Что я, начальник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю».) И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-колпак — белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой — тоже допотопный — овчинный тебегей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.

Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб и, когда Сейдахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:

— Не приставай!

— Ох ты, сердитый какой! — усмехнулся Сейдахмат. — Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо! — И потрепал его по плечу. — А теперь валяй. Мне еще косить и косить...

Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.

А мальчик бежал домой опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель вещь серьезная.

Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал не себе — портфелю: «Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой — как потащит, не удержишь его, — а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать, и ей не жалко молока. Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у ней своя девочка... Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое — я, ты и бинокль...»

Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул. Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем, со звякающими серебряными подвесками.

Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был растегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Со всем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала.

С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабапы и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с

расчетом. Орозкул — нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах; стадо не брошишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес? А угодишь Орозкулу — смотришь, из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах, и дом твой век будет строиться...

Подремывая в седле, отяжелевший и важный Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремена.

Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:

— Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель.

— О, чтоб тебя! — испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.

Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими, пьяными глазами:

— Ты чего, откуда?

— Я домой. У меня портфель, я показывал его Сейдахмату, — упавшим голосом сказал мальчик.

— Ладно, играй, — буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше.

Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета?..

Орозкул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это она, проклятая, вот уже сколько лет ходит порожня...

«Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что приедет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Орозкул напивался; этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы.

Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел,

сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.

«Наверно, у него голова разболелась от жары», — решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему навстречу, и оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.

II

С макушки Караульной горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им премировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил.

В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем.

Вначале предметы прыгали, смещались в круглом оконце, затем вдруг обрели четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он переводил взгляд на другую точку — и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры.

Отсюда все было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных, — лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И горы Кунгей, обращенные к солнцу; на склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро, — просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения... Сквозь зелень посевов уже проступала разводьями желтизна — близилась жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались.

И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.

Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился, — сказал он портфелю. — Давай еще раз посмотрим на нашу школу».

Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.

Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куцая улочка — поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа-четырёхлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.

Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся, щербатые доски веранды. Он представил себе, как он придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью?

Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины, серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Ташский заповедный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взби-

рались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.

Мальчик насмешливо рассматривал дома, сарай и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном дальше по берегу он различил свои знакомые камни. Всех их — «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» — он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.

Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие — дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишайев по бокам; и главное — действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, «Волк» какой! А «Танк», вот это да!..»

За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убежала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен. Но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник — куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке — и окунался в воду. Ну что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя — пальцем не шевельну. Больно нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».

Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни страдала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.

Сколько камней перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укачало! Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вытекала. Смешной, тощий, с реденькой своей бородашкой, и мокрых, облипших на теле штапах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю: «Малый дурак — он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра!..»

Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.

Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и голый, поживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчанье. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов был купаться в дедовой запруде. До тех пор, пока, в конце концов, не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало, хотелось стать рыбой...

Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящий самовар и разные раз-

ности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ — так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.

— Ах ты дурак! — Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой. — А ну, прочь! Слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! — в отчаянии приказывал он собаке.

Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало.

В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо; как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха — не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну, подожди... Вернешься. Уж я тебе! И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сторел, чтоб он потонул!..»

Мальчик на горе тяжело вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка!..

Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гуджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый, темный кулак угрожающе маячил перед окулярами:

«Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход! Чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут опять началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри на проделки твоего племянничка!

Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойтесь, энеке *. Мальчик еще несмышленьш — какой с него спрос. Один он тут, друзей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?»

На что бабка, несомненно, отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там, на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной!..»

Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как — он точно знал, чем должна была отплатить тетка, — она выпалила в лицо мачехе: «А ты сама-то, старая ведьма, сколько сыповей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»

Что тут началось!.. Бабка взвыла от обиды. Гульджемал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести ее домой, но та распаялась все больше, мечась по двору как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустила на колоту. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь доставалось самому госноду богу и всему белому свету. «Это я-то! Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? — возмущалась бабка вслед падчерице. — Да если бы не наказал меня бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадцати лет под пулей на войне, если бы старик, мой ненаглядный Тайгара, не замерз в бурани с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момупом? За какие

* Энеке — матушка.

грехи-провинности наказал ты меня, распроклятый бог?»

Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил голову.

— Как мы теперь вернемся домой? — тихо сказал он портфелю. — Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват.

Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы — скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.

Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.

Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу; там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда.

Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу...

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец — иссык-кульский матрос — плавает именно на

этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.

Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.

Дед Момун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья — две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнате, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут — войдут к себе и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получают — неизвестно. Но когда получают, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру — бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу...» Слушая старика, тетка Бекей и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.

Вот тогда как раз, за чаем, и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, — думал мальчик, — они встречают вот этот, его пароход...»

А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.

Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбе — тело, хвост, плавники, чешуя, — и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным посом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбы. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают отчего-то сами по себе, Гульджамал говорит — вот бы ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.

Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз — и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так — выпрыгивая и оглядываясь по сторонам; неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, «Лежащий верблюд», до свидания, «Волк», до свидания, «Седло», до свидания, «Танк». А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду: «До свидания, ата, я скоро вернусь». Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой — все стояли бы разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбе? А он им машет плавником: «До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа-матрос». Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтек, нельзя! Утонешь!» — а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста и дальше вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью выплывает прямо в Иссык-Куль.

А Иссык-Куль — это целое море. Проплывает он по волнам иссык-кульским, с волны на волну, с волны на волну — и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! — скажет он пароходу. — Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе». — «Какой же ты сын? Ты по-

лурыба-получеловек!» — «А ты возьми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным сыном». — «Вот здорово! А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом...

Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами...

Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так, значит, он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. А дядя Орозкул так тот и покрякивает на него — на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозкулу и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там, работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так, вместо того чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей перодящая. А почему так, папа? Было бы лучше: хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деда жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает: «Не лезь, — говорит, — сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». — «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»

Бабка, про которую говорю, — это не та, которая была. Ты ее, папа, наверно, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная — то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая, непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится — заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пой, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой

здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.

Зимой у нас снега наваливает мне по шейку. Ох и сугробы наметает! Если в лес, голько на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные: на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок, — знай, что наш ветер Сан-Таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Саа-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.

Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем, не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребята и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся немного, мы с дедом идем поздороваться. Здравуемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк, — он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.

А когда на луг мы приходим с дедом, тогда я не стесняюсь.

«Добро пожаловать на летовки отцов и прадедов! В благополучии ли скот и души, в благополучии ли детвора?» — это дед так говорит. А я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У не-

го свои разговоры, он спрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прятки, в войну — и так разыграемся, что не хочется уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу!

Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет! Только у огня светло, а за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну, в этой тьме прячемся и наступаем; и кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверно, командиру быть командиром...

А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат. Лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим — кто-то песню запекает. Чабан молодой, а может быть, и старый. Дед останавливает меня: «Слушай. Такие песни не всегда услышишь». Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает. Кивает песне головой.

Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь — будешь жить у меня рабом, или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня, но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». — «Зачем он тебе?» — «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: за родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди, увидеть бы их. Наверно, живут в больших городах?

— А слушать хорошо, а! — шепчет дед. — Какие песни пели, бог ты мой!..

Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда, и я так люблю его, что хочется плакать...

Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец п лошадей дальше, в горы, на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья, из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо. А на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми. Очень он любит здороваться с людьми, и я от него научился. Может быть, когда-нибудь я поздоровуюсь на лугу с настоящим пророком...

А зимой дядя Орозкул и тетка Бекей уезжают в го-

род, к доктору. Говорят, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на полях. Так вот есть там на ровном месте, на таком ровном, где, казалось бы, и горы не должно быть, есть там такая гора святая — Сулейманова гора. И если зарезать черную овцу у подножия ее и помолиться богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться богу да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору. А дядя Орозкул не очень. Далек. «Денег, — говорит, — много надо. Туда ведь только самолетом через горы можно попасть. А до самолета сколько ехать, и тоже деньги...»

Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши — дядя Сейдахмат, его жена Гульджамал и их маленькая девочка. Вот и все мы.

Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злоющий. Самые великие горы и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанию шубу и вышел бы из дому. Я бы им громко сказал, горам: «Не робейте, горы! Я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки — и в лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверно, те деревья, что весной не зеленеют, — это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова.

Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть — смешные есть, особенно про мальчика с пальчик по имени Чыпалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул Чыпалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап — и съел его вместе с листом! Потому и говорят: верблюд не знает, что он глотает. Стал Чыпалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам зарезать верблюда, чтобы выручить своего Чыпа-

лака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он Чыпалака по глупости своей. А потом плакал горькими слезами. Наткнулся волк на Чыпалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним миготом». А Чыпалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой». — «Ха-ха, — хохочет волк, — где это видано, чтобы волк становился собакой! За дерзость твою я тебя съем». И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а Чыпалак кричит у него в животе: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтоб овцу уволочь!» Волк не знает, как быть. Кусает себя за бока, катается по земле. А Чыпалак не унимается: «Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк — от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте!» А волк-волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит Чыпалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отопчал волк от голода, кожа да кости остались. Зубами целкает, скулит: «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел на старости лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные! Беги к Баймату, у него собаки глухие. Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки заниматься...»

Правда ведь, папа, смешная сказка? Есть у деда и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про Рогатую мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку. А не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда. Что так было когда-то. Что все мы — дети Рогатой матери-оленихи. И я, и ты, и все другие...

Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима. Если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой.

А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой, дальше от нас никого нет. Там только лес и все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди.

Две женщины, и обе в штанах, старичок и еще один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас на Сан-Таше, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу.

А я думал, что дед наш просто так жалеет каждое дерево. Он очень не любит, когда дядя Орозкул дарит на бревна сосны...

III

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плаванья на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше дело не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо пойти домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет, жена его спросит: «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не идти...

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера.

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. Надо домой.

Мальчик поднял портфель с земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал со склона. И чем ближе подходил к дому, тем тревожней становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное телянком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю: «Ты не бойся. Ну, поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что телянок убежал. Ну, дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя если швырнут на пол, ты не пугайся. Ведь ты не разобьешься, ты порт-

фель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему не поздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой...»

Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог.

Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бекей опять бил муж. И опять деду Момуну пришлось унимать одуревшего зятя, опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Орозкула и видеть весь этот позор — избитую, растрепанную, воющую дочь. И слышать, как при нем, при отце родном, последними словами бранят его дочь. Как обзывают ее сухой бесплодной, трижды проклятой яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою: «Разве я виновата, что бог лишил меня зачатия! Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня прокляло небо. За что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг! На, бей, бей!..»

Старик Момун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен.

Момун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бекей с мужем, наводит у них порядок, подбирать разбитую посуду. Такая она вот, бабка: когда Орозкул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо.

Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как оглушенный, сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому, ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Момун в такие минуты, что стар уже он, что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, и не так сложилась бы судьба. Тосковал Момун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было то, что дочерям не выпало счастья. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь с Орозкулом. И хотя он, старик, при ней, и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет... И уже много лет, как она живет с Орозкулом. И уже опостылела ей жизнь с ним, а

куда денешься?.. И что будет потом — не ровен час, померет сам, стар ведь уже, — как-то тогда придется ей, несчастной дочери?

Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал, не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает.

Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бекей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает...

Эх, тетка Бекей, тетка Бекей! Сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему. И дед Момун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь. И без него обойдемся.

Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Орозкула и тащили его, толстого, огромного, грязного, к реке. И потом, раскачав, бросали в самые бурюны. А он просил прощенья у тетки Бекей и деда Момуна. Ведь он не мог стать рыбой...

Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Орозкул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа...

Но взрослые, к великому огорчению, не поступали так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Орозкул домой уже подвыпивший. Его встречают как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали. А он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же так, мол, каждый человек, даже самый никудышный человечиска, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. Пять и даже десять. А чем он, Орозкул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса! Или он бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их, цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой, или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом, и камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он? Кто он без сына, без семени?

Тетка Бекей тоже плачет, суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную поллитровку. И сама

выпивает с горя. Дальше — больше, и потом вдруг Орозкул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает на ней же, на жене своей. А она все прощает ему. И дед тоже прощает. Никто не вяжет Орозкула. Протрезвеет он, а утром жена, хотя и в синяках, самовар уже поставила. Дед коня уже овсом накормил, оседлал. Напьется Орозкул чаю, сядет на коня — и опять он начальник, хозяин всех лесов на Сан-Таше. А никто не догадывается, что такого, как Орозкул, давно уже пора бросить в реку...

Было уже темно. Ночь стояла на дворе.

Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель.

Укладываясь спать, он не мог придумать места для портфеля. Наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом, что такие в точности портфели будут почти у половины класса. Но и это все равно не смутит его, его портфель останется самым необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о Рогатой матери-оленихе...

И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Момун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем.

Однако мальчик не посмел тревожить деда. Он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз, — сказал мальчик портфелю. — А сейчас я сам расскажу тебе о Рогатой матери-оленихе, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Дед говорит, что все это правда. Так было...»

IV

Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Эпе-

сай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда три года и три месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая:

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай...

Вот такая она была, река Энесай.

Разные народы стояли тогда на Энесае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили в набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого удавалось убить, — такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом: пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью и за месть — еще большей мезтью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застичнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатства.

Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по почам до рассвета человеческим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть великой беде! Быть великой беде!» Так оно и случилось, настал тот страшный день.

В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал батыр Кульче, во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел, но настал час его смертный. В великой печали пребывали соплеменники два дня, а на третий собрались предать земле останки батыра. По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесая по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой

Энесай, ведь «эне» — это мать, а «сай» — это русло, река. Чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энесае.

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай...

На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света: «Вот твоя река. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно». В память далеким потомкам на могиле батыра ставилась каменная глыба.

В дни похорон юрты всего племени расставляли цепью по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с батыром, когда будут проносить его тело на погребение, склонить к земле белый флаг скорби, голосить и плакать при этом и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать и склонять белый флаг скорби, и так до конца пути, до самой погребальной сопки.

Утром того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бунчуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи батыра — щит и копые. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы — карнаи, барабанщики ударить в барабаны — добулбасы — так, чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучей взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах батыра Кульче. Джигиты опустили на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его брненное тело. Все были наготове, ожидая выноса батыра. А на опушке леса стояли на привязи девять жертвенных кобылиц, девять жертвенных быков, девять десятков жертвенных овец на поминальную тризну.

И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энесайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с дерзким племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии, некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было — не было...

Человека долго рожать и растить, а убить — скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови, многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Энесая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов пылали на целые версты киргизские юрты, объятые пламенем. Никто не успел убежать, никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено. Тела поверженных сбросили с круч в Энесай. Враги ликовали: «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!»

С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыки на лукошки. Заигрались они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду, без племени. Побежали они с плачем от пепелища к пепелищу, и нигде ни единой души. Осиротели в час. В целом свете остались одни. А вдали клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченные в кровавом набеге.

Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать, просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, ржанье и топоте, в жарком беге угона!

Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка. Но так и не догнали. А потом упали на землю. Боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули.

Недаром говорят — у сироты семь судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро. Солнце светило. Птицы пели. Встали дети и снова побрели по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе. Смотрят, внизу на широком зеленом лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено — не счесть, сколько костров дымят — не счесть, сколько народу вокруг костров — не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга наземь. То враги праздновали свою победу.

Стояли на горе мальчик и девочка, не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком.

Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей.

— Кто вы? Откуда?

— Мы голодные, — отвечали мальчик и девочка, — дайте нам поесть.

Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели. Стали спорить: убить их, недобитое вражеское семя, тотчас же или к хану вести? Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их тащили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становищу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршества, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тот час восседал на белой как снег кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узпал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость пришел: «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энесая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, Рябая Хромая

Старуха! — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы. — Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, Рябая Хромая Старуха, сделай так, как я велю...»

Молча повиновалась Рябая Хромая Старуха, взяла мальчика и девочку за руки и повела их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Энесая на высокую кручу. Здесь Рябая Хромая Старуха остановила детишек, поставила рядышком на краю обрыва. И перед тем, как столкнуть их вниз, проговорила:

— О великая река Энесай! Если гору сбросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки — двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве, с чистыми душами, с совестью детской, не запятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страданья и самим не причинять муки другим. Возьми их, возьми их, великий Энесай...

Плачут, рыдают мальчик и девочка. До речей ли им старухиных, когда вниз с обрыва страшно взглянуть. В глубине волны ярые перекатываются.

— Обнимитесь, детки, напоследок, попрощайтесь, — сказала Рябая Хромая Старуха. А сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва. И говорит: — Ну, простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хотя и не по своей воле совершу я сейчас это дело, — по для вашего блага...

Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос:

— Обожди, большая, мудрая женщина, не губи безвинных детей.

Обернулась Рябая Хромая Старуха, глянула — диву далась, стоит перед ней олениха, matka маралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого верблюжонка. Рог — красота одна — развесистые, будто сучья осенних

деревьев. А вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы.

— Кто ты? Почему ты говоришь человеческим языком? — спросила Рябая Хромая Старуха.

— Я мать-олениха, — отвечала ей та. — А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не слушаешься.

— Чего ты хочешь, мать-олениха?

— Отпусти детей, большая, мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.

— Зачем они тебе?

— Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.

— Ты хочешь их выкормить?

— Да, большая, мудрая женщина.

— А ты хорошенько подумала, мать-олениха? — засмеялась Рябая Хромая Старуха. — Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.

— Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят, — отвечала ей matka маралья. — Я им буду матерью, а они — моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?

— Ох, не скажи, мать-олениха, не знаешь ты людей! — качала головой Рябая Хромая Старуха. — Не то что лесных зверей, они и друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова, но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя?

— Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая, мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью... Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.

— Ну что ж, коли так, — промолвила Рябая Хромая Старуха, подумав, — бери да уводи их быстрее. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью оплатят тебе твои дети людские, — пеняй на себя.

Благодарила мать-олениха Рябую Хромую Старуху. А мальчику и девочке сказала:

— Теперь я ваша мать, вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море — Иссык-Куль.

Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за Рогатой матерью-оленихой. Но потом они устали, ослабли, а путь далекий — из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы Рогатая мать-олениха не кормила их молоком своим, не согревала телом своим по почам. Долго шли они. Все дальше оставалась позади старая родина Энесай, ко и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну, лето и осень, еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но Рогатая мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от лютых зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Люби!» — и стрелы пускали вдогонку; и от них, от незваных спасателей, уносила детей Рогатая мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои, — погоня!»

Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе — дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец — не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля — не счесть, а за теми горами сколько еще таких же снежных гор высится — тоже не угадать.

— Это и есть ваша новая родина, — сказала Рогатая мать-олениха. — Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди, а я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена...

Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.

Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. А Рогатая мать-олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.

Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-

Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она. А мужчина испугался. Взбежал на скалу и стал громко звать:

— Где ты, Рогатая мать-олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рождает. Приходи скорей, Рогатая мать-олениха, помоги нам...

И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколец позванивает. Все ближе и ближе доносился тот звон. Прибежала Рогатая мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель — бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колоколец на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, будто бежит издали Рогатая мать-олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах...

Как только явилась на зов Рогатая мать-олениха, так и разродилась женщина.

— Этот бешик для вашего первенца, — сказала Рогатая мать-олениха. — И будет у вас много детей. Семеро сыновей, семеро дочерей!

Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь Рогатой матери-оленихи — Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков, и стал умножаться род Бугу — род Рогатой матери-оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили Рогатую мать-олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак — рога марала, чтобы издали было видно, что юрта принадлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич: «Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями. А в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети Рогатой матери-оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бугинец сходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала...

Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец — у него овец было тысячи тысяч, лошадей — тысячи тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех краев земли. Для гостей поставили тысячу сто юрт на берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было заре-

зано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные: пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего, как они его уважают, как почитают его память... («Э-э, сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством!»)

А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных им сыновьями покойника, красуясь в подаренных собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного и наследников:

— Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки? — поет один.

— Со дня сотворения мира такого еще не бывало! — поет второй.

— Нигде, только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской честь и славу, чтут их святые имена, — поет третий.

— Эй, певцы-краснобаи, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот, разве есть слова, достойные славы покойного! — поет четвертый.

И так состязались они день и ночь. («Э-э, сын мой, худо, когда певцы состязаются в славословии, из певцов они превращаются во врагов песни!»)

Много дней, как праздник, справлялись те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи. («Э-э, сын мой, еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрасудство».)

Захотелось сыновьям богача оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано — сделано! Послали охотников, убили охотники марала, срубили его рога. А рога саженей, как крылья орла на взлете. Понравились сыновьям маральи рога, по восемнадцать отростков на каждом — значит, жил восемнадцать лет. Хорош! Велели они мастерам установить рога на гробнице.

Старики возмутились:

— По какому праву убили марала? Кто посмел поднять руку на потомство Рогатой матери-оленихи?

А им отвечают наследники богача:

— Марал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, — это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь.

Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на копей задом наперед и погнали их с позором прочь.

С этого и пошло... Великое несчастье свалилось на потомство Рогатой матери-оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых маралов. Каждый бугинец долгом считал устроить на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать маральими рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода Рогатой матери-оленихи, что сделали своим ремеслом добычу маральих рогов и продажу их за деньги. («Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место».)

Гиблое время наступило для маралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. Бежали маралы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли маралов на стрелков в засаде, били без промаха. Косьяками губили маралов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет такие рога, на каких отростков больше.

И не стало маралов. Опустели горы. Не услышать марала ни в полночь, ни на рассвете. Не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете. Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели марала. Только слышали о нем сказки да видели рога на гробницах.

А что случилось с Рогатой матерью-оленихой?

Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда маралам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось маралов столько, сколько на пальцах петрудно перечесать, поднялась Рогатая мать-олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал, в другой край, в другие горы.

Вот какие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь верь, хочешь нет.

А когда Рогатая мать-олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется...

Снова стояла осень в горах. Снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль скотогона, погасли костры. Стада ушли на зиму. Люди ушли. Опустели горы.

Уже в одиночку летали орлы, скупо роняя клекот. Глуше шумела вода в реке: привыкла река за лето к руслу, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, приувядала на корню. Листья устали держаться на ветках и кое-где начинали опадать.

А на самые высокие вершины по ночам уже ложится молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как заливки черно-бурых лищиц.

Настывал, нахалаживался ветер в ущельях. Но пока еще дни стояли светлые, сухие.

Леса за рекой, напротив кордона, быстро входили в осень. От самой реки и вверх, до границы Черного Бора, бездымным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пал. Самыми яркими — рыже-багряными — и самыми цепкими на подъем были осиновыя и березовые чащи: они добирались до подснежных высот большого леса, до царства сумрачных сосен и елей.

В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы, сплошь усыпавшие подножие леса. Только ветер, неслышно текущий между верхушками старых сосен.

Но сегодня с утра над горами галдели не смолкая растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрестанно кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, заслышав стук топоров, и теперь, крича наперебой, точно их ограбили среди бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну.

Бревно волокли на цепях конной упряжкой. Орозкул шел впереди, держа коня под уздцы. Набывчившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним позади бревна поспевал дед Момун. Ему тоже было нелегко на такой высоте, задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды — расшибет насмерть.

Опасней тому, кто страхует бревно вагой, — по чем черт не шутит: Орозкул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки, и всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Орозкул вернется к лошади и возьмет ее под уздцы. Но недаром говорят: чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого.

— Ты что, на тот свет хочешь отправить меня? — орал Орозкул на тестя.

Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Орозкула: где видано, чтобы со стариком так обращались? Тесть робко заметил, что ведь и он сам может попасть под бревно, — зачем же кричать на него так, как будто он нарочно все делает.

Но это еще сильнее раздражало Орозкула.

— Ишь ты какой! — негодовал он. — Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь, кто возьмет твою нерождящую дочь? Кому она нужна, такая бесплодная, как хлыст шайтана?..

— Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям, — ответил на это Момун.

Орозкул даже приостановился, смерил старика взглядом.

— Такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?

— Да ладно уж, к слову сказал, — смирился Момун.

Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом.

А галки все так же не успокаивались, все кружились. Их было тьма, и галдели они так, словно задались целью сегодня весь день только и делать, что кричать.

— Зиму раннюю чуют, — промолвил Момун, чтобы поговорить о другом и тем смягчить гнев Орозкула. — Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают, — добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц.

— А кто им мешает? — резко обернулся Орозкул. И побагровел вдруг. — Заговариваешься ты что-то, старик, — тихо проговорил он с угрозой в голосе.

«Ишь, — подумал он, — на что намекает! Что ж это, из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи? Как бы не так! Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул

глазами на орущую стаю: «Эх, пулемет бы!» — и, отвернувшись, нехорошо выругался.

Момун промолчал. Ему не привыкать к матерщине зятя. «Опять нашло на него, — опечалился старик про себя. — Выпьет — звереет. С похмелья тоже — не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун. — Ты ему добро — он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угождать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу — раз-два, и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи, боже... И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, съест тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И прав останется. Да, нет таким переводу...»

— Ну, довольно стоять, — прервал Орозкул размышления старика. — Пошли, — приказал он.

И они двинулись.

Сегодня с самого утра Орозкул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Момун спешил отвезти внука в школу. Со всем из ума выжил старик! Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать! А тут такое дело, бог знает как оно получится, — так с этим можно ждать, так выходит? «Я, — говорит, — мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок». Нашел кого стыдиться! Ну и дурак! Да кто она такая, учительница эта? Пять лет в одном пальто ходит. Только и видишь с тетрадями, с сумками. Голосует на дороге — все ей в район требуется, все ей чего-то не хватает, — то угля для школы, то стекла, то мела, а то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали — карликовая школа. Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках. Но то в городе... Начальство там какое ездит по улицам. А какие машины! Так и хочется остановиться и замереть, вытянуться, пока она проскользит, машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин, некогда — спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы

двинуться, там бы где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Раз положено — значит, обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать там не приходится. Не то что здесь — полсотню, от силы сотню, он тебе даст, лес увезет да еще жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-сякой... Темнота!

Да-а, в город бы... Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пащенком этим, с которым он возится, как с певидалью какой. Эх, выиграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать: «Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет?» А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстукке. И — в кипо. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу заметные — умные. Дома только по-русски говорят — станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это...» Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть! А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься, а то и в институт. Поторопился — на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы...

Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостей у чабанов и табунщиков. Как это поется: «Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья...»

Осень настала. Приходилось Орозкулу рассчитывать за почет, за угощения, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: «Тебе что? Два кругляка сосновых на мати-

цы, только-то? О чем тут говорить! Приедешь, увезешь».

Наболтал, подношенья получал, водку пил, — а теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на света, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: «А плюну на все и уйду куда глаза глядят!» Но он тут же понял, что никуда не уйдет, никому нигде не пужен и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет.

Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу-бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко, а ну, попробуй, доберись туда, да спиши, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, ну-ка, повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз... Знал бы наперед, что случится, сам бы с Сейдахматом полез за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лесинкой. Тот ни в какую: подавай ему настоящее сосновое бревно — и все тут! «Ягненка брать умеешь, а слово сдержать нет?» Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать — убирайся. А тот парень не промах, настроил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажапова жалобу, и такое там расписал — и правду, и неправду, — что в пору было расстрелять Орозкула, как «вредителя социалистического леса». Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался... Вот тебе и родственник! А еще: «Все мы дети Рогатой матери-оленихи. Один за всех, и все за одного!» Да ерунда все это, какая там, к черту, олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло впиться или в тюрьму засадить! Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные! Кому нужны они, эти сказки для малых детей!

После того случая Орозкул дал зарок, больше нико-

му, никаким знакомым, никаким соплеменникам, пусть хоть трижды будут они детьми Рогатой матери-оленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки.

Но возвратилось лето. Забелели юрты на зеленых горных лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве, в кругу друзей-приятелей, наслаждаться кумысом, молодым мясом. А потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке. И почувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе... Забывал Орозкул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношенья... И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены, вот только наступит осень.

А осень незаметно прокрадывалась в горы со сжатых полей и принималась шнырять кругом. И там, где она пробегала, рыжела трава, рыжели листья в лесу.

Ягоды зрели. Ягнята росли. Делили их на отары — ярочек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советоваться, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что стоваривались летом с Орозкулом, предупреждали его, что в такой-то день, в такой-то час придут на кордон с машинами, приедут за обещанным лесом.

Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе — вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Орозкул сейчас вернуть все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть.

Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах: машина с прицепом прибывает сегодня вечером, чтобы ночью вывезти бревна.

Хорошо еще, если все благополучно обойдется. Дорога проходит через совхоз, прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, навевывается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказаться там из района. Попадется им лесовоз на глаза: «Откуда везете лес и куда?»

Спина у Орозкула холодела при этой мысли. И злоба вскипела в нем ко всем и ко всему — к галдящим галкам над головой, к несчастному старику Момуну, к Сейдахмату, лентяю, догадавшемуся три дня тому назад уехать в город продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор! Улизнул, выходит... И вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Орозкул вдвоем со стариком бревна приволочь, не мучился бы сам.

Но Сейдахмат был далеко, галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену, но до дома добираться еще долго. Оставался старый Момун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Орозкул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подохнет лошадь, пусть подохнет этот старик, пусть он сам подохнет от разрыва сердце! Раз ему нехорошо — значит, и другим не должно быть хорошо. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Орозкулу по его достоинствам и по должности!

Уже не владея собой, Орозкул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть Расторопный Момун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать! «Прибью старого дурака — и все тут», — решил Орозкул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном-волокушей на такой опасный откос. А тут бес попутал. И не успел Момун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» — как бревно крутнулось на цепи и, сминая кусты, покатилось вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Момун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну скатиться вниз. Но удар оказался такой силы, что вагу вышибло из рук старика.

Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на бок потащило вниз. Падая, она сшибла Орозкула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты. И в этот момент какие-то рогатые животные испуганно шархнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще.

— Маралы! Маралы! — вне себя от испуга и радости вскричал дед Момун. И замолк, будто не веря своим глазам.

И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели. Бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые

крепкие березки. Лошадь, путаясь в сбруе, сама встала на ноги.

Орозкул, весь оборванный, отползал в сторону. Момун бросился на выручку к зятю.

— О пресвятая мать, Рогатая олениха! Это она спасла нас! Ты видел? Это дети Рогатой матери-оленихи. Вернулась наша мать! Ты видел?

Еще не веря, что все обошлось, Орозкул встал, мрачный, пристыженный, и отряхнулся:

— Не болтай, старик. Хватит! Выводи вон коня из постромков.

Момун послушно кинулся выпутывать лошадь.

— О пречудная мать, Рогатая олениха! — продолжал он радостно бормотать. — Вернулись маралы в наши леса. Не забыла нас Рогатая мать! Простила наш грех...

— Все бормочешь? — огрызнулся Орозкул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу. — Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам!

— Я видел своими глазами. Это были маралы, — не сдавался дед Момун. — А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам.

— Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три...

— Верно, три. Мне тоже так показалось.

— Ну и что из того? Маралы так маралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться? А если это были маралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще маралы. Там тоже заповедник. Возможно, заповедные маралы. Пришли так пришли. Нам какое дело. Казахстан нас не касается.

— Может, приживутся у нас? — помечтал дед Момун. — Остались бы...

— Ну, хватит! — оборвал его Орозкул. — Пошли.

Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку волоком, в упряжи. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перетащить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина.

Ох, сколько трудов!..

Орозкул чувствовал себя совсем несчастным. И все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы — они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят; леса входят в осень, а по-

том в зиму войдут и не видят в этом ничего трудного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им влезет. Маралы, если то действительно были маралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят на такси, сидят в ресторанах, предаются забавам. А он заброшен судьбою в эти горы, он несчастлив... Даже этот Расторопный Момун, тесть его никудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек! Глупцы всегда довольны жизнью.

А Орозкул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Эта жизнь для таких, как Расторопный Момун. Ему-то что надо, Момуну? Сколько живет, столько и горб гнет изо дня в день, без отдыха. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении, а он подчинялся всем, даже старухе своей, он даже ей не прекословит. Такой горемыка и сказкой будет счастлив. Увидел маралов в лесу — до слез дошел, точно встретил братьев родных, которых сто лет по свету искал.

Эх, что там говорить!..

Они вышли наконец на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились передохнуть.

За рекой, во дворе кордона, возле дома Орозкула что-то дымил. По дыму можно было догадаться — самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Орозкулу не стало легче. Дышал он широко ртом, воздуха не хватало. В груди болело, и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разъедал глаза. А впереди еще такой долгий и крутой спуск. И дома ждет пустобрюхая жена. Ишь, самовар поставила, угодить хочет... Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он ко всем чертям. А потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался этим, слыша вопли жены, ее проклятия судьбе своей горемычной. «Ну и пусть, — думал он. — Пусть! Мне плохо, почему ей должно быть хорошо?»

Его мысли прервал Момун.

— Я и забыл, сын мой, — спохватился он и поспешно подошел к Орозкулу. — Мне ведь в школу надо, малыша забрать. Уроки-то кончились.

— Ну и что? — нарочито спокойно произнес Орозкул.

— Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь. Спустимся. Ты пообедаеть дома. А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку. Вернемся и переправим бревно.

— И долго ты думал, старик, пока это придумал? — съязвил Орозкул.

— Да ведь плакать будет мальчишка.

— Ну и что? — вскипел Орозкул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Орозкул искал, к чему бы придраться, а теперь Момун сам давал ему повод. — Он будет плакать, а мы будем дело бросать? Утром морочил голову — в школу повезу. Хорошо, отuez. Теперь из школы привезу? А я что? Или мы здесь в игрушки играем?

— Не надо, сын мой, — попросил Момун. — В такой день! Я-то ладно, но мальчишка будет ждать, будет плакать в такой день...

— Что — в такой день? Какой это такой особый день?

— Маралы вернулись. Зачем же в такой день...

Орозкул опешил, даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих маралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми, скачущими тенями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до маралов было и не до болтовни этого старика.

— Ты за кого меня принимаешь? — тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику. — Жаль, что нет у тебя бороды, а не то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да па кой хрен мне твои маралы? Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай. Давай становись к бревну. И пока не перетащим через реку, и не зайкайся ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет — дела мне нет никакого. Хватит, пошли...

Момун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Орозкула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча отчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы. Все ребята уже разбежались по домам, и только он один, его сырый внук, глядит на дорогу и ждет деда.

Старик представлял себе, как дети всем классом выскочили, топая, из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались. Еще на улице они чувят запах при-

готовленной им еды и, радостные, возбужденные, пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У каждой есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери, хорошо ли ей, а на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. И если даже мать прикрикнет построже: «А руки? Руки кто будет мыть?» — все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка.

У момуновского внука с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось: значит, парень делом занимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверно, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается — не появится ли на пригорке дед верхом на коне. Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед, уже спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон дедушка. Побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добежав, смущенно кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена: в эти дни дед переправлял на выюках сено с того берега, зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевезти с осени. И долго потом Момун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пылью.

Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой то дорожной рысцой, то шагом, то молча, то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горками спускались к себе, в Сан-Ташскую падь.

Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабушку. Едва проснувшись, он быстро одевался и перекладывал книги и тетради в портфеле. Бабушку сердило и то, что он кладет на ночь портфель рядом с собой. «И чего это ты прилип к этому поганому портфелю? Хоть бы стал он тебе женой, нас от калыма за невесту избавил...» Мальчик пропускал мимо ушей бабкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным для него было не опаздывать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда. И успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно.

Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе чуть свет Момун переправился верхом на тот берег. Решил сделать с утра одну езду за сеном. Все бы ничего,

но по пути вьюк развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюк, снова навьючивать коня. Второпях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега.

А внук уже ждал на той стороне. Он, стоя на шерба-том камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик заспешил — веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал, и старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все — сено и веревки, — сел на лошадь — и побыстрей к внуку, через брод.

Пока переправился, тоже время прошло: через брод не поскачешь — воды много, течение быстрое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет копы с ног — и пропал. Когда Момун наконец перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу...» Старик свесился с коня, поднял мальчишка к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы бегал мальчишка. А то ведь всю дорогу не переставая плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревущего в школу. А уроки уже начались. Повел прямо в класс.

Извинялся, извинялся Момун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится. Но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай-то бог, чтобы всегда тебя так тянуло в школу», — думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида, невысказанная, своя обида...

И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило побыстрей с горы, Момун все думал: как-то он там, внук?

А Орозкул не спешил. Он шел коноводом. Да и не очень поспешишь тут — спуск долгий, крутой, приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу — оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо, шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина! Нате, мол, получите свое бревно — и отстаньте. А сам пустился бы к внуку.

Но где там! Надо еще добраться до берега, по камням, по галечнику, а там через брод волочить бревно ко-

нем на ту сторону. А конь уже замучился — сколько прошел он по горам то вниз, то вверх... Хорошо еще, если все обойдется, а ну как заstopорится бревно в камнях на середине реки или конь споткнется и упадет?

И когда они пошли по воде, дед Момун взмолился: «Помоги, Рогатая мать-олениха, не дай застрячь бревно, не дай коню упасть!» Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Момун попевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна. Осенняя вода.

Старик терпел: пусть, ноги не отвалятся, лишь бы быстрее переправить бревно. И все-таки бревно застряло, как назло, село на камни в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть и затем понукнуть его как следует, хорошим рывком можно снять бревно с камней. Но Орозкул, сидя на нем верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно не трогалось с места. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть. Голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо стаповилось Момуну. Проклятое бревно! Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой, — сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу поволокли через реку. Кто же так делает! Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Орозкул не решает: нагрянет инспекция, акт составит — порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потому, как спилили, так побыстрее стаскивает бревно с глаз долой.

Орозкул бил коня каблуками, плетью, бил его по голове, матерился, орал на старика, будто он, Момун, был виноват во всем, а бревно не поддавалось, оно все больше залеживалось в камнях. И лопнуло терпенье старика. В первый раз за всю жизнь он повысил голос во гневе.

— Слазь с коня! — решительно подошел он к Орозкулу, стягивая его с седла. — Разве ты не видишь, что конь не тянет? Слазь сейчас же!

Удивленный Орозкул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглушел, оглох, потерял себя.

— Давай! Подналяг! Вместе давай!

По команде Момуна они налегли на вагу, приподнимая бревно с места, высвобождая его из затора камней.

До чего же умное животное конь! Он рванулся именно в этот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул постромки в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался, упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруе.

— Коня! Коня поднимай! — толкнул Момун Орозкула.

Вместе, с трудом, им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде.

— Распрягай!

— Зачем?

— Распрягай, тебе говорю. Перепрягать будем. Спимай постромки.

И опять Орозкул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Момун взял ее за поводья.

— А теперь пошли, — сказал он. — Вернемся потом. Пусть конь отдохнет.

— А ну-ка, стой! — Орозкул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой. — Ты кому дуришь голову? Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за ним люди приедут. Запрягай коня без разговоров, слышишь!

Момун молча повернулся и, ковыляя на закованных ногах, пошел бродом к берегу.

— Ты куда, старик? Куда, говорю?

— Куда! Куда! В школу. Впук там ждет с самого полдня.

— А ну вернись! Вернись!

Старик не послушался. Орозкул оставил лошадь в реке и уже почти у берега, на галечнике, настиг Момуна, схватил его за плечо, крутанул к себе.

И они оказались лицом к лицу.

Коротким движением руки Орозкул сорвал с плеча Момуна перекинутые голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил ими тестя по голове и по лицу.

— Пошли! Ну! — прохрипел Орозкул, отшвыривая в сторону сапоги.

Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка, и, когда распрямился, на губах у него выступила кровь.

— Негодяй! — сказал Момун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо.

Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не прекословивший, это сказал посиневший от холода жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью.

— Пошли!

Орозкул потащил его за собой. Но Момун с силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь.

— Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню! — прокричал ему вслед Орозкул, потрясая кулаком.

Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле «Лежащего верблюда», он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню. Оттуда вывел серого коня Алабаша, неприкосновенного орозкуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и которого не запрягали, чтобы не попортить скаковую статью. Точно на пожар, Момун выехал со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящегося самовара, выскочившие наружу женщины — старуха Момуна, его дочь Бекей и молодая Гульджамал — поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаша и никогда не скакал так по двору сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт Расторопного Момуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет...

А со стороны брода возвращался Орозкул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Орозкула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи...

В мокрых, хлюпавших сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним грузными, тяжелыми шагами, он мрачно глянул на женщин исподлобья. Жена его, Бекей, забеспокоилась:

— Что с тобой, Орозкул? Что случилось? Да ты же мокрый весь. Бревно уплыло?

— Нет, — отмахнулся Орозкул. — На, — передал он поводья Гульджамал. — Отведи коня в конюшню. — А сам пошел к дверям. — Пошли в дом, — сказал он жене.

Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Орозкул не пустил ее на порог.

— А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать. Иди к себе и не приходи.

— Да ты что? — обиделась бабка. — Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось?

— Спроси у него самого, — ответил Орозкул.

В доме Бекей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чаю.

— Не надо, — отверг жестом Орозкул. — Дай мне выпить.

Жена достала непочатую поллитровку, налила в стакан.

— Полный палей, — приказал Орозкул.

Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене:

— Ты мне не жена, я тебе не муж. Иди. Чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно.

Бекей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала:

— Опять?

— Что опять? — взревел Орозкул. — Вон отсюда!

Бекей выскочила из дому и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор:

— И зачем только родилась я на свет, горемычная!..

А в это время старик Момун скакал на Алабаше к внуку. Алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Момун на два с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница, с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она пятый год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно заплакавшись, со вспухшими глазами, шел рядом с ней, с портфелем своим в руках, какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Момуна. Он стоял перед ней спешившись, опустив голову.

— Не привозите ребенка в школу, — говорила она, — если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих четверо.

Опять извинился Момун, опять обещал, что больше такого не повторится.

Учительница вернулась в Джелесай, а дед с внуком отправились домой.

Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом. И старик не знал, что сказать ему.

— Ты очень голоден? — спросил он.

— Нет, учительница мне хлеба дала, — ответил внук.

— А почему ты молчишь?

Мальчик ничего не сказал и на это.

Момун виновато улыбнулся:

— Обидчивый ты у меня. — Он снял фуражку с мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову.

Мальчик не обернулся.

Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Момун не давал воли Алабашу, строго придерживал поводья — не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде не к чему.

Конь вскоре понял, что от него требуется, — шел легкой полуипсходью. Песфыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь легромкие — так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой? О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось... Нравится человеку повздыхать по той поре, где осталось что-то навсегда недосягаемое. А что, собственно, — человек и сам толком не понимает. Но изредка ему хочется думать об этом, хочется почувствовать самого себя.

Добрый это попутчик — хороший конь хорошего хода...

И думал старик Момун, глядя на стриженный затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей остался теперь у него только вот этот ребенок, это еще беспомощное существо, хорошо, если дед успеет поставит его на ноги. А останется он один — трудно придется. Сам с кукурузный початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковей... Ведь такие, как Орозкул, возненавидят его и будут терзать, как волки загнанного оленя...

И тут вспомнил Момун про маралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми, стремительными тенями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости.

— А ты знаешь, сынок? К нам маралы пришли, — сказал дед Момун.

Мальчик живо оглянулся через плечо:

— Правда?

— Правда. Сам видел. Три головы.

— А откуда они пришли?

— По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит, как лето, перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости.

— А они останутся у нас?

— Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдоволь. Тут хоть тысячу маралов держи... В прежние времена, при Рогатой матери-оленихе, тут их было видимо-невидимо...

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о былых временах, о Рогатой матери-оленихе. И сам, увлекаясь своим рассказом, думал: как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому! Вот так бы и жить всегда. Да, вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе старика рядом с радостью стояла тревога: что там Орозкул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевавшему ослушаться? Ведь Орозкул этого так не оставит. Иначе он не был бы Орозкулом.

И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Момун рассказывал внуку о маралах, о благородстве, о красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвратить неизбежное.

А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как, неужели вернулись маралы? Значит, все это правда! Дед говорит, что простила Рогатая мать-олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в Исык-кульские горы. Дед говорил, что сейчас пришли три марала, чтобы разузнать, как тут, и если им понравится, то все маралы снова вернутся на родину.

— Ата, — прервал деда мальчик. — А может быть, пришла сама Рогатая мать-олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?

— Может быть, — неуверенно промолвил Момун. Он загнулся. Старик почувствовал себя неловко: не слыш-

ком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова? Но не стал разуверять дед Момун своего внука, да теперь уже это было бы слишком поздно. — Кто знает, — пожал он плечами. — Может быть, может быть, пришла и сама Рогатая мать-олениха. Кто знает...

— А вот мы узнаем. Давай, ата, пойдем на то место, где ты видел маралов, — сказал мальчик, — я тоже хочу посмотреть.

— Но они же не стоят на одном месте.

— А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам. А как увидим их хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их.

— Ребенок ты, — усмехнулся дед. — Приедем домой, там видно будет.

Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади — как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри их. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Момуна. Что могло произойти? Избил Орозкул его несчастную Бекей? Напился пьяный? Что еще могло случиться? Почему так тихо, почему никого нет в этот час во дворе? «Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки, — подумал Момун. — Ну его, Орозкула, лучше с ним не связываться. Лучше сделать, что хочет, да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь, что он осел».

Момун подъехал к конюшне.

— Слезай. Вот мы и приехали, — стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку так, как будто они были издалека.

А когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Момун остановил его:

— Постой, вместе пойдем.

Он поставил Алабаша в конюшню и, взяв мальчика за руку, пошел к дому.

— Ты смотри, — сказал дед внуку, — если меня будут ругать, ты не бойся и не слушай всякие там разговоры. Тебя это не касается. Твое дело в школу ходить.

Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Момуна долгим осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с пли-

ты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, и они сели с внуком за поздний обед.

Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом, коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое. А старшки все молчали.

Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатилося по полу, вскарабкалось на подоконник, поближе к портфелю и зашептало с ним.

«Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня, почему приехал на Алабаше и без седла? Ведь такого никогда не бывало. Может быть, он увидел маралов в лесу и поэтому задержался?.. А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь Рогатая мать-олениха очень обидится, если он обманул нас...»

Покончив с обедом, дед Момун сказал негромко мальчику:

— Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне. Я сейчас.

Мальчик послушно вышел. И как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки:

— Ты куда?

— Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в реке, — ответил Момун.

— А, спохватился! — вскричала бабка. — Опомнись! Ты иди, посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она пужна теперь, твоя перодящая дура. Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую, выгнал ее из дому муж.

— Ну что же, выгнал так выгнал, — сказал с горечью Момун.

— Ишь ты! Да кто ты сам? Дочери твои беспутные, так думаешь, внука выучить на начальника, что ли? Жди! Было бы из-за кого на рожон лезть. Да еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься... Он тебе шею свернет, как курице. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пуцу...

Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще раздавались крики бабки, потом дверь хлопнула, и Момун выскочил из дому. Старик направился к дому Сейдахмата, но на пороге его встретила Гульджамал.

— Лучше не надо сейчас, потом, — сказала она Момуну. Момун растерянно остановился. — Плачет, избил он ее, — зашептала Гульджамал. — Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает она вас. Говорит, что во всем отец виноват.

Момун молчал. Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его.

— А Орозкул там пьет у себя. Зверь зверем, — шепотом рассказывала Гульджамал.

Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула:

— Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно да избавились хоть от этого.

— Разве дело в бревне? — покачал головой Момун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему: — Ты иди поиграй.

Мальчик отошел в сторону. Пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Отер его от пыли. «Плохи наши дела, — грустно сказал он биноклю. — Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа. Ушли бы мы с портфелем туда учиться. И чтобы никто не знал. Только вот деда жалко — искать будет. А ты, бинокль, с кем будешь смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь. Поплыву к белому пароходу...»

Мальчик спрятался за стогом сена и стал смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядисься: стоят осенние горы, покрытые лесами осенними, наверху снег белый, внизу огонь красный.

Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте и сбруе. Он направился к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Орозкула. Орозкул выскочил из дому в исподней рубашке, с шубой на плечах. Лицо его было багровым, как воспаленное вымя.

— Эй ты! — грозно крикнул он Момуну. — Куда ведешь коня? А ну, поставь на место. Без тебя вывезем. И не смей трогать. Ты теперь здесь никто. Я тебя увольню с кордона. Убирайся куда хочешь.

Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Момун вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам.

Мальчик задохнулся от обиды за деда, и, чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны: «Танк», «Волк», «Седло», «Лежащий верблюд». Мальчик ничего не сказал им — ничего они не понимают, стоят себе и стоят. Мальчик обнял горб «Лежащего верблюда» и, приваливаясь к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь.

Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел.

Прямо перед ним, на другом берегу, у воды стояли три марала. Настоящие маралы. Живые, они пили воду и, кажется, уже напились. Один — тот, что был с самыми большими, тяжелыми рогами, — снова опустил голову к воде и, потягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика.

Но больше всего на мальчика смотрела белая, бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как Рогатая мать-олениха. Глаза большущие, ясные. А сама — как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая мать-олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно, точно вспоминала, где она видела этого большеголового ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий парок поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой комолый телок. Ему ни до чего не было дела. Он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глотать ветки, он резко подпрыгнул, задел олениху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока Рогатой матери-оленихи. А Рогатая мать-олениха все смотрела на мальчика.

Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня, как во

сне, протянув руки перед собой, подошел к берегу, к самой воде. Маралы нисколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега.

Между ними протекала быстрая, прозрачно-зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов. Маралы стояли на ровном, чистом галечнике. А за ними — там, где кончалась полоса галечника, — красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса. А выше — глинистый обрыв, над обрывом золотисто-багряные березы и осины, и еще выше — большой лес и белый снег на скалистых кряжах.

Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе краснолиственно-го тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные маралы.

Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди — большой марал, в середине комолой телок, за ним Рогатая мать-олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Маралы вошли в тугай, пошли через кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины.

Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв. Здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что маралы глядели на него. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел как труба: «Ба-о! Ба-о!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом: «А-о, а-о!»

И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой по знакомой тропе. Он бежал во весь дух. Он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь, с порога:

— Ата! Маралы пришли! Маралы! Они здесь!

Дед Момун глянул на него из угла, где сидел скорбный и тихий, и ничего не сказал, точно не понимал, о чем идет речь.

— Ладно тебе шуметь! — шикнула бабка. — Пришли так пришли, не до них сейчас.

Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже заваливалось за Караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях. И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким

отсветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглой.

Стало зябко. Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.

VI

Его знобило и тогда, когда он лег в постель. Он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь. Голова болела. Но мальчик молчал. И никто не знал, что он заболел. Забыли. Да и как тут было не забыть!

Дед совсем сбился с толку. Места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись и тяжело вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса, чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань, — кажется, опять ругались Орозкул, кто-то плакал всхлипывая...

Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе.

Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки. Вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружилась. А с другого берега глядели на него маралы. Все три марала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он вскинул голову от воды. А Рогатая мать-олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми, понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные и влажные. Мальчик очень удивился, что Рогатая мать-олениха может вздыхать по-человечески. Печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв. Здесь остановились. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о! Ба-о!» Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого марала прокатился над рекой долгим эхом. После этого маралы скрылись в лесу. Но мальчику не хотелось с ними

расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть.

И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от маралов, которые все так же стояли на галечнике. Рогатая мать-олениха подозвала его к себе:

— Ты чей будешь?

Мальчик молчал: ему стыдно было говорить, чей он.

— Мы с дедом тебя очень любим, Рогатая мать-олениха. Мы тебя давно ждали, — промолвил он.

— И я тебя знаю. И деда твоего знаю. Он хороший человек, — сказала Рогатая мать-олениха.

Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее.

— Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Иссык-Куль к белому пароходу? — вдруг сказал он.

Это он умел. Но Рогатая мать-олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться, и, как бывало летом, поживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков закружились вокруг гудящим роem. Он стал задыхаться, и горячий поток все тащил и тащил его.

— Помоги, Рогатая мать-олениха, помоги мне, я тоже твой сын, Рогатая мать-олениха! — громко кричал он.

Рогатая мать-олениха побежала следом по берегу. Быстро бежала, ветер свистел в ее рогах. И сразу ему стало легче.

Он был в поту. Помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никого не было. Фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светла. Мальчик хотел встать, напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса, кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышалась возня, топот ног... Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое, точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная, тяжело дыша, буквально втокнула деда Момуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал. Глаза старика

растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть.

— Сиди, сиди, старый дурак, и не лезь, когда не просят. Первый раз, что ли, у них такое? Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся. Делай, что я тебе говорю. Слышишь? А не то сживет он нас, ты понимаешь, сживет со свету. А куда нам на старости лет идти? Куда? — С этими словами бабка хлопнула дверью и снова торопливо умчалась.

В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое, прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плиты, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застонал, обращаясь неизвестно к кому:

— Возьми меня, забери меня, горемычного! Только дай ей дитя! Сил моих нет глядеть на нее. Дай хоть одного-единственного, пожалей нас...

Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь и там, за дверьми, глухо рыдал, зажимая себе рот.

Мальчику стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду. Но руки и ноги не слушались, голова налилась болью. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки.

Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир.

Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на галечнике, стояли все те же маралы. И тогда взмолился мальчик: «Рогатая мать-олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах! Очень прошу тебе, принеси им люльку! Пусть будет у них ребенок», — а сам бежал по воде к Рогатой матери-оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, а как будто топтался в беге на месте. И все время умолял, заклинал Рогатую мать-олениху: «Принеси им люльку на рогах! Сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Орозкул не бил тетку Бекей. Сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Орозкула буду любить, только дай ему своего ребенка. Принеси им люльку на рогах!..»

Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколец. Он звенел все слышней. То бежала по горам мать-олениха и несла на рогах своих, подцепив за дужку, детскую колыбель — березовый бешик с колокольцем. Заливался

колыбельный колоколец. Очень спешила Рогатая мать-олениха. Все ближе и ближе звенел колокольчик...

Но что это? К звону колокольчика присоединился далекий гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильнее, все явственней, а колокольчик оробел, телинькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора.

Мальчик услышал, как, погромыхая железом о железо, подъехала ко двору машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули двери кабины. Переговариваясь между собой, приезжие — судя по голосам, человека три — прошли мимо окна, за которым лежал мальчик.

— Сейдахмат приехал, — раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужу. — А мы ждали!

— Здравствуйте, — ответили ей незнакомые люди.

— Ну, как вы тут? — спросил Сейдахмат.

— Да ничего. Живем. Что так поздно?

— И то скажи — удачно. Добрался до совхоза, жду-пожду попутную машину. Хотя бы до Желесая. А тут как раз вот они к нам за лесом, — рассказывал Сейдахмат. — Темно по ущелью. Дорога — сама знаешь.

— А Орозкул где? Дома? — поинтересовался один из приезжих.

— Дома, — неуверенно ответила Гульджамал. — Приболел малость. Да вы не беспокойтесь. Переночуете у нас, место есть. Идемте.

Они двинулись. Но через несколько шагов приостановились.

— Здравствуйте, аксакал. Здравствуйте, байбиче.

Приезжие здоровались с дедом Момуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено встречать чужих. Может быть, и Орозкул устыдится? Хоть бы уж не позорил себя и других.

Мальчик немного успокоился. Да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину — какая она, на четырех колесах или на шести? Новая или старая? А прицеп какой? Однажды весной нынешней к ним на кордон заезжал даже военный грузовик — на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили. Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здо-

рово! А прибывший военный с золотистыми погонами ходил вместе с Орозкулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало.

— Вы что, шпиона ищете? — спросил мальчик солдата.

Тот усмехнулся:

— Да, шпиона ищем.

— А к нам еще ни один шпион не приходил, — грустно проронил мальчик.

Солдат рассмеялся:

— А зачем он тебе?

— Я бы гонялся за ним и поймал бы его.

— Ух ты, какой приткий! Мал еще, подрасти.

И пока военный с золотыми погонами ходил с Орозкулом по лесу, мальчик с шофером разговорился.

— Я люблю все машины и всех шоферов, — сказал мальчик.

— Это почему же? — поинтересовался солдат.

— Машины — они хорошие, сильные и быстрые. И они хорошо пахнут бензином. А шоферы — они все молодые, и все они дети Рогатой матери-оленихи.

— Что? Что? — не понял солдат. — Какой это Рогатой матери?

— А ты разве не знаешь?

— Нет. Никогда не слышал о таком чуде.

— А кто ты?

— Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился.

— Нет, чей ты?

— Отца, матери.

— А они чьи?

— Тоже отца, матери.

— А они?

— Слушай, да так можно без конца спрашивать.

— А я сын сыновей Рогатой матери-оленихи.

— Кто это тебе сказал?

— Дедушка.

— Что-то не то, — сомневаясь, покачал головой солдат.

Его заинтересовал этот голозастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей Рогатой матери-оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов

не знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?

— Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.

— Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.

— Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.

— Кто испортится? Люди?

— Да.

— А почему?

— Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать.

— Ну и дед у тебя! — искренне подивился солдат. — Интересный дед. Только забывает он тебе голову всякой чепухой. А ты ведь большеголовый... И уши у тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К коммунизму идем, в космос летаем, а он чему учит? К нам бы на политзанятия его, мы бы его мигом образовали. Вот ты вырастешь, выучишься — и уезжай давай от деда. Темный, некультурный он человек.

— Нет, я от деда никогда не уйду, — возразил мальчик. — Он хороший.

— Ну, это пока что. А потом поймешь.

Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснить солдату, почему здешние шоферы, по крайней мере, те, которых он знал, считались сыновьями Рогатой матери-оленихи.

Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю пору или, кажется, чуть позднее, в горы за сеном приехали совхозные машины. Они проезжали не мимо кордопа, а, немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в лощину Арчу и уходили наверх — туда, где летом накосили сено, чтобы затем осенью вывезти в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на Караульной горе, мальчик побежал на развилку. Сразу столько машин. Одна за другой. Целая колонна. Он насчитал их пятнадцать штук.

Погода стояла на изломе, со дня на день мог повалить снег — и тогда «прощай, сено, до следующего года». В этих местах, если не успеешь вовремя вывезти сено,

потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами; и когда время поджало, решили одним разом, всеми машинами вывезти заготовленное сено. Но не тут-то было!..

Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, какое дело? Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробежал наперегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, с широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор безусые, а в иных по двое парней. Парники ехали накладывать и увязывать сено. Все они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми. Как в кино.

В общем-то мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск с Караульной горы, по щербенистой, твердой дороге. Настроение у них было отличное — погода неплохая, а тут еще, откуда ни возьмись, какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости. Как тут было не посмеяться и не помахать ему рукой и не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал...

А самый последний грузовик, так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень в солдатской одежде, бушлате, но только без погон и без военной фуражки, а в кепке. Это был шофер.

— Здравствуй! Ты чего тут, а? — приветливо подмигнул он мальчишке.

— Так просто, — не без смущения ответил мальчик.

— Ты деда Момуна внук?

— Да.

— Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята поехали бугинцы. За сеном катим. Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбредились... Деду привет передай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чотбая. Скажи, что вернулся Кулубек из армии и теперь шофером в совхозе. Ну, бывай! — И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный. На орден похожий.

Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать с этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бу-

гинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему возвращаться домой. Гордый вернулся, однако рассказал деду о встрече. А значок нацепил на грудь.

В тот день под вечер ударил вдруг ветер сан-ташский, оттуда, с хребта поднебесного. Обрушился шквалом. Листья над лесом взметнулись столбом и, поднимаясь в небо все выше, с гулом понеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогодь, глаз не раскроешь. И сразу снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила. И сыпал, вьюжился снег.

Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше наносить в дом. А потом уже и носа из дому не показывали. Куда там — в такую раннюю да страшную метель.

— К чему бы это? — недоумевал и тревожился дед Момун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну.

За окном быстро сгущалась крутящаяся снежная мгла.

— Да сядь ты на место! — ворчала бабка. — Первый раз такое, что ли? «К чему бы это?» — передразнила она. — К тому, что настала зима.

— Так уж и враз, в один день?

— А почему бы и нет? Спрашивать тебя будет? Надо ей, зиме, вот она и явилась.

В трубе завывало. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству; но вскоре дрова разгорелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, угрелся.

Потом ужинали. Потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал.

«В лесу, наверно, совсем страшно», — думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликнулся. Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед Момун, и бабка насторожились.

— Люди, — сказала бабка.

— Да, — неуверенно отозвался старик.

А потом забеспокоился: откуда в такой час? И стал торопливо одеваться. И бабка заторопилась. Встала, лампу засветила. И мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов, и много ног. Скрипя наметенным снегом, при-

шельцы загремели подошвами по веранде, забарабанили в дверь.

— Аксакал, откройте! Замерзаем!

— Кто вы?

— Свои.

Момун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом ввалились облепленные снегом те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Кулубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил погу. И в доме сразу поднялся переполох.

— Астакралла! * Что с вами? — в один голос запримечтали дед Момун и бабка.

— Потом расскажем! Там идут еще наши, человек семь. Как был с дороги не сбился. А ну, садись сюда. Ногу подвернул, — быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи.

— Где ж они, ваши? — заторопился дед Момун. — Я сейчас пойду, приведу их. А ты беги, — сказал он мальчику. — Скажи Сейдахмату, чтобы он скорее с фонарем прибежал, электрическим.

Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, свистящее чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырывался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сейдахмата. Тут всего шагов двадцать-тридцать, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр на выручку своих воинов. Сердце его преисполнилось отвагой и решимостью. Он казался себе могучим и непобедимым; и пока добежал до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пронасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развевающимся красным знаменем за косматым, черным чудовищем, убегающим от него по ущельям и скалам. Его реактивный истребитель пульей летел за чудовищем. Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей фашиста!» И везде при этом присутствовала Рогатая мать-олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбежал уже к двери Сейдахматова дома, Рогатая мать-

* Астакралла — упася, господи!

олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов!» — «Я спасу их. Рогатая мать-олениха, клянусь тебе!» — сказал мальчик вслух и забарабанил в двери.

— Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших! — Он выпалил эти слова так, что и Сейдахмат и Гульджамал отпрянули в страхе.

— Кого спасать? Что случилось?

— Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать электрическим, шоферы из совхоза заблудились.

— Дурак! — обругал его Сейдахмат. — Так бы и сказал. — И кинулся собираться.

Но этонисколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес. Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Момуном и Сейдахматом сразу же возле кордона и приведены домой. Ведь могло случиться и не так! Опасность легка, когда опасность миновала... В общем, нашлись и эти люди. Сейдахмат повел их к себе. Даже Орозкул пустил человек пять на ночевку — его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Момуну.

А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал, где право, где лево, где верх, где низ. Кружила, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колени.

И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Момун осторожно выведал, что же случилось с ними, хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали.

— Ой-ой-ой! — дивились они случившемуся и благодарили бога, прижимая руки к груди.

— А оделись вы, ребята, так легко, — упрекала бабка, разливая им горячий чай. — Разве можно приезжать в горы в такой одежонке? Дети вы, дети!.. Все красуетесь, на городских хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи, господи, зачоченели бы как ледышки.

— Кто же знал, что случится такое? — отвечал ей Кулубек. — Зачем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри. Сиди себе, как дома. Крути баранку. В самолете — вон он на какой высо-

те летит — эти горы сверху все равно, что холмики, за бортом мороз сорок градусов, а внутри люди в рубашках ходят...

Мальчик лежал на овчине между шоферов. Приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговор взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих людей искать прибежища у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней, — по крайней мере дня три. Пусть они живут у них. С ними так хорошо! Интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей.

— Ну вот, — чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку, — увидел своих братьев, бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть. Вон какие! Ох, и рослые пошли нынешние джигиты! Дай бог вам здоровья! Помню, в сорок втором году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство...

И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их, трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длинющий строй по ранжиру, и оказалось, что киргизы почти все в самом конце, малорослые. Устроили им перекличку, а потом перекур. Подходит к ним какой-то верзила, рыжий и здоровенный. И громко так это:

— Откуда такие? Маньчжуры?

Среди них был старый учитель. Тот и ответил:

— Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще...

Дед вспомнил этот давнишний случай. Посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей.

— Прав оказался тот учитель. В городе, когда бываю, или по дороге присматриваюсь: красивый, рослый народ пошел. Не то что в прежние времена...

Парни понимающе улыбались: любит старик побалагурить.

— Рослые-то мы рослые, — сказал один из них. — Да вот завалили машину в кювет. Сколько нас, а силенок не хватило...

— Ну, куда там! Грузенная сеном, да при такой метели, — оправдывал их дед Момун. — Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих.

Парни рассказывали деду, как они приехали на верх-

ний сенокос Арчи. Там стояли три большие скирды горного сена. Начали грузиться сразу со всех трех скирд. Укладывали возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной. Кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, вывезти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уже до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два воза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть ли не ощупью спускались с гор. Сено — груз нетяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах.

Ехали и не подозревали, что ждет их впереди.

Спустились с плоскогорья Арчи, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган, снег ударил.

— Такое началось, что спина сразу взмокла, — рассказывал Кулубек. — Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук. Боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что по ней и днем-то опасно...

Мальчик слушал затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузчики уже спали вповалку на полу, одетые, в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами.

Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы за поводыря, держались одна за другую и все время сигналили, чтобы не отбиться в сторону. Снег шел стеной, залеплял фары, «дворники» не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабин: но разве это езда? А снег все валит и валит... Колеса стали буксовать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы беспечно ревели — все бесполезно... Выскочили из кабин и на голос друг друга, перебежками от одной машины к другой, собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах — значит сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь до совхоза. А не отап-

ливать кабины — запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всеильная техника стояла бессильной. Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка: унесет буря — и глазом не успеешь моргнуть. А машины тем временем все больше заносило снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заледенели на ветру.

— И вдруг вспомнил я, аксакал, — рассказывал Кулубек деду Момуну, — что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата-бугинца, — указал он на мальчика и ласково погладил его по голове. — Бегал у дороги. Остановился я. Как же — поздоровался. Поговорили мы. Правда? Ты чего не спишь?

Мальчик, улыбаясь, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый и самый красивый среди этих парней. Вот бы таким стать!

И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова:

— Он у нас такой. Любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил!

— И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю! — продолжал Кулубек. — И говорю ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. «Давай, — говорю, — добираться до кордона. Иначе погибнем здесь». — «А как, — кричат мне ребята в лицо, — как добираться? Пешком не пойдем. И машины бросать нельзя». А я им: «Давай, — говорю, — выталкивать машины на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Сан-Ташской пади, — говорю, — а там пешком доберемся к нашим лесникам, там недалеко». Поняли ребята. «Давай, — говорят, — командуй». Ну, раз такое дело... Начали с головной машины: «Осмоналы, залезай в кабину!» А все мы, сколько нас было, подперли машину плечом. И пошел! Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. А назад отступать нельзя. И чудилось, что не машину мы прем наверх, а целую гору. Воз-то какой — скирда на колесах! И знаю только, что ору, сколько мочи есть: «Давай! Давай! Давай!» — но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воеет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается. И мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится на куски. В голове мути...

— Ай-ай-ай! — сокрушался дед Момун. — Выпало же вам такое. Никак, сама Рогатая мать-олениха оберегла вас, детей своих. Вызволила. А не то, кто знает... Слышишь? И не утихает на дворе, все крутит, метет...

Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки снова слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинками. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых буряном в горах. Перед его взором крутая дорога, восходящая на белую-белую, заснеженную гору. Метель жгла щеки. Глаза резало. Они толкали вверх огромную, с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге. А грузовик уже не идет — сдает, пятится. Так страшно. Так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что машина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась Рогатая мать-олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им, толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — закричал мальчик. И машина пошла, пошла. Вылезли на гору, и машина поехала впиз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью и еще много машин. И всякий раз им помогала Рогатая мать-олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик видел и знал. Он видел всякий раз, когда становилось невозможно, когда становилось страшно, что сил не хватит, подбегала Рогатая мать-олениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль». Мальчик сел в кабину. Машина дрожала и гудела. И руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, с которым он играл в автомобиль — еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой, игрушечный. И вдруг машина стала крениться, падать набок. И упала с грохотом, и разбилась. Мальчик громко заплакал. Очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека.

— Ты чего? Ты чего, а? — разбудил его Кулубек.

Мальчик открыл глаза. И обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе.

— Приснилось? Испугался? Эх ты, а еще герой! — Он поцеловал мальчика жесткими, обветренными губами. — Ну, давай я тебя уложу, спать надо.

Он уложил мальчика на полу, на кошме, между спящих шоферов, и сам лег рядом с ним, придвинул его поближе к себе, под бок, и прикрылся полой бушлата.

Рано утром мальчика разбудил дед.

— Проснись, — тихо сказал старик. — Одейся потеплее. Поможешь мне. Вставай.

За окном мутно просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали вповалку.

— На, обуй валенки, — сказал дед Момун.

От деда пахло свежим сеном. Значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно. Но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка.

— Холодно! — вздрогнул мальчик.

— Ничего. Вроде развидняется, — пробурчал старик. — Надо же! С первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось...

Они вошли в хлев, где стояли пять момуновских овец. Старик нашарил на столбе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали.

— Держи, будешь мне светить, — сказал старик мальчику, передав ему фонарь. — Зарежем черную ярку. Гостей полон дом. Пока встанут, мясо чтобы было у нас готово.

Мальчик светил фонарем деду. Еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку чистого сена. Привел на это место черную ярку и, прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался, присел на корточки.

— Поставь фонарь. Садись и ты, — сказал он мальчику.

А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой:

— О великая прародительница наша, Рогатая мать-олениха. Приношу тебе в жертву черную овцу. За спасение детей наших в час опасный. За белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, на бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле, мы твои дети. Аминь!

Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз от лба к подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил овцу на землю, связал ей ноги. Вынул из ножен свой старый азиатский нож.

А мальчик светил ему фонарем.

Погода утихомирилась наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи: сугробы вкривь и вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавленный. И сама река точно бы ушла ниже, берега ее narосли снегом, стали круче. Вода шумела тише.

Солнце оставалось неустойчивым — то проглянет, то скроется.

Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночи забылись, буран забылся, а снег ему не мешал — так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело оттого, что в доме полно народу, оттого, что парни выспались, громко говорили, смеялись, оттого, что с аппетитом ели сваренную для них баранину.

Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило. Тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах.

Правда, мальчик заволновался, когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу. Вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб. Их провожали на лошадях дед Момун и Сейдахмат. Дед вез вязанку дров, а Сейдахмат — большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов.

Все двинулись со двора.

— Ата, и я пойду, возьми меня, — подбежал мальчик к деду.

— Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Усталешь ходить по снегу.

Мальчик обиделся. Надулся. И тогда его взял с собой Кулубек.

— Пошли с нами, — сказал он и взял его за руку. — Назад поедешь с дедом.

И они пошли на развилку — туда, куда спускалась дорога с сенокоса Арча. Снегу лежало еще порядочно. Не так просто оказалось поспевать в шаг с этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать.

— Ну-ка, давай садись ко мне на спину, — предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко

вскинул его к себе за плечи. И понес так привычно, словно каждый день носил его на спине.

— Здорово это получается у тебя, Кулубек, — сказал шофер, идущий рядом.

— А я всю жизнь братьев и сестер носил, — похвастался Кулубек. — Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уж дети. Вернулся из армии, холостой, на работу еще не поступал. А сестренка — та, что старшая, — «Приезжай, — говорит, — к нам, живи, у нас, ты так хорошо пнячишь детей». — «Ну, нет, — говорю ей, — хватит! Я теперь своих буду носить...»

Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека.

«Вот был бы у меня такой брат! — мечтал он. — Я бы никого не боялся. Попробовал бы Орозкул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже».

Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места.

Но вот разложили костер. Нагрели воду. Стали заводить мотор заводной ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрее. Каждую следующую машину заводили с буксира. Каждая заведенная, разогретая машина тащила затем ту, которая стояла за ней в колонне.

Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезть на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался, что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов, никто не прогнал его. Может быть, потому, что Кулубек разрешил ему помогать. А он здесь самый сильный, и его все уважают.

Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись. Сначала медленно, потом быстрее. И потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сыновья сыновей Рогатой матери-оленихи. Они не знали, что волей детского воображения впереди них по дороге невидимо бежала Рогатая мать-олениха. Длинными, стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны.

Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути. От обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед. Разве не об этом просил дед Момун Рогатую мать-олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете?

Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними. Мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком. «Дядя Кулубек, — говорил он ему. — А впереди нас бежит по дороге Рогатая мать-олениха». — «Да ну?» — «Правда. Честное слово. Вот она!»

— Ну, ты чего задумался? Что строишь? — заставил его очнуться дед Момун. — Садись, домой пора. — Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло. — Тебе холодно? — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы.

Мальчик тогда еще не ходил в школу.

А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо...» Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат. Ата. Така» *. Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат. Ата. Така. Ат. Ата. Така». Он уставал, в глазах рябило, и становилось жарко, счень жарко, мальчик открывался. А когда лежал открытым и мерз, опять посещали его разные видения. То он плывал рыбой в студеной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном, холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовало на месте. Колеса, бешено вращаясь, становились огненно-красными. Колеса горели, пламя шло от них. Упираясь рогами в кузов, Рогатая мать-олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил. Обливался горячим потом. И вдруг воз сена превратился в детскую колыбель. Рогатая мать-олениха сказала мальчику: «Побежали быстрее, отнесем бешик тетке Бекей и дяде Орозкулу». И они пустились бежать. Мальчик отстал. Но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов.

Он проснулся, когда слышались шаги на веранде и

* Ат, ата, така — лошадь, отец, подкова.

скрипнула дверь. Дед Момун и бабка вернулись, как будто пемного успокоенные. Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Орозкула и тетку Бекей приутихнуть. А может быть, Орозкул устал пьянствовать и уснул наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани.

Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. А вокруг в полном безмолвии пребывали горы, скалы, черные и неподвижные леса, и в самом низу билась и шумела река на камнях.

В окно косым потоком падал неверный свет луны. Этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза. Хотел попросить бабку, чтобы она занавесила окно. Но не стал: бабка была сердита на деда.

— Дурак, — шептала она, ложась спать. — Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал. Слушался бы других. Ты же у него в руках. Жалованье идет тебе от него, пусть грошное. Зато каждый месяц. А без жалованья — кто ты есть? Стар, а ума не нажил...

Старик не отвечал. Бабка умолкла. Потом вдруг неожиданно громко сказала:

— Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он никто.

И опять старик ничего не ответил.

А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал — тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джелесае. Думал мальчик и о том, что если Орозкул выгонит деда с работы, то бабка житья не даст старику. Как им быть тогда?

Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья! Может быть, тогда и Орозкул начал бы уважать деда.

От этих мыслей голова мальчика разбалчивалась все больше. Онянь вспомнил он про маралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью? Одни ведь они в холодных и каменных горах, в черном, непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут, что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на рогах?

Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял Рогатую мать-олениху принести березовый бешик для Орозкула и тетки Бекей. «Пусть будут у них дети, пусть будут у них дети!» — заклинал он Рогатую мать-олениху. И слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила Рогатая мать-олениха, подцепив на рога волшебную колыбель...

VII

Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно поежился...

— Лежи, лежи. — Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот. — Да ты, никак, занемог, — огорчился дед. — Жар у тебя. А я думаю, что он лежит? В школу пора.

— Я сейчас, я встану, — приподнял голову мальчик, и все закружилось у него перед глазами, и в ушах зашумело.

— И не думай вставать. — Дед уложил мальчика на подушку. — Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.

Мальчик попытался настоять на своем:

— Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу...

— Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай покажи язык.

Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс: задубелые от грубой работы, жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей, потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес:

— Бог милостив. Ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь — и, бог даст, встанешь утром как дикий кулан.

Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Момун помрачнел, сидя в постели внука, вздохнул и призадумался. «Бог с ним», — прошептал со вздохом.

— Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? — обратился он к мальчику. — Вечером, что ли?

— Да под вечер. Когда увидел маралов за рекой. Я прибежал к тебе. А потом мне стало холодно.

Старик сказал почему-то виноватым голосом:

— Ну, ладно... Ты лежи, а я пойду.

Он поднялся, но мальчик задержал его:

— Ата, а там сама Рогатая мать-олениха, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит как человек...

— Дурачок ты, — осторожно улыбнулся старик Момун. — Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она, — сказал он глухо, — пречудная мать-олениха, кто знает?.. Я вот думаю...

Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора, она уже что-то развела.

— Иди, старик, туда, — с порога заговорила бабка. Дед Момун сразу сник при этом, стал жалким, пришибленным. — Там они хотят выволочь бревно из реки машиной, — говорила бабка. — Так ты иди, делай все, что прикажут... Ох ты, боже мой, молоко-то еще не кипяченое! — спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой.

Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть.

— Ну ты чего уставился? — возмутилась бабка. — Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну кто ты есть такой против них? К Орозкулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь, так десять бревен увезет по горам. А Орозкул на нас и не глядит даже. Как я ни уговаривала, как ни унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит она, перодиха твоя, у Сейдахмата. Глаза повыплакала. И проклинает она тебя — отца своего безмозглого...

— Ну, хватит, — не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал: — Молока дай горячего, заболел вол мальчонка.

— Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради бога. — И, выпроводив старика, она еще бурчала: — И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был — и на тебе вдруг! Да еще на коня

орозкуловского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя, — стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика. — Было бы за кого на рожон лезть...

Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленым маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала:

— Пей, пей, погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь.

Мальчик обжигался, слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела:

— Ну, остуди, остуди немного... И надо же, приболел ты у нас в такое время! — вздохнула она.

Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость. Но бабка упредила:

— Постой, я сейчас принесу тебе тазик.

Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая.

Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше.

Мальчик лежал в постели спокойно, благодарный бабке за ее услугу, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех маралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка маралья — это и есть сама Рогатая мать-олениха, что с ней телок, большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый марал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков Рогатую мать-олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если маралы останутся у них и никуда не уйдут, то Рогатая мать-олениха скоро принесет дяде Орозкулу и тетке Бекей волшебную колыбель.

А маралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок.

Пробираясь между деревьями, маралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том же порядке — впереди самец-рогач, посредине телок и последней — крутобокая

матка. Рогатая мать-олениха. Маралы шли по той же тропе, по которой вчера Орозкул с дедом Момуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе еще свежей, пропаханной бороздой с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно.

Маралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. Орозкул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Момун неуверенно шел позади всех, понуриив голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Орозкул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет: «А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы!» Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика, он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но, по сути, она конвоировала старика. Она гнала Расторопного Момуна на примирение с Орозкулом, на то, чтобы он заслужил у Орозкула прощение.

Орозкул ступал важно, по-хозяйски. Шел, отдуваясь, посапывая, и строго поглядывал по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Момун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги», — злорадствовал Орозкул, вспоминая, как истошным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пингами с порога. «Пусть! Вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза поыведерет. Озверела, как волчица», — думал Орозкул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком.

Человека этого звали Кокетай. То был дюжий черный мужик, колхозный счетовод с приозерья. С Орозкулом он давно вел дружбу. Лет двенадцать тому назад построил Кокетай себе дом. Орозкул помог лесом. Продав по дешевке кругляки на распиловку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Орозкул снабдил его бревнами. Теперь Кокетай отделял

младшего сына, и опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Орозкул выручал. Беда, как трудно жизнь! Одно сделаешь — ну, думаешь, теперь спокойно проживу. А жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Орозкул, теперь не обойдешься...

— Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу, — говорил Кокетай Орозкулу.

Тот пыхтел самодовольно, напирасой дымил:

— Спасибо. Когда зовут — не отказываемся, а не зовут — не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас: а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через совхоз незамеченным проехать. А не то, если засекут...

— Оно-то верно, — заколебался Кокетай. — Да долго ждать до вечера. Выедем потихоньку. Поста ведь нет на дороге, чтобы проверить нас?.. Случайно если наткнешься на милицию или на кого еще...

— То-то и оно! — пробурчал Орозкул, морщась от изжоги и головной боли. — Сто лет ездись по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в сто лет — и влипнешь. Это всегда так...

Они замолчали, каждый думал о своем. Орозкул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то, был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправил бы машину с глаз долой... Эх, и угораздило же вчера случиться такому делу! Это все старый дурень Момун, бунтовать решил, из-под власти хотел выйти, из подчинения. Ну ладно же! Что-что, а это тебе не пройдет так просто...

Маралы пили воду, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди — суетливые, шумливые. Занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку.

Маралы стояли в красных утренних кустах речного тугая, войдя по щиколотку в воду, на чистом галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная. А солнце пригревало сверху все горячее и приятнее. Утоляя жажду, маралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спиц маралов. Покойное и благостное было утро того дня.

А люди так и не замечали маралов. Один человек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, маралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, рокотала. Маралы шевельнулись, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места — люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались.

Маралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае, их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда маралы стали пересекать открытую прогалину сухого паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреновом песке, в ярком солнечном освещении. И застыли с разнужными ртами, в разных позах.

— Смотри, смотри, что такое! — первым вскрикнул Сейдахмат. — Олени! Откуда они здесь?

— Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени, маралы это. Мы их вчера еще видели, — побрежно изрек Орозкул. — Откуда они? Пришли, стало быть.

— Пай, пай, пай! — восхищался дюжий Кокетай и от возбуждения растегнул душивший его ворот рубашки. — А гладкие какие, — восхитился он, — отъелись...

— А матка-то кака! Смотри, как ступает, — вторил ему шофер, вытаращив глаза. — Ей-богу, с кобылицу-двухлетку. Первый раз вижу.

— А бык-то! Рожица-то смотри! Как только он их носит! И не бояться ничего. Откуда они такие, Орозкул? — допытывался Кокетай, с вожделием поблескивая свиными глазками.

— Заповедные, видать, — ответил Орозкул важно, с чувством хозяйского достоинства. — Из-за перевала пришли, с той стороны. А не бояться? Непуганые, вот и не бояться.

— Эх, ружье бы сейчас! — ляпнул вдруг Сейдахмат. — Мяса центнера на два потянет, а?

Момун, до сих пор робко стоявший в стороне, не утерпел:

— Да что ты, Сейдахмат. Охота на них запрещена, — сказал он негромко.

Орозкул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь!» — подумал он с не-

навистью. Хотел обругать его так, чтобы напозвал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали.

— Нечего попусту поучать, — раздраженно проговорил он, не глядя на Момуна. — Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно? — грозно глянул он на растерявшегося старика.

— Ясно, — покорно ответил Момун и, опустив голову, отошел в сторону.

Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав.

— Ты бы уж молчал, — прошипела она укоризненно.

Все как-то пристыженно потупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Маралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога, за ним комолый телок, и замыкала это шествие Рогатая мать-олениха. На фоне чистого глинистого сброса маралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.

— Эх, красота какая! — не удержался от восторга шофер, лупоглазый молодой парень, очень смирный с виду. — Жаль, что не захватил фотоаппарата, вот было бы...

— Ну, ладно, красота, — недовольно перебил его Орозкул. — Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай подгони машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы. А ты, Сейдахмат, разувайся, — распорядился он, упиваясь в душе своей властью. — И ты, — указал он шоферу. — И давайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет.

Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты.

— Что смотришь, помоги ему, — тычком незаметным толкнула старика бабка. — И разувайся, сам лезь в воду, — подсказывала она злобным шепотком.

Дед Момун кинулся стаскивать сапоги с Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Орозкул с Кокетаем командовали машиной:

— Давай сюда, сюда давай.

— Левее немного, левее. Вот так.

— Еще немножко.

Заслышав внизу непривычный шум машины, маралы на тропе убыстряли шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в березах.

— О, исчезли! — спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла.

— Ничего, никуда они не денутся! — отгадывая его мысли и довольный этим, хвастался Орозкул. — Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Сам бог велит. Попотчую я тебя на славу. — И, хохотнув, хлопнул друга по плечу. Орозкул мог быть и веселым.

— Ну, коли так, как велит, — ты хозяин, я гость, — покорился дюжий Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы.

Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в полколеса. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло.

Трос был стальной — длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывал на воду. Он еще не решил окончательно: стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разувшись. «И пожалуй, лучше босиком, — думал он. — Все равно вода залетит за голенища. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви». Но он также представлял себе и то, какая, должно быть, холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Момун.

— Ты не разувайся, сынок, — подскочил он к нему. — Мы пойдем с Сейдахматом.

— Да не стоит, аксакал, — возразил, смутившись, шофер.

— Ты гость, а мы здешние, ты садись за руль, — уговорил его дед Момун.

И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом:

— Ай, ай, лед, а не вода!

Орозкул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его:

— Терпи, терпи! Найдем чем согреть тебя!

А дед Момун не издал ни звука. Он даже не почувствовал ледящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля бога лишь об одном, чтобы Орозкул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика...

И Орозкул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Момуна, не считая его за человека. А в душе торжествовал, что все же сломил взбунтовавшегося старика. «Так-то, — ехидно посмеивался Орозкул про себя. — Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог! Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалуются: председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством, как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко, головы летели — и никто ни звука. Вот это было — да! А что теперь? Самый никудышный из никудышных и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай», — злорадствовал Орозкул, поглядывая изредка в сторону Момуна.

А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сейдахматом и довольствовался тем, что Орозкул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось, — мысленно обращался он к Орозкулу. — Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы бог дал, если бы услышал я крик поворожденного жены твоей, моей дочери, — не сойти мне с места, пусть бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать — так пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю. Ты только скажи...»

Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик! Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится».

Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрохотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверно, очень долго, если бы не бабка с теткой Бекей. Они ста-

рались говорить вполголоса, но загремели посудой, и мальчик проснулся.

— Держи вот большую чашку. И блюдо возьми, — оживленно шептала бабка в передней комнате. — А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя! Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава богу, я так рада.

— Ой, не говори, энеке, и я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя.

— Скажешь еще, — урезонила бабка. — Перцу взяла? Пошли. Сам бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли.

Выходя из дома, уже на пороге, тетка Бекей спросила бабку про мальчика:

— А он все спит?

— Пусть поспит пока, — ответила бабка. — Как будет готово, принесем ему шурпы погорячей.

Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бекей смеялась, и Гульджамал и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверно, те люди, которые приехали ночью, — решил мальчик. — Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Момуна. Где он? Чем занят?

Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о маралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы им сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телка-мараленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним?..

Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейдахмат. Очень довольный чем-то. Веселый. Сейдахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной, резкий запах, напавший о самодурстве Орозкула, о страданиях деда и тетки Бекей. Но, в отличие от Орозкула, Сейдахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился какой-то безобидно глуповатый, хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Момуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор:

— Что усмехаешься, как дурачок, Сейдахмат? И ты надрался?

— Аксакал, я тебя так люблю! Честное слово, аксакал, как отца родного.

— Э-эх, в твои-то годы! Другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы.

— Аксакал, в армии командир мне сказал, что я песпособен по этой части. Зато я пехота, аксакал, а без пехоты — ни туды и ни сюды...

— Пехота! Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя... У бога глаз пет. Сто таких, как ты, не стоят одной Гульджамал.

— Потому мы и здесь, аксакал, — я один, и она одна.

— Да что с тобой говорить. Здоровый как бык, а ума... — дед Момун безнадежно махал рукой.

— Му-у-у-у, — мычал и смеялся вслед ему Сейдахмат.

Потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную, невесть где услышанную песню:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери,
Будем пить рыжее вино!

С бурых, бурых гор
Я приехал на буром быке.
Эй, бурый купец, открывай двери,
Будем пить бурое вино!..

И так могло продолжаться бесконечно, ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе — на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейдахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый.

И потому, когда появился подвыпивший Сейдахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему.

— Ха! — воскликнул Сейдахмат удивленно. — А мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет... — Он повалился к нему на постель и, обдавая спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика.

— Ну, хватит, дядя Сейдахмат, — попросил мальчик. — А где дедушка, ты не видел его?

— Дед твой там, это самое, — Сейдахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. — Мы это... Бревно вытаскивали из воды. Ну и вышили для согрева. А сейчас он, это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся — и пошли. Как же так! Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь.

— Дедушка не велел мне вставать, — сказал мальчик.

— Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру! Вставай.

С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика.

— Я сам, — пробовал отказаться мальчик, испытывая смутные приступы головокружения.

Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома, а сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру...

Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из дома. День в горах стоял ветренный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась — от нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра, в лицо ударил дым костра. Глаза защипало. «Стирают, наверно, сегодня белье», — подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бекей и Гульджамал поднимали его вдвоем.

Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге, — побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щечкой влажной ткани.

В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный — пар густо валил из кипящего казана, до краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось: мясной дух и запах костра защекотали обоняние, вызывали во рту слюну. Тетка Бекей в новом красном платье, в новых хромовых сапогах, в цветистом полущалке, сбившемся на плечи, наклонившись над костром, снимала поварешкой пену, а

дед Момун, стоя подле нее на коленях, ворочал горячие поленья в очаге.

— Вон он, твой дед, — сказал Сейдахмат мальчику. — Пошли.

И сам только было затянул:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце, —

как из сарая высунулся Орозкул, бритоголовый, с топором в руке, с засученными рукавами рубашки.

— Ты где попадаешь? — грозно окликнул он Сейдахмата. — Гость тут дрова рубит, — кивнул он на шофера, колотившего поленья, — а ты песни поешь.

— Ну, мы это в два счета, — успокоил его Сейдахмат, направляясь к шоферу. — Давай, брат, я сам.

А мальчик приблизился к деду, стоявшему на коленях подле очага. Он подошел к нему сзади.

— Ата, — сказал он.

Дед не слышал.

— Ата, — повторил мальчик и тронул деда за плечо.

Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случалось такое, то разве где-нибудь на поминках иссык-кульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто — этого еще не случалось с дедом.

Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным, и когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги.

— Ты что, а? — глухо сказал он, прижимая к себе внука. — Ты что, а? Ты что? — И кроме этих слов, он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи.

Его волнение передалось мальчику.

— Ты заболел, ата? — с тревогой спросил он.

— Нет-нет. Я так просто, — пробормотал дед Момун. — Ты иди, походи немного. А я тут дрова, это самое...

Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядываясь, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, колотившему дрова.

Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую грудку красного свежего мяса, паваленного кучей на шкуру, разостланную по земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча, мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый огромный темнолицый человек. То был Кокетай. Он и Орозкул с пожамы в руках разделявали мясо. Спокойно, не торопясь, перекидывали они расчлененные мослы с мясом в разные места на растянутой шкуре.

— Удовольствие одно! А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, пригнувшись к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу, — щедро предлагал ему Орозкул. — Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугой живот, точно он объелся чего-то; и сразу было заметно, что он уже крешко выпил. Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости.

Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах.

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой маралицы. Той самой, что вчера еще была Рогатой матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову.

Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не сообщая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделявал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику.

— На, мальчик, изжарь на углях, вкусно будет, — сказал он.

— Возьми! — приказал Орозкул.

Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку Рогатой матери-оленихи. А Орозкул тем временем поднял за рога голову белой маралицы.

— Ох и тяжелая! — покачал он ее на весу. — Рога одни сколько весят.

Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа.

— Ай да рога! — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основание рогов. — Это мы деду твоему, — он подмигнул мальчику. — Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда больше! За такие рога не грех хоть сегодня помереть! — хохотнул он, нацеливаясь топором.

Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Орозкул рубил невпопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Тогда Орозкул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала, а он гоцился за ней с топором.

Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз Рогатой матери-оленихи не бережется топора. Не моргает, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу.

А рога не поддавались. Орозкул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове как попало — и обухом, и лезвием топора.

— Да так поломаешь рога. Дай мне, — подошел Сейдахмат.

— Прочь! Я сам! Черта с два — поломаешь! — прохрипел Орозкул, взмахивая топором.

— Ну как хочешь, — плюнул Сейдахмат, направляясь к себе домой.

За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса.

А Орозкул с пьяным упорством продолжал четверто-

вать за сараем голову Рогатой матери-оленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть.

— Ах ты, сволочь! — с пеной у рта пинал он голову сапогом, точно мертвая голова могла его слышать. — Ну, нет, врешь! — налетал он с топором снова и снова. — Не я буду, если не доконаю тебя. На тебе! На тебе! — крушил он топором.

Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей.

Мальчик коротко вскрикнул, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная, густая жидкость. Умер глаз, исчез, опустел...

— Я и не такие головы могу размозжить! И не такие рога обломаю! — рычал Орозкул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове.

Наконец ему удалось проломить череп и в темени и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика Рогатая мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей...

Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же, на глазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испариной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Момун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрее добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть...

Навстречу ему попала тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами Орозкуловых побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах «большого мяса».

— Что с тобой? — остановила она мальчика.

— У меня голова болит, — сказал он.

— Да милый ты мой, болезный, — сказала она вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями.

Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разлило водкой.

— Голова у него болит, — бормотала она умиленно. — Родненький ты мой! Ты, паверно, кушать хочешь?

— Нет, не хочу. Я хочу лечь.

— Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что ж ты будешь один-одишешенек лежать. Ведь все будут у нас. И гости, и наши. И мясо уже готово. — И она потащила его с собой.

Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Орозкул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Момуна вырубленные им маральи рога. Старик привстал с места.

Не глядя на него, Орозкул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить обливаясь.

— Можешь помирать теперь, — бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру.

Мальчик слышал, как дед пролепетал:

— Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение, стало быть...

— Я пойду домой, — сказал мальчик, чувствуя слабость в теле.

Тетка Бекей не послушалась.

— Нечего тебе там одному, — и почти пасильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу.

В доме у Орозкула все уже было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занимались бабка и Гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетка Бекей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Орозкул и черный дюжий Кокетай, полулежа на цветных одеялах, с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай на доньшки пиал.

А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз.

Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор. И появился он затем в дверях с горой дымящегося мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Орозкулом и Кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушанья.

Все стали рассаживаться заново, приготовили ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам.

— Командиром водки буду я, — гоготал он, кивая на бутылки в углу.

Последним пришел дед Момун. Странный, слишком уж жалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжий Кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним.

— Проходите сюда, аксакал.

— Спасибо. Мы тут, мы ведь у себя, — пробовал отказать дед Момун.

— Но все же вы самый старший, — настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахметом. — Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово.

Дед Момун неуверенно прокашлялся.

— За мир в этом доме, — сказал он вымученно. — А там, где мир, там и счастье, дети мои.

— Правильно, правильно! — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы.

— А вы что ж? Нет, так не пойдет! Желаете счастья зятю и дочери, а сами же пьете, — упрекнул Кокетай за смущавшегося деда Момуна.

— Ну разве что за счастье, я что ж, — заторопился старик.

На удивление всем, он ахнул до дна почти полный стакан водки и, оглушенный, замотал старой головой.

— Вот это да!

— Наш старик не чета другим!

— Молодец ваш старик!

Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда.

В доме стало жарко и душно. Мальчик лежал в тягостных муках, его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо Рогатой матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.

— Не мясо, а молодой жеребенок! — похватил Кокетай, причмокивая губами.

— А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такого мяса, — говорил Орозкул.

— Верно, для чего мы здесь живем, — поддакивал Сейдахмат.

Все хвалили мясо Рогатой матери-оленихи: и бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал, и даже дед Момун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие

кушапья. Но он отказывался, и, видя, что ему нездоровится, пьяные оставили его в покое.

Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержаться от тошноты. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах был ничего поделать с этими людьми, убившими Рогатую мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии мальчик придумывал разные способы отмщения, как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжавшего с молодыми шоферами за сеном в ту бурную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза.

...По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил из кабины с автоматом наперевес:

— Где они?

— Там они!

Побежали вдвоем к дому Орозкула, рванули двери.

— Ни с места! Руки вверх! — грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат.

Все обалдели. Оцепенели от страха, кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С мослами в жирных руках, с жирными щеками и жирными ртами, обвешанные, пьяные, они не смогли даже шевельнуться.

— А ну, встань, гадина! — Кулубек приставил автомат к виску Орозкула, и тот затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека.

— По-щади, не-не-убивай ме-ме-меня!

Но Кулубек был неумолим.

— Выходи, гадина! Конец тебе! — крепким пинком поднадал он под жирную задницу Орозкула, заставил его встать, выйти из дома.

И все, кто были, перепуганные и молчаливые, вышли во двор.

— Становись к стене! — приказал Кулубек Орозку. — За то, что ты убил Рогатую мать-олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, — тебе смерть!

Орозкул упал в пыль. Заползал, завыл, застонал:

— Не убивайте, у меня ведь и детей нет. Один я на всем свете. Ни сына у меня, ни дочери...

И куда девалась его надменность, его спесь! Жал-

кий и пичтожный трус. Такого даже убивать не захотелось.

— Ладно, не будем убивать, — сказал мальчик Кулубеку. — Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит.

Орозкул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь — жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе. Но Кулубек остановил его:

— Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи — и чтобы навсегда. А ну, побыстрей!

Орозкул побежал без оглядки.

— Шнель! Шнель! — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух.

Радовался мальчик и ликовал. А когда Орозкул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоявшим у дверей:

— Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?

Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Орозкула.

...Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Момуна в комнате не было. Вышел, наверно, куда-то. Женщины убирали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам.

— Ну и что дальше?

— Рассказывай!

— Нет, слушай, ты Расскажи, ты повтори еще раз, — чуть не умирая от смеха, просил Орозкул, — как ты ему насчет этого? Как ты его напугал. Ой, не могу!

— Так вот, значит, — Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное. — Только мы стали подъезжать к маралам, а они стояли на опушке в леску, все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку. «Не можем, — говорит, — мы стрелять маралов. Мы — бугинцы, дети Рогатой матери-оленихи!» А сам смотрит на меня, как ребенок. Умолкает глазами. А я — хоть стой, хоть падай — подыхаю

со смеху. Но не засмеялся. А, наоборот, так это серьезно. «Ты, что, — говорю, — в тюрьму хочешь угодить?» — «Нет», — говорит он. «А ты знаешь, что байские сказки эти, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, заугивать бедняцкий народ!» А он тогда и рот раскрыл: «Да что ты?» — говорит. «Вот то-то, — говорю, — ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу на тебя куда следует».

— Ха-ха-ха! — рассмеялись дружно сидевшие.

И больше всех Орозкул. Уж он-то хохотал в усладу.

— Ну, а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и след простыл, а эти полоумные маралы не бегут, вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю, — прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат. — Я впереди с ружьем. Старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал. А тут такое дело. Не попаду — рванут по лесу, и ищи их. Попробуй угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно, такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валил в свое время. Я ему и говорю: «Вот тебе ружье, старик, стреляй». А он ни в какую! «Сам, — говорит, — стреляй». А я ему: «Да я же пьяный», — говорю. И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою. А он видел, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся.

— Ха-ха-ха!..

— «Я не попаду, — говорю, — уйдут маралы, второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то смотри. Зачем нас сюда послали?» Молчит. А ружье не берет. «Ну, — говорю, — как хочешь». Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. «Мне, — я говорю, — все равно, выгонит меня Орозкул, пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?» Молчит. И я так это, потихоньку, для картины, значит:

С рыжих, рыжих гор

Я приехал на рыжем жеребце.

Эй, рыжий купец, открывай двери!..

— Ха-ха-ха!..

— Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, маралы наши ушли чуть подальше. «Ну, — говорю, — смотри, уйдут, не догонишь. Стреляй, пока они не пуганы». Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как

полоумный: «Прости меня, Рогатая мать-олениха, прости...» А я ему свое: «Смотри, — говорю, — промажешь — убегай вместе с маралами куда глаза глядят, лучше не возвращайся».

— Ха-ха-ха!..

В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее, голова раскалывалась от разбухающей, не уместящейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбе, только голова оставалась своей и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной, темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь, — говорил он сам себе. — Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой...»

И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал:

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и муки. Ему казалось, что дурно ему оттого, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Момуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами Рогатой матери-оленихи. Обрубок маральей головы грызла собака. Больше никого не было.

Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо.

— Ата, пойдем домой, — сказал он. — Пойдем.

Старик не отвечал, он ничего не слышал, он не мог поднять головы. Да и что ему было отвечать, что сказать?

— Ну вставай, ата, пойдем домой, — просил мальчик.

Кто его знает, понимал ли он умом своим детский или же невдомек было ему, что старый Момун лежал здесь в расплату за сказку свою о Рогатой матери-оленихе, что не по своей воле посягнул он на то, уважение к чему сам внушал ему всю жизнь, — на память предков,

на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука...

И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика.

Мальчик присел возле деда, пытаясь расшевелить его.

— Ата, ну подними голову, — просил он. Мальчик был бледен, движения его были слабы, руки и губы дрожали. — Ата, это я. Ты слышишь? — говорил он. — Мне очень плохо, — заплакал он. — У меня голова болит, очень болит.

Старик застонал, шевельнулся, но не смог прийти в себя.

— Ата, а Кулубек приедет? — спросил вдруг мальчик сквозь слезы. — Скажи, Кулубек приедет? — тормошил он его.

Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой свалывшейся бородежкой, и почудилась мальчику в ту минуту голова белой маралицы, изрубленной давеча топором Орозкула. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил:

— Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата, я уйду. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой.

Старик ничего не отвечал.

Мальчик побрел дальше. Спустился к реке. И ступил прямо в воду.

Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня:

С горбатых, горбатых гор
Я приехал на горбатом верблюде.
Эй, горбатый купец, открывай двери,
Будем пить горькое вино!..

Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу. Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился.

— Ты куда? — спросил бы Кулубек.

— Я к тебе! — ответил бы ты.

И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому не видимая Рогатая мать-олениха. Но ты бы видел ее.

Но ты ушел. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу. Что не доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение.

И в том еще, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди...

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ

ПОВЕСТЬ

В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской почве, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий — суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу.

Гудело и маялось море во тьме, набегая и расширяясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменнотвердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения — с тех пор как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени.

Все дни и все ночи...

Еще одна ночь протекала. Ночь накануне выхода в море. Не спал он той ночью. Первый раз в жизни не спал, первый раз в жизни изведаль бессонницу. Уж очень хотелось, чтобы день наступил поскорее, чтобы ринуться в море. И слышал он, лежа на перепичьей шкуре, как едва уловимо подрагивала под ним земля от ударов моря и как грохотали и маялись волны в заливе. Не спал он, вслушиваясь в почву...

А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе, об этом генерь никто знать не знает, не догадывается даже, что, не будь в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому — суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суше. Ведь в самом начале — в изначальном начале — земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только во-

да. Вода возникла сама из себя, в круговерти своей — в черных безднах, в безмерных пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бесстороннего тогда света: из ниоткуда в никуда.

А утка Лувр, да-да, та самая, обикновенная криквашироконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна-одиношенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить.

С криком летала утка Лувр — боялась, не удержит, боялась, уронит яйцо в пучину бездонную. И куда бы ни отправлялась утка Лувр, куда бы ни долетала она — везде и повсюду плескались под крыльями волны, кругом лежала великая Вода — вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась: в целом свете не было места, где бы устроить гнездо.

И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свила гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, мало-помалу заселялась земля тварями разными. А человек всех превзошел среди них — приоровился по снегу ходить на лыжах, по воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, тем кормился и род умножал свой.

Да только если бы знала утка Лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля, море не может успокоиться; с тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними — между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан...

Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя.

Волны упорствовали на своем: волпа за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые, осклизлые завалы камней, вверх — сколько сил и размаха хва-

тало, и волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.

Временами вместе с прибоем выметывались па берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в неленые беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно, в свою стихию.

Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.

Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими пабегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжелой зыбью.

Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.

В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка-утес, и вправду папоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнорослем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху — в затененной впадине, сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест — и с моря и из лесу.

Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, — коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый — особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать — крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами. Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи, — и, казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись, как

кулик, на самом посу, то и дело мельком поглядывая на взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого старейшины, черноглазый мальчик лет одиннадцати-двенадцати.

Мальчик был взволнован. От возбуждения ноздри его упруго раздувались, и на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери — у нее тоже, когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки. Мальчику было отчего волноваться. Этот выход в море предначался ему, его приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам, как кулик, глядел повсюду с неубывающим интересом и нетерпением. Впервые в жизни отправлялся Кириск в открытое море с настоящими охотниками, на настоящую, большую добычу, в большом родовом каяке. Мальчику очень хотелось привстать с места, поторопить гребцов, очень хотелось самому взяться за весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрее доплыть до островов, где предстояла большая охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать себя. Но это не совсем удавалось. Трудно было ему скрыть свое счастье — горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное, глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи, не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота!!!

Старик Орган понимал его. Углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами — эх, детство, детство, — но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полуугасшей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море, — такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется сызмальства. Потому-то прежние люди говорили: «Ум от неба, споровка сызмальства». И еще говорили: «Плохой добытчик — обуза рода». Вот и выходит: чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и Кириску, пора было патаскивать мальчишку, приучать его к морю.

Об этом все знали, все поселение клана Рыбы-женщины у сопки Пегого пса знало, что сегодняшней выход в плавание предпринимался ради него, Кириска, будущего добытчика и кормильца. Так заведено: каждый, кто рождается мужчиной, обязан побрататься с морем с малолетства, чтобы море знало его и чтобы он уважал море. Потому-то сам старейшина клана старик Орган и двое лучших охотников — отец мальчика Эмрайин и двоюродный брат отца Мылгун шли в плавание, повинаясь заветному долгу старших перед младшими, в этот раз перед ним, мальчиком Кириском, которому предстояло отныне и навсегда познаться с морем, отныне и навсегда и в дни удач и неудач.

Пусть он, Кирик, сейчас мальчишка, пусть еще молоко материнское на губах, и неизвестно, выйдет ли толк из него, но кто возьмется сказать, может статься, когда они сами отойдут от дел, превратясь в немощных старцев, именно он, Кирик, будет кормильцем и опорой рода. Так оно и положено быть, так оно и идет в поколениях, из колена в колено. На том жизнь стоит.

Но об этом никто не скажет вслух. Человек думает об этом про себя, а говорит об этом редко. Оттого-то там, на побережье Пегого пса, никто из людей Рыбы-женщины не придавал особого значения этому событию — первому выходу Кириска на добычу. Наоборот, соплеменники постарались даже не заметить, как он уходил в море вместе с большими охотниками. Вроде бы не принимали всерьез эту затею.

Провожала его только мать, и то, не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании и не дойдя до бухты, попрощалась. «Ну, иди в лес!» — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса: «Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу!» Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров — от злых духов. И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмрайин был не отец, точно не с отцом Кирик отправлялся в море, а со случайными людьми. Опять же умалчивала потому, чтобы не проведали кинры, что Эмрайин и Кирик — отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волю отнять у другого, чтобы с горя поклялся один из них не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры, только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям.

Сам-то он, Кириск, не боится злых кинров, не маленький уже. А мать боится, особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда! Ох, эти злые духи, сколько они бед приносят в малолетстве — болезни разные или вред какой нашьют, покалечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда пужен такой человек! Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, бояться они сильных людей.

Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и надежду, да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце, вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом — на три дня плавания, а теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится она в душе.

Мать ушла, не доходя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых кинров, как и наказывала мать, — не хотелось огорчать ее в такой день, — пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин.

Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со спасателями на плечах. Впереди старейшина Орган, за ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый, бородатый Эмрайин, а за ним, косолапо ступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, Мылгун. Одежда на них была обношенная, для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держала и не промокала. А Кириск по сравнению с ними выглядел парадным. Мать постаралась, давно готовила она его морскую одежду. И торбаса и верхняя одежда порасшиты по краям. На море-то к чему это. Но мать есть мать.

— Ух ты, а мы думали, что ты остался. Думали, увели тебя за ручку домой! — насмешливо подивился Мылгун, когда Кириск поравнялся с ним.

— Это почему? Да никогда в жизни! Да я! — Кириск чуть не задохнулся от обиды.

— Ну, ну, шуток не понимаешь, — урезонил его

тот, — ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом. На вот, неси-ка лучше! — подал он ему свой вишчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом.

Предстояли погрузка и отплытие.

Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернутся они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут. Будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях Рыбу-женщину, прародительницу, — от которой пошли они — люди Рыбы-женщины по земле. И тогда загудят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, и среди пляшущих шаман — самый многоумный человек — разговор заведет с Землей и Водой, разговор о нем, Кириске, новом охотнике. Да-да, о нем будет говорить шаман с Землей и Водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему Земля и Вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему на Земле и на Воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости. И еще заклинать и просить станет он, шаман многоумный, чтобы дети родились у Кириска и все выжили, чтобы род Великой Рыбы-женщины умножался и потомки к потомкам прибавлялись:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево — зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево — нас породило у моря,
Твое жаркое чрево — лучшее место на свете.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твои белые груди как нерпичьи головы,
Твои белые груди вскормили нас у моря.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
Чтобы чрево твое расцветало,
Чтобы род твой на земле умножался...

Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действие. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам

шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать.

Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать. И отец, Эм-райин, во всеуслышанье назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец. В море нет отцов и сыновей, в море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться. Сын не станет жаловаться отцу. Так положено.

И еще, пожалуй, Музлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется очень. Теперь они стали меньше играть. А отныне и вовсе: охотнику не до игр...

Лодка шла справа, слегка припрыгивая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегого пса, минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. По таким устойчивым волнам можно плыть ходко.

Хорошо, споровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой и на боковой волне, легко повинаясь рулю.

Посасывая все ту же уже угасшую трубку, старик Орган испытывал удовольствие от прочного хода лодки и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был лодкой, идущей по студеному морю вполборта осадки на воде; будто то сам он плыл по раздолью морскому, под ровный скрип уключин и мерные взмахи весел; будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью, упругость встречных волн, слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил; тополь свалили сообща, одному да и четверым такое не под силу, а работал сам — три лета сушил и рубил и уже тогда знал: выйдет лучший каяк среди всех сработанных им на своем веку. Но, думая об этом, огорчался невольно: а что, если это последний в его жизни? Еще бы пожить. Еще походить бы за добычей по морю, еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил.

И, думая так, он разговаривал мысленно с лодкой.

«Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк, — говорил он лодке. — Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех, соструганных мною. Ты большой каяк — два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжело от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. Вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя, брат мой каяк!

Если я умру, ходи долго, ходи далеко по богатым добычей местам. Если я умру, плавай по морю с молодыми и сильными охотниками. Если я умру, служи им, как служишь мне. И дождись, брат мой каяк, чтобы и этот отпрыск наш, что вон сидит на носу, головой крутит, едва терпит, — была бы не вода, а твердь, побежал бы он сейчас на большую охоту, сам один управляться с делами, так ему кажется, — дождись, брат мой каяк, чтобы и этот подрос, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впервые в море. Так надо. Пусть привыкает. Мы уйдем, а ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмрайина, значит, будет толковый человек. Не пустобрех какой-нибудь. Эмрайин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних. Крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким. В самой силе. Женщины меня любили тогда. А я-то думал — век пескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмрайин и Мылгун наверняка еще не думают. Ну да ладно. Узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мылгун под стать Эмрайину. Надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди — грести и грести! Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до Третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подмечать буду то одного, то другого, однако тяжелее это дело — переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей, праздник устроим.

Ты слышишь, ты понимаешь меня, брат мой каяк? Ты доставишь нас на острова, к Трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окот, нерпа в стада собирается на островах.

Ты меня понимаешь, брат мой каяк? Ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не

знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем.

А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю...»

Так думал Орган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки Пегого пса по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все ходившие в плавание, — в ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы Пеггий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как ни оглянешься, Пеггий пес все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то кругизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушел Пеггий пес домой, значит, земля осталась далеко позади...

И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стороне остался Пеггий пес, надо запомнить направление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду, и следовать в море, все время, до самых островов, держа в уме месторасположение Пегого пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве.

Они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода. То были необитаемые, крохотные скальные островки — три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались Три сосца — Малый, Средний, Большой. А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было, имя которого они не знали, — Великая, нехоженная, неведомая Вода вечности, возникающая сама из себя, пребывающая от сотворения мира, еще от тех времен, когда утка Лувр с криком послалась в поисках маленького местечка для гнезда — кусочка тверди величиной с ладонь — и не находила его в целом свете. Вот там, на тех островах, на границе моря и океана, в эти весенние дни располагались перничьи лежбища. За тем и шли, за тем и путь держали в ту сторону...

Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах Пегого пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катациях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до са-

мого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира.

Открытое море ошеломило Кирика. Такого зрелища он не ожидал. Только вода — зыбучая, тяжелая вода, только волны — скоротечно возникающие и немедленно умирающие, только глубина — темная, тревожная глубина и только небо в кочующих белых облаках, легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир — и ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого моря, — ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага.

Вода застилала свет из края в край.

А лодка плыла, все так же приныривая по волнам. Все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты. Но, однако, все, что он видел и замечал вокруг — в воде и над водой, — в этот раз он воспринимал мимолетно, по-праздничному вполвнимания, поскольку душа его торопилась, всецело занятая ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекала бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом; и очень обрадовался бы он тем странным, любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, и посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком и вместо того, чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе.

Всего этого он не удостоил особого внимания — пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного — скорей бы добраться до островов! Скорей бы за дело!

Но вскоре настроение мальчика как-то странно, само по себе изменилось, хотя он и не подавал вида. По мере того как удалялись они от земли, особенно после того, как Пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря — свою бесконечную малость и бесконечную незащищенность пред лицом великой стихии.

Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему Пегий пес, о котором он прежде никогда не вспоминал, беззаботно и безбоязно резвясь на его склонах, любясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был Пегий пес, несокрушимый и всемогущий на своем месте.

Теперь он понял разницу между сушей и морем. На земле не думаешь о земле. А находясь в море, неоступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, пастойчивое, властное...

А взрослые, однако, были спокойны. Эмрайин и Мылгун все так же гребли, взмах за взмахом, как один человек, в ровном, слаженном темпе: четыре весла разом соприкасались с водой, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Киrisk не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и управлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну: «Ну, как, мол?..»

Так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Орган, тот и вовсе был невозмутим. Все так же посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два Киrisk брался грести — то в паре с Мылгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одно из весел. Пусть, мол, поработает. И хотя он ворочал весло обеими руками, надолго его не хватало: слишком тяжелая была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел, всё больше работали молча.

А когда Пегий пес вдруг скрылся из виду, все разом оживились почему-то.

— Пегий пес ушел домой! — объявил отец.

— Да, ушел! — подтвердил Мылгун.

— Разве? Ушел, стало быть. — Глянул в ту сторону и старик Орган. — Ну, коли так, значит, дело идет. Эй, Киrisk, — лукаво обратился он к мальчику, — а не покликать ли тебе Пегого пса, может, вернется?

Все засмеялись, и Киrisk засмеялся. Потом он подумал и громко сказал:

— Тогда надо поворачивать назад — вот он и вернется!

— Ишь ты какой скорый! — воскликнул Орган, усмехаясь. — Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне. Хватит глазеть. Море не пересмотришь.

Киrisk покинул свое место на носу, стал перебирать к корме, переступая вещи на дне лодки: пару винчестеров, завернутых в оленьи кожи, гарпун, моток вере-

ки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо гребцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одежды, который мать любит вдыхать, когда отец в море, — возьмет его старый кожух и прижмет к лицу.

Отец кивнул сыну, приподнул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Кириск, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего! В море все равны. В море нет ни отцов, ни сыновей. В море есть только старший. И без его ведома пальцем не пошевелишь...

— Садись, прилаживайся возле, — указал ему место Орган, притрагиваясь к плечу длинной, узловатой рукой. — Ты, никак, сробел малость, а? Сначала вроде ничего, а потом...

Кириск смутился: значит, старик Орган догадался. Но все же протестующе возразил:

— Да нет, аткыхч*, вовсе не сробел! Чего мне бояться.

— Ну как же, первый раз в море.

— Ну и что — первый раз?! — не сдавался Кириск. — Да я ничего не боюсь.

— Ну, дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепугался. Смотрю: берега давно не видно и Пегий пес убежал куда-то. А кругом только волны. Домой захотелось. Да вон спроси у них — у Эмрайина и Мылгуна, каково им было?

Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла.

— А я нет! — стоял на своем Кириск.

— Значит, молодец, коли так! — успокоил его старик. — А теперь скажи мне, в какой стороне остался Пегий пес?

Кириск призадумался от неожиданности и потом указал рукой:

— Вон там!

— Ты уверен? Что-то рука у тебя дрожит.

Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее:

— Вон там!

* А т к ы ч х — дед, дедушка.

— Вот теперь точно! — согласился Орган. — А если как повернется носом в эту сторону, тогда где будет Пегий пес?

— Вон там!

— А если ветер развернет нас в ту сторону?

— Вон там!

— А если налево поплывем?

— Вон там!

— Хорошо, а теперь скажи мне, как ты определяешь, — ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода? — допытывался Орган. — Можешь объяснить?

— А у меня еще есть глаза, — ответил Кириск.

— Какие глаза?

— Не знаю, какие. Они у меня в животе, наверно, и они видят не видя.

— В животе! — Все рассмеялись.

— И то верно, — отозвался Орган. — Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове.

— А у меня в животе, — отстаивал свое Кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове.

Спустя некоторое время старик снова принялся испытывать Кириска и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен:

— Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе, — пробормотал он.

Польщенный похвалой, Кириск принялся сам задавать себе задачи и паходить ответы. Пока что, при относительно спокойном море, это не представляло больших трудностей. Верный и великий Пегий пес всякий раз безотказно отзывался — без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором Кириска именно там, в той стороне, где он оставался, возникал как бы воочию, всей своей громадой, с лохматыми лесами по кручам, с пятнами снега на «голове» и в «паху», с гремящим, неутомимым, вечным прибоем у подножия утеса. Представив себе Пегого пса, мальчик не мог не думать о других, окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопкок, а в той долине у опушки леса, на берегу речки стойбище — срубы, лабазы, собаки, куры, вешала для сушки рыбы, дымы, голоса и там мать и сестренка Псулк. Он живо представил их себе и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать втайне думает, конечно, о нем, и об отце, и обо всех них — охотниках в море. Да, вот сей-

час она наверняка думает о них. Думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не проведали ее страха. И еще кто думает о нем, так это, наверно, Музлук. Музлук, пожалуй, прибегала уже вроде бы поиграть с Псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее: «Ты о чем это болтаешь, разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами». Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кириску при этом даже жаль стало ее. Он хотел, чтобы Музлук думала о нем, но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него.

А лодка все так же плыла, слегка приныривая по волнам. И кругом блистало в мелком кипении волн все то же сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали в полудни, самое позднее к концу дня добраться до первого островка (то был близлежащий из Трех сосцов — Малый сосец) и при удаче начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго — Среднего сосца и там заночевать, благо у берега есть удобная затишь для лодки. А рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши нерпы, утром могут не мешкая лечь в обратный путь. Но как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня, не позднее высоты солнца в два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше.

Все это было предусмотрено стариком Органом, на все он имел свой расчет. Да и подручные его — Эмрайин и Мылгун — не первый раз шли к Трех сосцам. Сами отлично знают что к чему. Главное же — чтобы погода стояла и чтобы зверя вовремя обнаружить на лежбище. Это главное, а все остальное, как сумеешь справиться, тут уж каждый за себя в ответе.

Старик Орган ходил в плавание не только в силу необходимости, нуждой, ясное дело — без прокорма с моря не проживешь, но еще и потому, что море влекло его. Морские дали располагали старика к его заветным раздумьям. Были у него сокровенные мысли свои. В море ничто не мешало предаваться им, ибо всему тому, о чем поразмыслить некогда на суше, среди повседневных забот, в море наступал черед — здесь ничто не отвлекало Органа от его великих дум. Здесь он чувствовал себя сродни и Морю и Небу.

Он понимал, что перед лицом бесконечности просто-ра человек в лодке ничто. Но человек мыслит и тем вос-

ходит к величю Моря и Неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше, от него и дальше, а следующий еще дальше и так без конца... Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения.

Он понимал, что смерть неизбежна, что не так уж далек предел его жизни, понимал, что смерть всему конец, но при этом надеялся почему-то, что самое сокровенное и заветное в нем — его великие сны о Рыбе-женщине пребудут, останутся с ним и после смерти. Он не мог передать свои сны другому — сновидения непередаваемы, и потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно... Не должны. Великая Рыба-женщина бессмертна, стало быть, и сны о ней должны быть бессмертными.

Об этом он много и часто думал в плавании. Надолго умолкал, уходил в себя, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками. Глядя на море, обращаясь неизвестно к кому, он просил лишь об одном: оставить ему его сны о Великой Рыбе-женщине. Разве невозможно, чтобы сны уходили вместе с человеком в иной мир, чтобы они снились вечно, во веки веков? Не находя ответа, он мучительно размышлял, пытаясь убедить себя, что так оно и будет, что сны останутся при нем...

Когда-то очень и очень давно, в незапамятные времена, на побережье близ сопки Пегого пса жили три брата. Старший был скороход, легок на подъем, везде и повсюду попевал: женился он на дочери оленного человека, стал хозяином оленьих стад, откочевал в тундру, с тем и ушел. Младший был следопыт и меткий стрелок. Он тоже женился, взял себе девушку из лесных людей, ушел в тайгу, стал охотником в таежных местах. А средний брат был хромоногий от рождения, не повезло человеку, рано вставал, поздно ложился, да что толку — за оленями ему не угнаться, зверя в лесу не выследить. Никто в округе не отдал ему дочери своей в жены, братья покинули его, и остался он один у самого синего моря. Перебивался тем, что рыбу удил. Известное дело — сколько ее наудишь...

Однажды сидел он, горемычный брат хромоногий, в лодке своей, закинув леску в море, только вдруг почувствовал, как удилице сильно задрожало в руках. Обрадо-

вался — вот будет улов! Начал он выводить рыбину, все ближе и ближе к лодке подтягивать.

Смотрит — что за диво! А то рыба в образе женщины! По воде колотит, извивается, уйти хочет. А красоты невиданной — тело гладкое, серебром отливает, как речной галечник в лунную ночь, груди белые с темными сосцами торчком, точно бы то еловые шишечки, а глаза зеленые огнем искрятся. Поднял он Рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, тут она обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого братца кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было, и казалось ему — до небес вскидывалась лодка. Раскачалось море до неба, небеса раскачались до моря. А потом все утихло разом, как после бури. Тут Рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий братец, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликнулась, исчезла в морской глубине.

Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла Рыба-женщина и больше никогда не появлялась. А хромоногий брат с того дня затосковал, закручинился крепко. С того дня все дни и все ночи ходил он с плачем по берегу и все звал Рыбу-женщину, заклинал и просил ее хотя бы издали показаться.

По приливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

По отливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Лунной ночью шел и пел:

Это море — тоска моя,
Эти воды — слезы мои.

Темной ночью шел и пел:

А земля — голова моя одинокая!
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

По приливу шел и пел, по отливу шел и пел...

А тем временем зима миновала, следом весна миновала, и однажды в летнюю пору шкондылял по берегу горемычный брат хромоногий, по волнам прибоя по ко-

лено брел и все в море смотрел — не покажется ли вдруг Рыба-женщина, и все звал ее — не откликнется ли вдруг Рыба-женщина, только вдруг услышал он на отмели вроде бы детский плач. Вроде бы дитя малое плачет-надрывается. Побежал он туда и глазам не верит своим — младенец голышом сидит на отмели у самой воды, волна то накроет его, то уйдет, а он плачет да все приговаривает громко: «Кто мой отец? Где мой отец?» Еще больше диву дался хромоногий брат, и не знал он, бедняга, как тут быть. А младенец увидел его и говорит: «Это ты мой отец! Возьми меня к себе, я твой сын!»

Вот ведь какая история вышла! Взял человек сына своего, унес его к себе.

Быстро подрос мальчик. По морю стал ходить. Отважным и крепким добытчиком прослыл. Удачливым родился: сеть забросит — рыбы полно, стрелу выпустит — зверя морского насквозь прошьет. Слава пошла о нем далеко, за леса и горы. Тут и девушку со всем уважением выдали за него из лесного племени. Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей Рыбы-женщины.

И отсюда песня поется на праздниках:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево — зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево — нас породило у моря,
Твое жаркое чрево — лучшее место на свете.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Твои белые груди как нерпичьи головы,
Твои белые груди вскормили нас у моря.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
Чтобы чрево твое расцветало,
Чтобы род твой на земле умножался..

Этот сон наплывал исподволь, как неумолимо прибывающий прилив из глубин океана, погружающий на какое-то время прибрежные земли, травы, дюны в околдованную призрачность подводного сумрака.

Всякий раз этот сон оставлял ошеломляющее, долго не проходящее ощущение у Органа. Он верил в него настолько, что никому, ни одной душе на свете не рассказывал о своих свиданиях с Рыбой-женщиной, как не стал бы рассказывать кому бы то ни было о подобных случаях в обычной жизни.

Да, то был сон-спутник, часто навещающий старика, доставляя ему и отраду, и печаль, и неземные страдания духа. Удивительное свойство этого сновидения состояло

в том, что каждый раз оно поражало Органа нескончаемостью сути своей и многозначностью намеков, заключенных в невероятных превращениях и причудах сна. Размышляя об этом, пытаюсь разгадать тайную тайных — ту вечно неуловимую, непрестанно изменяющуюся связь сновидений с живой жизнью, которая вечно мучает человека своей загадочностью и неведомыми предзнаменованиями. Орган ловил себя на мысли, что при всем смятении духа он всегда жаждет возвращения этих снов, с неизбежной тоскою всегда жаждет свидания с ней, с Великой Рыбой-женщиной...

Он встречался с ней в море. Ожидая ее появления, выходил к берегу и в ожидании шел по пустынным прибрежным пескам, на которых не задерживались следы ног, но сохранялись черные, неподвижные тени от угасших лучей ушедшего солнца. Эти тени лежали подобно черному снегу, по которому он шел страдая, объятый пронзительной, нечеловеческой тоской. Боль любви, боль желаний и надежды переполняла его, а море оставалось пустынным и безучастным. Ни ветра, ни звуков, ни шороха не присутствовало в том напряженном безмолвном мире одиночества. А он ждал, неотрывно глядя на море, ждал чуда, ждал ее появления.

И тяжело становилось ему оттого, что бесшумные волны нагоняли вдоль его пути белую кипень бесшумного прибоя. Как огромные, мнущиеся хлопья снега, беззвучно витали над головой безголосые чайки. В этом оглохшем и онемевшем пространстве он не находил себе места, чувствуя, как ему делалось дурно, как по мере ожидания все больше, все острее и мучительней нарастала в нем неумная, неумолимая тоска по ней, и даже во сне он понимал, что ему будет плохо, что он погибнет в пустоте одиночества, если не увидит ее, если она не появится. И тогда он принимался кричать, звать ее. Но голоса своего не различал, ибо голос отсутствовал, как отсутствовали все звуки в этом странном сне. А море молчало. Лишь собственное тяжелое дыхание, невероятно громкое и прерывистое, и неумолчный бой собственного сердца, бешено отдающийся в висках, преследовали его. Они раздражали его. Он не знал, куда деваться, как избавиться от самого себя. Он ждал Рыбу-женщину как безумец, так страстно и дико, как ждет утопающий последней надежды на спасение. Он знал, что только она, Рыба-женщина, может дать ему счастье, знал и ждал из последних сил.

И когда, наконец, она стремительно выныривала на поверхность, когда она плыла к нему со взором, обращенным к нему, мелькая неясным ликом между волнами, немота мира сокрушалась, как обвал. Крича и ликуя, встречал он возвращение звуков: вновь пробудившийся рев прибоя, шум ветра и гомон чаек над головой. Крича и ликуя, он бросался к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстроплавающее, как кит, существо.

А она, Рыба-женщина, ждала его, ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой, и, вся трепеща, зависала в длинных бросках, ясно вырисовываясь в те мгновения живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами, очутившаяся вдруг в море.

Он подплывал к ней, и они уходили в океан.

Плыли рядом, бок о бок, легко соприкасаясь в стремительном, все убыстряющемся движении. Это и было то, ради чего он томился в муках тоски и немоты одиночества.

Теперь они были вместе. С непостижимой силой и скоростью мчались они в мерцающую даль ночного океана, излучающего необыкновенное, из глубины идущее сияние на зыбкой черте горизонта, они неслись туда, к неуловимому горизонту, прошивая телами вспененные гребни беспрестанно бегущих навстречу волн, они мчались по нескопцаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета — то вверх, то вниз, с гряды на гряде, от переката к перекату. А рядом с ними, сопровождая их, неотступно следовала скачущим зеркальным пятном вытянувшаяся в беге, поспешающая по волнам желтая луна. Только луна и только они — он и Рыба-женщина, только они царили в этом безбрежном океанском просторе, только они и океан! То была вершина их счастья, то было упоение свободой, то было торжеством их свидания...

Они мчались беспрерывно и мощно, во власти неодолимого желанья поскорее достигнуть некоего места на свете, предназначенного им, где они, одержимые страстью, соединятся, наконец, чтобы познать в одно молниеносное мгновение всю усладу и всю горечь начала и конца жизни...

Так они и плыли, стремглав, безудержно, в надежде скорого достижения желанной цели.

И чем быстрее они плыли, тем отчаяннее разгоралось в нем яростное нетерпение плоти. Он плыл без усталости, рвался вперед изо всех сил, как лосось, несущий к месту нереста всю свою жизненную энергию до единой, до последней, наисчерпывающей капли. Он плыл, готовый умереть от любви. А загадочная Рыба-женщина, увлекая его все дальше и дальше в глубь океана, продолжала лететь по волнам в туче брызг и сверкающей радуге, восхищая Органа жемчужной теплотой, стремительностью и гибкостью тела. Дыхание занималось от совершенства красоты ее, омываемой синевой и белизной захвряющих струй воды.

Они ни о чем не говорили, они лишь неотрывно смотрели друг на друга, пытаясь взглянуть в потоках воды и брызгах в смутные очертания лиц, и безостановочно мчались по океану в петерпеливом, всевозрастающем ожидании места и часа, предназначенных им судьбой...

Но они никогда не достигали того места, и тот час никогда не наступал...

В большинстве случаев сны его кончались ничем — внезапно все обрывалось, исчезало, как дым. И тогда он оставался в недоумении. По-настоящему огорчился и долго потом тосковал, испытывал чувство некой неудовлетворенности, незавершенности. Иной раз, спустя много времени, припоминал все изначала, задумывался всерьез — что бы все это значило и к чему это, ибо в душе он верил, что то, что ему снилось, было больше, чем сон. Ведь обычный сон если и вспомнишь, то вскоре забудешь навсегда. От такого зряшного дела голова бодела бы, мало ли чего не приснится. А Рыбу-женщину Орган никогда не забывал, думал, размышлял о ней как о чем-то таком, что действительно имело и имеет место в жизни. Поэтому, пожалуй, старик каждый раз искренне переживал, воспринимая свою встречу и неожиданную разлуку с Рыбой-женщиной во сне и как подлинное событие.

Но, бывало, сильнее всего терзался он духом, когда сон завершался тяжким финалом. В таких случаях сокрушался он с великим отчаяньем и прискорбием, не находя объяснения загадочному исходу сна.

Снилось ему, что вот-вот доплывают они до заветного места, что вот уже виден вдали какой-то берег. То был берег любви — к нему направлялись, поспешали они что есть мочи, охваченные пейстовым желанием поскорее

достигнуть этого берега, где они смогут отдаться друг другу. Вот уже близко совсем до берега, и вдруг с ходу врезались в песчаное дно мелководья, где воды ниже колена и где плавание конец. Орган спохватывался, оглядывался: Рыба-женщина бешено колотилась в мелкой воде, тщетно пытаясь вырваться из плена коварной отмели. Обливаясь холодным потом, Орган бросался к ней на помощь. Но проходила целая вечность, пока он, увязая в засасывающей, как болото, трясине дна, полз на коленях, волоча непослушные, обмякшие, чужие ноги. Рыба-женщина была совсем рядом, рукой дотянуться оставалось самую малость, но добираться до нее было мучительно, он задыхался, захлебывался, проваливаясь в илистом дне, запутываясь в липнувших водорослях. Но еще более мучительно было видеть, как трепыхалась, билась застрявшая на мели его прекрасная Рыба-женщина. И когда, наконец, он добирался и, шатаясь от головокружения, шел к берегу, прижимая ее к груди, он явственно слышал, как панически стучало готовое разорваться на части сердце Рыбы-женщины, точно то была схваченная в погоне птица-подренок. И от этого, от того, что он нес ее на руках, крепко прижимая к себе, от того, что до боли, всем существом своим проникался нежностью и жалостью к ней, как если бы он нес на руках беззащитное дитя, к горлу подкатывал тугой, горячий ком слез. Растроганный, стыдясь Рыбы-женщины, он сдерживал себя, чтобы не заплакать. Он нес ее, замирая сердцем, плавно передвигаясь, замирая и зависая на лету в воздухе, думая о ней на каждом шагу. А она, Рыба-женщина, умоляла его, в слезах заклинала, чтобы он отнес ее обратно в море, на волю. Она задыхалась, она умирала, она не могла любить его вне большого моря. Она плакала и молча смотрела на него такими просящими, пронзительными глазами, что он не выдерживал. Поворачивал назад, шел через отмель к морю, погружаясь все глубже и глубже в воду, и здесь осторожно выпускал ее из своих объятий.

Рыба-женщина уплывала в море, а он оставался оглушенный и одинокий. Глядя ей вслед, Орган просыпался в рыданиях...

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Это море — тоска моя,

Эти воды — слезы мои.

А земля — голова моя одинокая.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

Тяжко и невыносимо было ему вспомнить об этом, будто бы и в самом деле держал он Рыбу-женщину в руках и сам же отпустил ее на волю. Отчего так случилось? Разве невозможно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим, в чем смысл, какой тут сказ и к чему он? Теряясь в догадках, отмахивался Орган от таких мыслей, пытался забыть, не думать о Рыбе-женщине.

Но очутившись на промысле, сам не замечал, как начинал думать о ней и обо всем, что было с этим связано. В море он как бы заново переживал всю историю необыкновенного сновидения и, размышляя трезво, удивлялся, спрашивал себя: зачем он думает об этом, разве его стариковское дело тосковать о несуществующей Рыбе-женщине? Укорял себя и себе же признавался: не будь ее, сам бы себе был уже в тягость — вот постарел уже, и силы не те, и глаза не те, и краса ушла, и зубов не хватает. Все, чем славен был, все уходит, разрушается, и смерть не за горами, и лишь грудь не сдается, желания в груди живут по-прежнему, как в молодости, беда — не стареет душа. Потому-то и думы думаются такие, и сны видятся такие, — потому как только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но смерть не считается с этим, дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг и какие сны он видел, каким он был, насколько и на что ума у него хватало — все ей нипочем. Почему так? Зачем так устроено на свете? Пусть Рыба-женщина — сон, но пусть оставался бы этот сон навечно и там, в ином мире...

Так же, как он верил в Рыбу-женщину, верил Орган и в то, что море внемлет ему. Здесь ему и дышалось и думалось вольготно. Тут изливал он душу свою. Погруженный в свои мысли, порой он даже спрашивал себя: «А не здесь ли мы проплывали с ней?»

В такие минуты заново набивал трубку. Упивался табачным дымом: «И где она растет трава эдакая — вроде злая, а на душе легчает... В Маньчжурии, говорят купцы. Оттуда они ее привозят. Далеко она, эта Маньчжурия, ох, далеко, никогда никто из наших людей там не бывал... Неужто табак растет там, как трава в лесу? Вот чудеса, чего только не бывает на свете...»

Солнце уже перевалило за полдень. Несколько раз за это время оно скрывалось за облаками, набегавшими вдруг откуда-то из-за горизонта, точно бы там таилось гнездовье непогоды, — и тогда море моментально меркло, темнело ликом, сумрачно, неуютно становилось вокруг. То вновь выглядывало, светило из-за туч по-весеннему щедро и ясно, и тогда море играло мириадами живых, купающихся отблесков, сверкавших до боли в глазах, и опять становилось веселей на душе.

Кириск хотя и привык к морю и даже заскучал немного, но все еще не покидало его чувство удивления огромностью, неоглядностью морского простора. Сколько плывут — все конца-краю не видно. На земле, какая бы она ни была обширная, он никогда не удивлялся бы этому, как в море.

А взрослые ничуть ничему не удивлялись. Им было все привычно. Эмрайип и Мылгун продолжали гребсти все так же ровно, без замашистости зацепляя веслами верх воды. Они работали неумоимо, не позволили даже Органу подменить их для передышки, сказали, что лучше на обратном пути, когда с грузом будут, тогда поможет, а сейчас, мол, пусть правит себе. Старый Орган, кадыкастый и длинношей, сидел на корме ссутулившись, как орлан, выжидающий добычу. Больше молчал, думал о чем-то своем.

А лодка плыла, все так же слегка приныривая по волнам. И волна стояла все та же — умеренной силы. Ветер шел низовой, устойчивый.

Так они плыли...

— Аткычх! Аткычх! Вон остров! Малый сосец! — радостно воскликнул вдруг Кириск, дернув Органа за рукав.

— Где остров? — не поверил Орган, приставляя ладонь к глазам. И гребцы удивленно оглянулись туда, куда указывал мальчик.

— Не должно быть, — пробормотал старик, ибо мальчик показывал совсем в другую сторону, неожиданную для них сторону.

Мальчик не врал. Там, вдали, очень далеко, действительно неподвижно темнела в море застывшая неровная полоса грязно-бурого оттенка, точно то был выступ тверди среди воды. Орган долго всматривался.

— Нет, то не остров, — убежденно сказал он наконец. — Нам до Малого сосца еще плыть по прямой, па закат, туда, куда мы плывем. А это совсем в сто-

роне. И то не остров, — продолжал он. — Сдается мне, то не остров.

— Такого острова в этих водах никогда не было, никогда не видели мы такого острова, — сказал Мылгун. — Малый сосец будет слева, а это не знаю что такое.

— А не туман ли это или облако какое? — промолвил Эмрайин. — Или волна так бурунит, тогда почему она не движется?

— Вот то-то, что оно есть? Туман или облако, кто его знает. Далеко отсюда. Но то не остров, — рассуждал Орган. — Но если это туман такой, то радости мало.

— Ничего, лишь бы ветер не изменился, — приналегая на весла, высказал свое мнение Эмрайин. — Стоит оно на месте, не движется. А нам в той стороне делать нечего, пусть себе что есть, то есть...

Кириск вначале разочаровался было, что обнаруженное им оказалось чем-то неопределенным, но потом быстро забыл об этом.

А охотники не ошиблись. Островок Малый сосец вскоре завиднелся из воды по левую руку. Тут уж никаких сомнений не было. То оказался совсем небольшой, сплошь каменистый, бугристый выступ суши, и в самом деле напминавший сосок.

Завидев остров, все оживились, особенно Кириск, — значит, не бесконечно море. И тут началось самое интересное в плавании.

— Ну вот, — Орган потрепал башлык на голове мальчишки. — Пегий пес довел нас до острова, хотя сам остался дома. Ведь побегу он следом за нами, утонул бы?

— Еще бы! — подтвердил Кириск, улавливая смысл игры.

— А Пегий пес затем нам и нужен, чтобы оставался дом стеречь, а мы, помня его, добрались бы, не сбываясь с пути, к месту охоты. Как ты думаешь, нужен будет нам еще Пегий пес или нет?

— Нет, не нужен, — опять же совершенно уверенно отвечал Кириск. — Теперь мы сами видим, куда плыть.

— А ты подумал бы, а! — укорил Орган. — А то ведь ты такой шустрый, ты бы подумал.

Кириск не сообразил, зачем еще нужен будет этот Пегий пес в море у далекого острова.

— А зачем тут наш Пегий пес?

— А домой возвращаться как будешь? Куда поплывешь, в какую сторону? Ну-ка, подумай? Догадался? За-

помни, с какой стороны подплываем, какой стороной остров смотрит на Пегого пса — тогда будешь знать, куда путь держать, когда возвращаться.

Кириск молча согласился, но все же самолюбие его было уязвлено, и, возможно, поэтому он спросил несколько запальчиво:

— А если будет темно, а? Если ночью окажемся в море и ничего не видно, а? Так как?! А! Тогда как узнать, где Пегий пес, в какой стороне? А!

— Ну что ж, и тогда можно узнать, — спокойно отвечал ему на это Орган. — Для этого есть звезды на небе. Звезды не подведут, всегда точно укажут. Только бы сам знал, где какая звезда. Дай срок, научишься еще. Ты созвездие утки Лувр знаешь?

— Знаю, кажется, — неуверенно произнес Кириск, глянув на отца. Эмрайин понял затруднение сына:

— Знает чуть-чуть, я ему как-то показывал. Но этого мало. Надо еще поучиться...

Так они плыли, постепенно приближаясь к острову. А когда стали различимы отдельные камни и скалы на берегу, пошли обходом вокруг острова, пристально вглядываясь в прибрежные места с тем, чтобы обнаружить лежбище нерпы. Кириск смотрел очень усердно, ему хотелось первому увидеть стадо. Но его предупредили — если заметит зверей, не производить лишнего шума. Орган сказал, что нерпы лежат где-то среди прибрежных камней у воды — они выползают на сушу погреться на солнце. Надо заметить, где они расположились, а затем, высадившись скрытно на берег, подкрасться к ним незаметно, чтобы не испугнуть. Но Кириск так ничего и не разглядел. Берега были пустынные и унылые. Сплошной дикий камень, разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время перехлестнуть через завалы обледенелых камней. Нет, ничего не углядел на островке Кириск. Только камни на камнях и никаких живых тварей.

Зато Мылгун первым заметил. И пока Кириск крутил головой, пытаясь различить, где именно затаились нерпы, лодка отплыла подалее от того места, чтобы не оказаться увиденной с лежбища.

А старый Орган понял, что Кириск ничего не разглядел.

— Ну, ты видел? — спросил он у него.

Мальчик не посмел соврать.

— Нет, не увидел, — признался он.

— Подплывем еще раз, — велел Орган. — Учись различать среди камней. А иначе ты не сможешь стать охотником.

Гребцы повиновались, подвели лодку на прежнее место, хотя это было рискованно. Стоило одной нерпе поднять тревогу, как все стадо немедленно кинулось бы в море. Но, к счастью, звери не замечали охотников. Они лежали за каменной грядой, среди корявых, беспорядочно разбросанных камней почти у самой воды.

— Вон видишь острый камень, как обломанный клык, и неподалеку красноватый такой, обледенелый бугорок — смотри между ними, — сказал Кириску Мылгун.

Кириск вглядывался. Мылгун и Эмрайин тем временем, нагребая веслами, старались устойчиво держать лодку на месте. И тут Кириск увидел спины морских зверей — мощные хвостатые тулова. Сероватые, пятнистые, лоснящиеся спины были неподвижны. Издали для неопытного глаза они были неразличимы между камнями.

И с этой минуты мальчика охватило волнение. Начинается: вот они, настоящие морские звери! Вот она, большая охота!

Когда они затем высаживались на берег, он был возбужден, он был переполнен отвагой и восхищением. Отвагой, ибо он чувствовал себя в этот момент сильным и значительным. И восхищением — он видел, как здорово и слаженно действовали охотники: как они подвели лодку к берегу, как Эмрайин и старик Орган держали на веслах лодку у прибоя, а Мылгун изловчился, выпрыгнул на край галечника, как затем он подтянул лодку за брошенный конец, перекинув его через плечо, и как, подхватив винчестеры, выпрыгнул на берег отец. За ним, не без помощи старика Органа, выпрыгнул и он сам, хотя и намочил при этом ноги в прибрежной волне и выслушал негромкий выговор отца.

В лодке оставался Орган, чтобы держать ее на волне у берега, а они втроем — Эмрайин, Мылгун и Кириск — поспешили к лежбищу. Шли берегом, инстинктивно пригибаясь, быстрыми перебежками от укрытия к укрытию. Кириск не отставал и только чувствовал, как бешено колотится сердце в груди и как временами кружится голова от возносящего чувства гордости и волнения.

Если бы только люди Рыбы-женщины могли видеть его сейчас, быстро идущего с большими охотниками на

морского зверя! Если бы видела его сейчас мать, как она гордилась бы им, будущим великим добытчиком и кормильцем рода! Если бы видела его сейчас Музлук, с которой он часто играл, а теперь никогда не будет играть, ибо отныне имя его — охотник, и если бы она видела, как он сейчас вдали от родного Пегого пса пробирается незнакомым бушующим берегом, среди диких скал и камней, к лежбищу нерпы. И не беда, что винчестеры находились у Мылгуна и Эмрайина: отец обещал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять.

Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле, и Киrisk пополз. По жестким камням и щербатому льду ползти было тяжело, неловко, но Киrisk понимал, что это необходимо.

Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам. И замерли, затихли, когда оставалось приладиться и стрелять.

На всю жизнь запомнил Киrisk этот час, этот весенний день, этот холодный каменный островок среди бесконечно огромного моря и на нем — эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некоей безумной силой, эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще не оттаявшую ото льда, жесткую и безжизненную, а рядом с собой отца и Мылгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди, в ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами, — небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем — слегка мгlistое, застывшее небо, как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела.

«Только бы попасть!» — думал он, придвигаясь плечом к прикладу винчестера, переданного ему отцом.

В то короткое долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным, отважным охотником, его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лошину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна, и где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом,

твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше и чуть правее — в самое сердце крупного, пятнистого лахтака. А лахтак, будто предчувствуя что-то доброе, вдруг насторожился, хотя он не видел охотников и учуять их не мог — ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону — для лучшего прицела, что-то мешало впереди, какая-то тень, — надо было пододвинуться очень осторожно, и тут камень из-под локтя Кириска резко сдвинулся и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый лахтак издал короткий лающий звук — стадо встрепелось и с ревом быстро поползло, покатилось к воде. Но в ту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада — то Мылгун спасал положение. Кирииск растерялся.

— Стреляй! — приказал ему Эмрайин.

В плечо сильно садануло, выстрел ударил в уши, и все потонуло в глухоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал и что по его вине охота срывалась. Но отец совал ему патрон:

— Заряжай, стреляй быстрее!

То, что казалось не таким уж трудным делом — зарядить и выстрелить (сколько раз он это проделывал за просто, когда учился стрелять), теперь не получалось. Затвор винчестера не сразу поддался. Мылгун тем временем дал с колена еще два выстрела вдогонку кинувшимся в воду нерпам. Одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда. Стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, нерпе удалось добраться до воды, и она, увлекая за собой кроваво-кочающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту, от затылка до самого кончика хвоста. Мылгун опустил вскинутый винчестер — добивать нерпу теперь не было смысла.

— Оставь, все равно утонет, — проговорил Эмрайин.

А Кирииск стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник!

И замолчал мальчишка, все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько.

— Ничего, у тебя еще будет удача, — успокоил его

потом Мылгун, когда они принялись потрошить убитую нерпу. — Вот сейчас поплывем на Средний сосец, там зверья побольше водится.

— Да я просто поспешил, — начал было Кириск, но отец прервал его:

— Не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь, добыча от тебя никуда не уйдет.

Кириск промолчал, но в душе был благодарен, что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово — не спешить на охоте и не думать ни о чем другом, стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, «переселятся в прицел». Вот тогда посылать пулю!

Нерпа оказалась большой, тяжеловесной, совсем еще теплой, как живая. Мылгун удовлетворенно потирал руки, освеживывая тушу с брюшной части: «Жира-то, видишь, на четыре пальца. Хороша!» Забыв уже о своем огорчении, Кириск с увлечением помогал ему. А Эмрайн тем временем пошел к старику Органу причалить поблизости лодку.

Вскоре он вернулся, озабоченно торопливый.

— Время не ждет, давайте быстрее! — И, поглядев на небо, добавил, ни к кому не обращаясь: — Не нравится мне погода...

Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Кириск шел следом, нес ружья, оба вишчестера.

На берегу, возле лодки, их ждал Орган. Старик был обрадован.

— Пусть Курнг * услышит, как мы довольны! Для начала и это неплохо! — приговаривал он, готовя свой охотничий пох для трапезы. Предстояло самое главное после охоты — поедание на месте сырой нерпичьей печенки. Орган присел над располосованной тушей, нарезал печень дольками. Слегка присыпав солью, охотники глотали нежные куски печени, причмокивая от удовольствия. Печень была очень вкусна — нежная, теплая, сытная. Во рту она таяла, обволакивая язык жирным соком. Сбылась мечта Кириска — как настоящий мужчина, ел сырую печень на охоте!

— Глотай, глотай побольше! — советовал Орган мальчику. — Ночь будет холодной, промерзнешь. А пе-

* Курнг — высшее божество.

чень — самый лучший согрев. И от всех болезней первое средство.

Да, здорово это было. Наелись отменно, и сразу пить захотелось. Но вода была в бочонке, в лодке.

— Разделявать тушу сейчас не стоит, — сказал Эмраин, когда все насытились, и опять беспокойно посмотрел на небо.

— Успеется, — согласился Орган. — Чай согреем на ночь, когда устроимся на Среднем сосце, — добавил он. — А пока обойдемся. Будем грузиться.

Перед самым отплытием охотники не забыли покормить землю. Мелко нарезанное сердце нерпы разбросали с приговором для хозяина острова, чтобы тот не отказывал им в удаче в следующий раз. С тем они снова вышли в море.

Малый сосец оставался позади. Одинокий сиротливый островок среди хмурой воды вызывал чувство жалости и неприкаянности. Путь держали к Среднему. День уже клонился к вечеру. Гребцы приналегали на весла, торопились засветло попасть к Среднему сосцу, где предстояло зачалить лодку в укрытие и заночевать. Малый сосец вскоре исчез из вида, как бы опустился в море, но Средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода.

Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось. Волна стала плотней. Тверже. Масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче. Но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало? Что-то непонятное и неожиданное в это время года! Невесть откуда летящая муть в воздухе покрывала небо белесой текучей завесой, как марью, гонимой верховым ветром от далеких лесных пожаров, бушующих где-то в черных делях. И хотя дымка эта всего лишь затягивала небо и ничем никому не мешала, охотники хмурились.

— Откуда ее прет? — бормотал Орган, недовольно оглядываясь вокруг.

Теперь они плыли в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот покажется впереди земля — Средний сосец, самый удобный и надежный из Трех сосцов.

Тем временем небо даже прояснилось, и даже солнце вновь проглянуло с края моря, а может быть, с самого края света — настолько далеко и неправдоподобно это

было. На солнце можно было запросто смотреть, не отворачиваясь. Четко очерченное и налившееся багровостью, солнце уже угасало, смутно рдея, в той далекой багроводымной стороне. Приоткрылось небо, и снова свет и покойствие воцарились в мире. И этого оказалось достаточно — сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали приют и отдых на острове.

— Потерпи еще немного, и Средний сосец подыметя впереди, — сказал Орган сидящему возле Кириску, ободряя его похлопыванием по спине.

Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался, по детской наивности своей неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот накануне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез, нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда, когда будут все пить.

В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал доброту старика Органа.

— Аткичх! Пить хочется очень! — сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца.

— Во-он как! — понимающе усмехнулся Орган. — После такой печенки-то немудрено! Ясное дело! Да ведь мы все пить хотим, а?

Эмрайин и Мылгун одобрительно закивали в ответ со своих мест. И это обрадовало Кириסקа — значит, все пить хотят, не только он один.

— Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим! — С этими словами старик Орган заклинил рулевое весло, поднял со дна лодки бочонок с водой, поставил его сподручней и стал нацеживать воду через желобок в луженный изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая — в роднике набирали, как раз на обратном от моря склоне Пегого пса. Там самая любимая вода, всегда чистая, вкусная. Летом травами наполоскавшимися пахнет и сырой землей.

Ковшик держал под стружкой Кириск. Очень хотелось побыстрее напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик Орган прикрыл струю затычкой.

— Ну, пей! — предложил он Кириску. — А потом напоишь и других. Не расплескивай, — предупредил он.

Кириск пил вначале жадно, а под конец помедленней

и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом.

— Напился? — спросил Орган.

— Да.

— По глазам вижу — не совсем. Ну так и быть уж. Еще малость дам. Печенка — штука сильная, были бы на земле, пей хоть целое ведро, — приговаривал старик, нацеживая Кириску на дно ковша.

И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях: ох, мол, на душе отлегло!

Потом по три четверти ковша налили гребцам. Кириск сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта, он ничего не имел против, чтобы отец и Мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейшина Орган, однако, счел нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша:

— Ты еще мал телом, а они вон какие! И работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется.

Эти двое и в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих гребцов:

— Вы, братцы, не очень-то. Не на берегу реки сидите!

Эмрайин и Мылгун в ответ только заулыбались. Понимаем, мол, но ничего не могли поделать — пить хотелось.

Но и сам Орган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой:

— Да-а, неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила — печень сырая...

Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады...

Первым увидел беду Кириск!..

Перед этим была удивительная минута покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми.

Первая нерпа была добыта, вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на морского зверя. И сразу после охоты возвращение домой, без промедления. Все было в порядке.

Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам. Старик Орган правил на корме, посасывая свою трубку, и, быть может, думал о своей Рыбе-женщине. Эмрайин и Мылгун знай себе гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий, легко, точно, красиво. Кириск невольно залюбовался охотниками. По какому-то мальчишечьему наитию в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что находился в этот час вместе с ними в плавании.

Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик Орган, должно быть, всегда, во все времена был стариком Органом, вот таким кадыкастым, длинношеим, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезящимися, всепонимающими глазами. А разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека? Странно, разве могло быть так?

Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца и что, когда он вырастет, будет вылитый Эмрайин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие и точно такие — два передних немного выпирают вперед. И борода, говорит она, будет у него, как у отца, черная, сильная и густая. Недаром же отца зовут Бородатым Эмрайином. А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою под бок: смотри, смотри, ну в точности, как сам. И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорила, что, если Кириску, когда он вырастет, попадется жена такая же, как она сама, та будет не в обиде — ей будет хорошо, это она знает. Странно, думалось ему, кому и как это будет хорошо? И почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца?

Вот он сидит впереди, нагребает. Чернобородый, белозубый. А сам плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером. Не помнил Кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие. А глаза и в самом деле, как зрелые желуди — чистые, налитые блеском.

За ним, у второй пары весел, сидит его двоюродный брат Мылгун, младше отца на года два. Даром что брат — бороды у него почти нет. А что есть, так топорщится, как у моржа усы. И сам он похож на моржа. Этот и поговорить и поспорить любит, если что не так. Обиды

никому не спустит — подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться да задабривать кушца. А Мылгун ни в какую; несмотря что короткий ростом и круглый, как пень, рвется; я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный. До этого дела он охочий. Несколько человек, и Эмрайин в том числе, хотели его скрутить, так туго пришлось. Силен оказался, как медведь. Кириску он аки-Мылгун *. С отцом они дружны, всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга и оба одинаково надежные охотники. У Мылгуна сын еще совсем маленький — только-только бегать стал и две девочки постарше. Кириск их никому в обиду не дает, пусть попробует кто-нибудь тронет. А мать Кириска души не чаёт в девчужках Мылгуна, часто прибегают они поиграть к Псулк.

Но красивее всех среди всех девочек Музлук! Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону — замуж соседним людям. Вдруг бы взять и не отдать...

Там, на побережье, редко когда думал Кириск о таких вещах, а теперь, на отдалении, все обычное обрело для него ранее неведомый трогательный смысл.

Ему вдруг очень сильно захотелось домой, туда, где за сопкой Пегого пса, в долине реки, у опушки леса, расположилось старинное становище прибрежных нивхов — людей Рыбы-женщины. Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного Пегого пса, вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся даже, как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное.

По морю, застилая почти полгоризонта, двумя широкими, смыкающимися языками надвигалась на них серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался, как живое существо, как чудовище, имеющее непременно целью захватить, поглотить их вместе с лодкой, вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Кириск видел нечто неопределенное, какую-то застывшую среди моря серую массу. Теперь вся эта мас-

* Аки — употребляется по отношению к старшему родственнику.

са, набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром, к ним.

— Смотрите! Смотрите! — испуганно вскричал Кирик.

Все оторопели. Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплесала на волнах. И в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла пакатом, со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиваясь, вырастая и разрушаясь одновременно.

— Разворачивай! — отчаянно закричал Орган. — Разворачивай носом!

Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут уже подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой злоеющей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся, живая тьма.

— Запомните ветер! Запоминайте ветер! — успел прокричать Орган. И сразу все потонуло в беспросветной мгле. Туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу, в мгновение ока, они попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя — море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное — бороться наугад, вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться.

Кирик и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду, случалось, исчезали навсегда, тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах Пегого пса в безнадежной

надежде: а вдруг! Но и тогда даже приблизительно не мог предполагать он, насколько это страшно и дико — погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появление которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепenea в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разыгравшимся морем, напоминали змеиное движение...

Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно жался в страхе к ноге старика Органа.

— Ты держись за меня! Крепко держись! — прокричал ему на ухо Орган, и больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика.

И никто из них не мог облегчить его участи, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмраинн не сдвинулся бы с места, ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Мылгун отчаянно балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн.

Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, по чем дальше, тем больше усиливался шторм.

Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они могли лишь догадываться по сгустившейся крошечной тьме. И в этой тьме уже много времени шла эта непрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки пивхи пока держались, все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль, болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги. Но тьма окружала все та же — плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган:

- Это я! Кириск со мной! Вы слышите меня?
— Слышим! Мы на местах! — прохрипел Эмрайн.
— Кто запомнил ветер? — прокричал Орган.
— А что толку? — со злостью выкрикнул Мылгун.

Старик замолчал. В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему. Куда занесло их, где они, далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром, угадать было трудно. А возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои Сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий Орган замолчал в тяжком раздумье. Единственное, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд среди ночи и тумана никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилён что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал:

— Ветер был Тланги-ла *, когда мы развернулись носом!

Ему никто ничего не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал. Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда Орган предупредил гребцов:

— Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!

Он склонился к Кириску, ощущал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим:

— Кириск, ты не бойся. Давай вычерпывать воду. Иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты на вот, возьми ковшик, все же лучше... Ты держишь? Возьми ковш, говорю...

— Да, аткыч, я держу. А долго так будет? Мне страшно.

— Мне тоже страшно, — проговорил старейшина Орган. — Но мы мужчины, и нам положено такое.

— А мы не утонем, аткыч?

— Не утонем. А если утонем, значит, так должно быть. А теперь давай, держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду.

Хорошо, что Орган вовремя спохватился, и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. И именно тогда, когда они, действуя

* Тланги-ла — юго-восточный морской ветер, сильный и холодный.

ощупью, вычерпывали воду, Орган обратил внимание Кирииска на небольшой бочонок, из которого они днем шли.

— Кирииск, — сказал он ему, беря его за руку. — Вот бочонок наш с водой. Нащупал? Запомни, что бы то ни случилось, береги бочонок. Держись за него, вцепись, но не разлутайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него. Ты понял меня? Ни на кого не надейся... Слышишь?

Хорошо, что он сказал об этом, хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодилось.

Немного поослабнув, шторм снова принялся раскачиваться. В этот раз с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспомощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление. И закрутился, завертелся органический каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемый их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как ни метался Орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегавшую воду было невысказано. И тогда закричали гребцы зло и отчаянно:

— Выбрасывай все! То-о-нем. Выбрасывай!

Кирииск громко заплакал от страха, но его никто не слышал, и никому не стало дела до него. Мальчик заблудился в углу у кормы, крепко держа бочонок под собой. Он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, как бы то и что бы то ни случилось. Он понимал, они тонут, но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной Органом, — сохранял бочонок с водой.

Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать. Мылгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась, а Орган и Эмрайин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи и даже жестяной чайник Органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, осклизлая туша не поддавалась. Ее надо было поднять со дна лодки и перевалить за борт. То,

ради чего они шли в плавание на необитаемые острова — добычу, — предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательства и проклятия, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и наконец спрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем было ощутимо, как облегченно качнулась лодка, освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение...

Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, где он и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. То был туман.

То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое опеченение...

Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эмраини и Мылгун валялись на своих местах возле весел. Вусмерть истерзанные, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, точно бы они были сражены наповал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись у его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Орган пожалел его, но ничем не мог помочь.

Оглушенный пережитой ночью, он сидел на корме, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но такого жестокого случая не знал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час. В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день. Возможно, вторая половина дня.

Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, Органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до ружей, выменянных у заезжих купцов за сотни со-

болей, они оставались теперь в лодке с двумя парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди?

Конечно, как только гребцы придут в себя, они вместе обдумают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дождаться ночи и если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуются сил и времени? Дотянут ли, выдержат ли?

А туман, что за туман? Так густо и неподвижно лежит он над морем. Точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так, неужто весь мир погрузился в такой туман?..

Хотелось курить и пить. О куреве, однако, не приходилось беспокоиться — тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода? А пицца? Орган побоялся думать об этом. Пока еще можно терпеть и пока еще можно было не думать...

На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте. Никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять Эмрайина и Мылгуна — они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борту: свалились в мертвецком сне.

При полном безветрии все замерло во мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла, спешить было некуда... плыть было некуда...

Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск.

— Аткичх, аткичх! — толкал его мальчик. — Мы хотим пить.

Орган встрепенулся и понял, что трое соплеменников ждут от него действий, ибо он старейшина, и понял, что начинается самое страшное — распределение воды...

Туман стоял все так же густо и неподвижно. Море находилось в полном затишье.

Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане. Бесцельно и неизвестно куда.

После того как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно.

И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а возможно, напротив, удаляясь от нее.

Но все-таки в этом имелась какая-то иллюзия движения.

Вся надежда была на то, что туман рассеется и тогда станет ясней, что к чему.

Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. Перво-наперво необходимо было ухватиться за звезды.

И еще была надежда, что натолкнутся на какой-нибудь остров. А там будет легче сориентироваться.

Так они и плыли пока в никуда — все время в туман.

Но и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки воды со дна, чтобы под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрей. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по не полному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз досыта. Но Орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он пайдет пужным, и лишь столько, сколько он нальет. И при этом для пущей убедительности покачал воду в бочонке — он был уже наполовину пуст.

Была и нечаянная радость: когда приступали разливать воду, за бочонком, в самом углу кормы, под сиденьем, обнаружили кожаную, из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами, а этот мешочек, собранный в дорогу женой Мылгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды, и юкола невозможно было взять в рот: настолько она пропиталась солью, и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось в досталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы.

Но пока что юколу никто не ел, опасаясь жажды...

Все ждали одного: когда исчезнет туман...

В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключины весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившего человека: где я, где я? Куда мне, куда мне податься теперь?

Все ждали одного: когда исчезнет туман...

Но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет — и Землю, и Небо, и Море...

Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху.

Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла.

Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе. Ждали с часу на час. Ждали появления ветра, который угнал бы этот ненавистный, трижды проклятый туман. Не спали. Обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод, вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем — гривастый и косматый зверь.

Но все тщетно. Никто не слышал их обращений, и туман не развеивался.

Кириск тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно, как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванью, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяло в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям.

Только бы побыстрее это совершилось, быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к Пегому псу, быстрее, быстрее, быстрее потому, что очень хотелось пить и есть, невыносимо хочется пить и есть, и чем дальше, тем острее хочется пить и есть, очень хочется домой, к матери, к сородственникам, к жилищам, к дымам, к ручьям и травам...

Всю ночь бедствующие томились в ожидании, но ничто не изменилось — туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться во мгле.

И всю ночь очень хотелось пить, было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить. Кириск мог полагать, что только он так тяжело хотел воды, но и другие

так же страдали от неутоленной жажды. Но ему хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех.

А старейшина Орган не дал воды, когда Кириск все же попросил немного.

— Нет, — твердо сказал он, — сейчас не будем. Терпи.

Если бы знал он, старик Орган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем, с отцом и Мылгуном, — все же не утерпели к концу дня — начали грызть от голода. И хотя залили юколу водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильнее. А старик Орган не притронулся к юколе, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду — утром и вечером, за исключением Органа. Вечером совсем немного, всего лишь на доннышке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше.

Когда хотелось пить, пить и пить, ожидание перемен вдвойне становилось пыткой.

Так длилось всю ночь... И всю ночь недвижно лежал стылый туман. И море не шелухнулось...

И наутро никаких перемен. Лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза. И на несколько сажен вокруг лодки тускло серебрилась тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Кириск никогда не видел.

И никакого ветерка, и никаких перемен.

Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых. Осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталось — борода. Губы искусаны до черноты. И на Кириска смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Орган. Ссутулился старик, еще белее стал, и кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего. И только во взгляде осталось то, чем был Орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему.

День начали с самого тяжкого — с того, что распределили между собой по несколько глотков воды. Орган

сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал Кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри и как от волнения зашумело в голове. Но, пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде, и даже больше, точно бы там, внутри, раздражили зверя. Потом пил Мылгун. Потом Эмрайин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо Органа. Будто бы то он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам Орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он готов был сейчас налить себе полный ковш, потом еще и еще и пить, пить, пока не упал бы. А потом будь что будет. Лишь бы один раз досыта напиться. А старик Орган отказывал себе даже в том, что полагалось ему. Отказывался от воды на доньшке.

— Зачем так, аткычх. Наливай, как всем! — не вытерпел наконец Эмрайин, хрипя, пересиливая себя. — И вчера не пил. Погибать, так вместе погибать!

— Я обойдусь! — невозмутимо ответил Орган.

— Нет, это неправильно! — повысил голос Эмрайин и добавил с раздражением: — Тогда и я не буду пить!

— Пить-то тут нечего. О чем разговор! — Орган усмехнулся, мол, какие вы неразумные, тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и нацедив воды на доньшко, сказал: — Пусть Кириск выпьет за меня.

Мальчик растерялся, и все замолчали. А Орган протягивал ему ковш:

— На, Кириск, пей. Не думай ни о чем.

Кириск молчал.

— Пей, — сказал ему Мылгун.

— Пей, — сказал ему Эмрайин.

— Пей, — сказал старик Орган.

Кириск колебался. Умирая от жажды, хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел.

— Нет, — сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание, — нет, аткычх, сам пей, — и почувствовал, как закружилась голова.

Рука Органа дрогнула от этих слов, он тяжело вздохнул. Взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика.

— Я ведь на веку своем, знаешь, ой как много выпил воды. А тебе надо еще долго жить, чтобы... — И он не договорил. — Ты понял меня, Киrisk? Пей, так надо, ты должен выпить, а за меня не беспокойся. На!

И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился, опал жар внутри, и снова, вслед за облегчением, тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды. Но это не имело значения. Лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая. А ее оставалось все меньше и меньше...

— Ну, как быть, что будем делать? — проговорил Орган, обращаясь тем временем к соплеменникам. — Будем плыть?

Наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг. Но, кроме непроницаемого тумана в двух сажнях от лодки, в мире ничего не существовало.

— Куда плыть? — со вздохом нарушил молчание Эмрайин.

— Что значит — куда? — неожиданно вспыхнул почему-то Мылгун. — Будем плыть, лучше плыть, чем подыхать на месте!

— Ну а какая разница — что мы пьем, что не пьем? — урезонил его Эмрайин. — При таком тумане плыть в никуда, какая разница?

— А мне плывать на туман! — с еще большим вызовом возразил Мылгун. — Мне плывать на твой туман! Ясно? Будем плыть, а нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдём кормить рыб! Ты понял меня, Эмрайин Бородатый, будем плыть! Ты понял?..

Киriskу стало не по себе. Ему стало стыдно за аки-Мылгуна. Тот поступал не так, как следовало, все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось, что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя теперь представляли, эти четверо нивхов в лодке. Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мылгун. Эмрайин опустил голову. А старик Орган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой.

— Успокойся, Мылгун, — промолвил наконец Эмрайин.

ин. — Ведь я так, к слову сказал, конечно, лучше плыть, чем стоять на месте. Ты прав. Давай, поплыли.

И они двинулись. Снова заскрипели уключины, снова со всплеском поднимались и опускались весла, беззвучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая бесследная вода. Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман, получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверно, и вывело опять Мылгуна из себя.

— А мне плевать на твой туман, ты слышишь, Бородатый Эмрайин! — заговорил он, раздражаясь. — И я хочу, чтобы мы плыли быстрее! Пошевеливайся, Борода, гребь, не спи, ты слышишь! Мне плевать на твой туман!

И при этом Мылгун стал резко палегать на весла.

— А ну, нагребай! Нагребай! — требовал он.

Эмрайин не стал озлоблять его, но, задетый им, тоже включился в эту безумную игру.

Лодка набирала все большую и большую скорость. Она напропалую неслась рывками сквозь туман, неизвестно, куда и неизвестно зачем. А Мылгун и Эмрайин, не уступая друг другу, продолжали зверски грести, в каком-то диком, остервенелом, яростном ожесточении, точно они могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов.

Мелькали лопасти весел, взвевая косо летящие брызги, шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом, ощеренные лица гребцов, то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то с силой разгибающихся, упираясь веслами в воду...

То вдох, то выдох, то вдох, то выдох... Вдох, выдох, вдох, выдох...

Туман — впереди, туман — позади, туман — кругом.

— Хана, хана *! — как бы выхаркивая, зло подзадоривал, выкрикивал Мылгун.

Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину Органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку. Но тот как бы отсутствовал — задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне, на лице застыло отрешенное выражение. И то ли старик плакал, то ли привычно слезились гла-

* Х а н а — давай, а ну-ка!

за — лицо его было мокрое. Он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит.

Лодка же шла, гонимая напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем...

— Хана, хана! — отчаянно разносилось в тумане. — Хана, хана!

Так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы.

Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили, все осталось по-прежнему: мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе...

Зачем это было делать? К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего.

Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда Орган сказал:

— Послушайте теперь меня. — Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно, сберегая тем свои силы — ведь он уже не пил, не ел второй день: — Может стать, — рассуждал он, — туман продержится еще много дней. Бывают такие годы. Случаи такие бывают. Сами знаете. Семь, восемь, а то и десять дней лежит туман над морем, как мор над краем, как болезнь, которая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок, об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Ююлы осталось совсем малость, да и к чему она, когда нет воды. А вода наша, вот она! — И он поболтал содержимое бочонка. Вода свободно плескалась где-то на ладонь-полторы лишь выше дна.

Все молчали. И старик замолчал. Ясно было всем, о чем он хотел сказать: пить воду только раз в день, на самом донышке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся, превозмочь, переждать напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце — тогда видно станет, а вдруг и повезет — дотянут до земли.

Да, так оно получалось. И иного выхода не могло быть! Но легко сказать — перетерпеть, и то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить, немедленно и не на донышке, а много, очень много хотелось воды.

Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами, темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей изнутри. В слезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок — нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения.

— Думал я о том, — продолжал он, — что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху — не пролетит ли вдруг сова агукук *. Агукук — единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет агукук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге. Никуда не сворачивая, только прямо. И агукук тоже.

— А если мы не находимся между островом и землей? — мрачно спросил Мылгун, все так же не поднимая головы.

— И тогда не видать нам ее, — опять же спокойно ответил Орган.

Кирик хотел уточнить, а зачем, мол, агукук станет летать над морем, по какой нужде такой, но Мылгун опередил его.

— А если агукук забудет летать над нами, а, аткых, — мрачно насмеялся Мылгун, — а вздумает пролететь стороной, вон там, где-нибудь, тогда как?

— И тогда не видать нам ее, — опять же спокойно ответил Орган.

— Значит, не видать? — удивляясь, озлобляясь Мылгун. — Стало быть, и так и эдак, но агукук нам не видать? Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь? — озлобляясь все больше, бормотал Мылгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе. Все молчали, не зная, как быть.

Мылгун тем временем что-то надумал. Выбил ударом ладони из-под низу весло из уключины, затем взобрался зачем-то на нос лодки и стал там во весь рост, балан-

* Агукук — полярная сова.

сируя веслом. Никто ничего не сказал ему. И он ни на кого не обращал внимания.

— Э-эй ты, сука! — закричал он во гневе. — Э-эй ты, Шаман ветров! — угрожая веслом, кричал он что есть мочи в туманную мглу. — Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука, или обложили тебя кобели со всего света, и не знаешь, которому подставить или склещаешься со всеми подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять, или забыл ты, что мы здесь, в тумане гиблом, как в яме, сидим? Или не знаешь ты, что с нами малый, как же так?! Он хочет пить, он хочет воды! Воды, понимаешь?! Я же тебе говорю, с нами малый, он первый раз в море! А ты так с нами поступил?! Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не тюлень дерьмо вонючее! Посылай свои ветры! Слышишь? Убирай туманы себе под хвост. Ты слышишь меня? Посылай бурю, собака, самую страшную бурю — Тланги-ла посылай, сука, опрокидывай нас в море, пусть волны погребут нас, сука паршивая! Ты слышишь? Ты слышишь меня?! Плевать мне, плюю и мочусь я в твою морду косматую! Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море, а нет — ты сука последняя, а я кобель, еще один кобель, только я тебя не стану, на-ка, вот, на тебе, на, на, выкуси, выкуси!

Вот так, последними словами поносил Мылгун Шамана ветров, неведомо где существующего и неведомо где укрывающего подвластные ему ветры. Долго еще, до хрипоты, до изнеможения кричал и выходил из себя Мылгун, издеваясь, оскорбляя и одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров.

Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое гребное место, громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей, а Кириск, никогда не видевший мужчину в плаче, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу:

— Аتكыч! Аتكыч! Зачем он так, зачем он плачет?

— Не бойся, — успокаивал старик, сжимая руку мальчика. — Это пройдет! Скоро он перестанет. А ты не думай об этом. Это тебя не касается. Это пройдет.

И вправду, Мылгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. Эмрайин медленно подводил лодку к пла-

вающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место, в уключину.

— Успокойся, Мылгун, — сочувственно говорил ему Эмрайин. — Ты прав, лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну подождем еще, а вдруг да откроется море. Что ж делать...

Мылгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел согнувшись, как помешанный, боящийся взглянуть перед собой.

А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как ни донимал, как ни бранил, ни поносил Мылгун Шамана ветров, тот остался ко всему тому и глух и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю...

Эмрайин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте, лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли, быть может, опять и, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей Рыбе-женщине.

От невеселых стариковских размышлений отвлек его Кириск.

— Аткычх, аткычх, а зачем агукук летает на острова? — тихо спросил он.

— А я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только агукук может летать над морем. Агукук летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичьих схватывает. У агукук глаза такие — и в тумане и темной ночью видит, как днем. На то она сова. Самая большая и самая сильная сова.

— Вот бы и мне такие глаза, — прошептал сухими губами Кириск. — Я бы сейчас разглядел бы, в какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить много и долго... Вот бы и мне такие глаза...

— Эх, — вздохнул Орган. — Каждому даны свои глаза.

Они замолчали. И спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику:

— Тебе очень тяжело? Ты потерпи. Если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде, думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде.

Кириск послушно старался не думать о воде. Но ни-

чего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильнее хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось. И от этого хотелось орать, как Мылгун, на весь мир.

Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению. Но на море царил тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время, непрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно: находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды.

К вечеру Мылгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло. Но, глядя на Кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Орган не удержался, налил и ему на доннышке, а потом и Эмрайну. А сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатком воды под скамью, он долго сидел неподвижно, по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоти. Он сидел на корме молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому, собираясь с духом, сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни. Очень не хватало трубки в такой час. Закурить, подымить хотелось старику напоследок, думая думу о ней — о своей Рыбе-женщине...

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Он знал себя, знал, на сколько хватит еще сил и достоинства на пороге Предела. Единственное, что пока воздерживало его от задуманного, — Кириск, так привязавшийся за эти дни и все время льнувший под бок в поисках защиты и тепла. Мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это...

Так завершался тот долгий, безрадостный, последний день старейшины Органа.

Уже вечерело. Еще одна ночь наступала.

Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась

глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. Но если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды! Однако ночь ничего не предвещала, не заметно было никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе — все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной безвестности и обреченности...

Кириск не помнил точно, когда он уснул. Но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его жаживо мукам. Нужна была только вода! Только вода — и ничего другого! Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая, ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой. И ничем нельзя было унять ее.

Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжело заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, все прикладывала мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакала украдкой и что-то пришептывала. В полутьме, при свете жировника, в зыбком, мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери, отца не было — он находился в море — а Кириску хотелось, чтоб дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но ни то, ни другое желание его не исполнялось. Отец был далеко, а пить мать ему не давала. Она сказала, что пить ему нельзя ни в коем случае. Она смачивала тряпичей его спехшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить и становилось невыносимо.

Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть и тогда болезнь отойдет.

— Потерпи, родной! — говорила она. — И к утру тебе станет лучше. Ты повторяй про себя: «Синяя мышка, дай воды». Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды... Только ты хорошенько попроси...

В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай

воды!» Потом он бредил, метался в жару. И все просил: «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго, а он все шептал, звал ее, плакал и просил: «Синяя мышка, дай воды!» И наконец она прибежала. Синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно, она оказалась вся голубая, воздушная и порхала, как бабочка. Мышка прикасалась, порхая, мягкой шерсткой к лицу, к шее, к телу и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой...

Утром он проснулся со светлым, легким ощущением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабевший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибежавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его...

Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, стораая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка! И с пронзительной тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-понпельницу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, когда ему дышалось так тяжело и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо, с какой тревогой, с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела она на него и с мольбою и с затаенным страхом. Что теперь с ней, как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря... А море ничего не скажет. И никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверно, палят еще костры на кручах Пегого пса и тем еще обнадеживают ее, а вдруг да и грянет счастье — вдруг да и объявятся у берегов пропавшие в море.

А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном, аспидно-черном пространстве, медленно утрачивая во мгле ночного тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы — мрак вечности, существующий еще до появления Солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье... Без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана...

Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той си-

ней мышке-поительнице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив...

«Синяя мышка, дай воды!» Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чуда не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды.

Синяя мышка, дай воды!

Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору Органа и Эмрайина. Они о чем-то тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор, с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливей разбирал слова Органа, приткнувшись у него под боком, — старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клочкотание в горле, а отца слышал хуже — тот находился подальше, на своих веслах.

— Не мне тебя учить, но подумай, аткычх, — горячо шептал Эмрайин, точно бы кто-то мог их услышать здесь. — Ты же умный человек.

— Думал, крепко думал, так будет лучше, — отвечал Орган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении.

Они ненадолго умолкли, и потом Эмрайин произнес:

— Мы все в одной лодке — всем нам должна выйти одна судьба.

— Судьба, судьба, — с горечью пробормотал старик. — От судьбы не уйдешь, известно, — говорил он с хриплым придыханием в голосе, — но на то она судьба — хочешь покорись, хочешь нет. Раз нам конец — кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?!

Эмрайин что-то ответил невнятное, и они замолчали.

Кириск пытался уснуть и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать... Но сон не шел.

Синяя мышка, дай воды!

— Ну, как там Мылгун? — спросил Орган.

— Да все так же — лежит, — ответил ему Эмрайин.

— Лежит, говоришь. — И, повременив, старик промолвил, напоминая: — Придет в себя — передай ему.

— Хорошо, аткычх. — Голос Эмрайина при этом дрогнул, он с усилием прокашлялся. — Все передам, как было сказано.

— Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник. И человек недурной. Я всегда уважал его.

Опять они замолчали.

Синяя мышка, дай воды!

Эмрайин потом что-то сказал, Кириск не совсем слышал его слова, а Орган ответил тому:

— Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подышает в стороне от глаз. Я сам. Я был великим человеком! Это я знаю. Мне всегда снилась Рыба-женщина. Тебе этого не понять... Я хочу туда...

Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку-поительницу:

Синяя мышка, дай воды!

Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к Органу, сказал:

— Помнишь, аткычх, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот, Рыжий большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди...

— Значит, он очень великий человек, самый великий из всех великих, — ответил на то Орган. — А у нас самая великая — Рыба-женщина.

Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания:

— Подожди. Подумай немного...

— Пора. Я свое пожил... Не удерживай. Сил нет, не выпесу...

— Такая тьма...

— А какая разница...

— У меня еще не все слова кончились к тебе...

— Слова не кончаются. Не кончатся и после нас.

— Такая тьма...

— Не удерживай. Не вынесу, силы уходят. А я хочу сам...

— Такая тьма...

— Вы еще подержитесь, там еще есть темного воды...

Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь, ощупью притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчика. Он понял спросонья: то была рука Органа. Теплая, увесистая рука некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить и запомнить ее, голову Кириска...

Снилось Кириску, что он шел пешком по морю. Шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды. Шагал, не проваливаясь, не утопая. Дивное и странное было видение вокруг. Чистое, сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды, ничего на свете не существовало. Только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под солнцем, отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили.

Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмрайина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался. Ни души, ни звука, ни тени... Он не знал, куда они исчезли. И от этого ему стало страшно. Докричаться не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, истрачивая силы, но никуда не приближался, оставался на месте, пить хотелось все сильнее и нестерпимей. И тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда. Но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка Лувр жалобно ступала и металась.

— Утка Лувр! — обратился к ней Кириск. — Где земля, в какой стороне, мне хочется пить!

— Земли еще нет на свете, нигде нет! — отвечала утка Лувр. — Кругом только волны.

— А где остальные? — спросил мальчик об исчезнувших людях.

— Их нет, не ищи их, их нигде нет, — отвечала утка Лувр.

Не передаваемое словами жуткое чувство одиночества

и тоски охватило Кириска. Ему хотелось бежать отсюда куда глаза глядят, но бежать было некуда, только вода и волны обступали со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдаль, превращаясь в черную точку.

— Утка Лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня! Я хочу пить! — взмолился мальчик.

Но она не отзывалась и вскоре скрылась над морем, в поисках не существующей еще земли. А солнце слепило глаза.

Он проснулся в слезах, все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха. Медленно открыл заплакавшие глаза, понял, что видел сон. Лодка слегка покачивалась на воде. Сереющая туманная мгла нависала и обступала со всех сторон. Значит, ночь минула, приближалось утро. Он шевельнулся.

— Аткычх, я хочу пить, я видел сон, — пробормотал он, протягивая руку к старику Органу. Рука его никого не обнаружила. Место Органа на корме было пусто.

— Аткычх! — позвал Кириск. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся:

— Аткычх, аткычх, где ты?

— Не кричи! — разом придвинулся к нему Эмраини. Он обнял сына, крепко прижал его к груди. — Не кричи, аткычха нет! Не зови его! Он ушел к Рыбеженщине.

Но Кириск не слушался:

— Где мой аткычх? Где? Где мой аткычх?

— Да послушай же! Не плачь! Успокойся, Кириск, его уже нет, — пытался уговорить отец. — Ты только не плачь. Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь...

Кириск не унимался, отчаянно вырываясь из рук отца. От резких движений лодка закачалась. Эмраини не знал, как быть.

— Вот мы сейчас поплывем! Смотри, мы сейчас поплывем! Эй, Мылгун, поднимись, поднимись, говорю! Поплыли!

Мылгун стал нагребать. Лодка тихо заскользила по воде. И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в сплошном, молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившем весь белый свет.

Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке.

Синяя мышка, дай воды!

Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмрайин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика Органа, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Мылгун тоже были подавлены и ничем и никак не могли помочь ни себе, ни ему, Кириску. Только и пашились — взяться за весла. Плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане. И над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда — жажда и голод.

Они молчали, ни о чем не говорили. Боялись говорить. Лишь через некоторое время Мылгун бросил весла.

— Дели воду! — мрачно сказал он Эмрайину.

Эмрайин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по несколько глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и той оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре — не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого.

И опять наступило тягостное, оупляющее ожидание: изменится погода или нет? Уже никто не высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабшие и изнуренные, они невольно впадали в безразличие — смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это — примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю. Лишь раз, крепко выругавшись, Мылгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе:

— Пусть бы исчез туман, и я готов умереть! Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света!

Эмрайин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старейшину. Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть!

Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь.

И с каждым часом возрастала угроза их жизни — к неутихающей жажде прибавлялся жестокий, разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел.

Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова отяжелела, кружилась, дышать было трудно — то и дело схватывались спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть как хотелось пить.

Синяя мышка, дай воды!

Заклиная и призывая синюю мышку-поительницу, мальчик пытался теперь забыться, теперь он искал спасение в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия Пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной.

«Синяя мышка, дай воды!» — шептали его губы, и оттого, что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого бугра, наподобие бревен. О, это была забавная, отличная игра! Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты ошкуренное бревно, пущенное вниз по склопу. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет — не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия, а небо накрывается то одним, то другим краем, облака кружатся и мельтешат в глазах, кружатся и валятся деревья, все летит вверх тормашками, а солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и визг ребят! Катись, катись вниз, перевертываясь все быстрее и быстрее, и в это время до того чудно мелькают то вытянутые лица, то искривленные ноги скачущих следом ребят, и наконец остановка. Ух! Только шум в ушах! И тут самый ответственный момент. До счета — раз, два, три — надо успеть вскочить на ноги и не упасть от головокружения. Обычно все с первой попытки падают. Вот смеху-то! Все смеются, и сам смеешься! Хочешь устоять, а земля плывет под ногами. А Кириск не падал. Удерживался на ногах. Старался. Музлук ведь была всегда рядом. Не хотелось при ней валиться с пог, как какому-то слабаку.

Но самое лучшее и самое смешное было, когда они вместе с Музлук наперегонки катились с бугра. Девочки тоже могут скатываться. Только они трусихи и, бывает, косицами зацепятся за что-нибудь. Но это не в счет. Без синяков не обходится в таком веселом деле.

А когда они вместе с Музлук скатывались, то Кириск

нарочно растопыривал незаметно локти, тормозил, чтобы не обгонять ее. Они одновременно докатывались вниз под крики и хохот окружающих, одновременно вскакивали до счета «три» на ноги, и никто не догадывался, какое наслаждение было удерживать Музлук, помогать ей устоять на земле. Они невольно обнимались, вроде бы поддерживая друг друга. Музлук так весело смеялась, губы ее были такие заразительные, и все время она делала так, чтобы Кириск удерживал ее, она все время изображала, что падает, а он должен был помогать ей устоять на ногах, подхватывая, обнимая ее. И никто не догадывался, какие минуты неведомого счастья и пугающей любви переживали они при этом. Под тонким платищем билось дикое сердце девочки, то и дело соприкасались их тела, и Кириск улавливал, как под руку попадались крохотные, еще только возникающие, тугие грудки и как вздрагивала и быстро льнула она при этом к нему, какие загадочные, сияющие были глаза ее, опьяненные от головокружения. И весь мир — все, что имелось на земле и в небе, — плыл, кружился вместе с ними, купаясь в их несмолкающем смехе и счастье. Никто не догадывался, какое это было удивительное счастье!

И лишь однажды один соплеменник чуть постарше Кириска, ненавистный и презренный, догадался — стал валиться, как дурак, на Музлук — вроде не в силах устоять от головокружения на месте. Музлук отстранялась, убегала от него, а он делал вид, что падает от кружения, догонял ее и валялся на нее. Кириск подрался с ним. Тот был побольше его и несколько раз сбивал его с ног. И все-таки выходила ничья — Кириск не сдавался и не позволил Музлук вступаться за него. Но это случилось лишь однажды...

И еще были отрадные мгновения, когда, награвшись, потные и разгоряченные, они бежали пить воду из ручья.

Синяя мышка, дай воды!
Ах, синяя мышка, дай воды!

Ручей протекал неподалеку. Из лесу шел он и выходил на то место, где они играли. Вода в нем журчала по камням, сохраняя в беге лесной сумрак и лесную прохладу. Травы, теснясь вокруг, обступали ручей вплотную, до самой проточной воды. Те, что росли с самого края, полоскались в ручье, сопротивляясь вытянутыми стеблями напору радостного течения. И бежал себе ру-

чей бесшабашно в сторону моря, то юрко поблескивая на солнце, то ныряя под крутой, нависающий берег, то скрываясь в зарослях трав и лозняка.

Они разом добежали до ручья и разом припадали к воде, раздвигая травы по сторонам. Некогда там мыть руки и черпать воду пригоршнями, пили по-оленьи, свесив головы к воде, окуная лица в булькающий, ласково щекочущий поток. Эх, какое это было наслаждение!

Синяя мышка, дай воды!
Синяя мышка, дай воды!
Ах, синяя мышка, дай воды!..

Они лежали у ручья, опустив головы к воде. Их плечи соприкасались вплотную, и руки, опущенные в быструю струю, сливались, точно бы у них была общая пара рук. Они пили, лоя воду губами, с передышками, с упованием насыщаясь и дурачась, булькающими в воде. Им не хотелось уходить отсюда, им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстротекущие, неуловимые отражения, улыбались им, смешно искаженным отражениям, и улыбались друг другу.

Синяя мышка, дай воды!
Синяя мышка, дай воды!
Синяя мышка, дай воды!
Ах, синяя мышка, дай воды!..

А Музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его плечом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое: набирал воды еще побольше и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как могли и сколько могли, и, мокрые с головы до ног, с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью...

Синяя мышка, дай воды!

Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее, все чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и

тихо корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке:

Синяя мышка, дай воды!

Так он лежал, пытаясь забыться в грезах. И ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все так же неподвижно нависала над ними. Они бессильно валялись в лодке каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца:

— Мылгун! Мылгун! Что ты делаешь? Перестань!

Кириск поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее.

— Перестань! — кинулся к нему Эмраин, собираясь вырвать ковш.

Но Мылгун угрожающе изготовился:

— Не приближайся, Борода! Убью!

Эту горько-соленую воду, которую немислимо было взять в рот, он пил, обливая одежду, вода лилась на грудь и рукава, пил, давясь, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось.

Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Кириск от страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмраин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог.

Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову:

— Горит, внутри все горит! — И стал раздирать одежду на груди.

— Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь? Там еще есть, — кивнул Эмраин на бочонок. — Налить немного?

— Нет, — отказался Мылгун. — Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи и потом, как наш покойный аткыч, но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь не то. Выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец... Я сам, я еще в силах...

Среди пустынного моря, в тумане, которому не было

ни конца, ни края, ни погибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмраин пытался как-то успокоить друга и брата своего Мылгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать, он торопился, он решил пресечь свои муки одним ударом.

— Ты не говори мне, Эмраин, ничего, уже поздно! — бормотал Мылгун как безумный. — Я сам. Я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается. Вы отец с сыном, вы оставайтесь, еще есть немного воды... А я сейчас перепахну. — И с этими словами Мылгун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрав в себе силы, Мылгун сказал Эмраину, глядя исподлобья:

— Ты мне не мешай, Борода! Так надо. Ты мне не мешай. Прощайте. Может быть, дотянете. А я сейчас... А ты сразу гони прочь... Сразу и не жди... Если приблизишься, опрокину. А теперь гребь, Борода, гребь сильнее. Слышишь, опрокину...

Эмраину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Мылгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кирикс жалобно заплакал:

— Аки-Мылгун! Аки-Мылгун! Не надо!

И именно в эту минуту Мылгун решительно перевернулся за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выправилась.

— Прочь! Прочь уплывайте! — закричал Мылгун, бабахтаясь в ледяной воде.

Туман сразу скрыл его с глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос, последний выкрик утопающего! И тут Эмраин не выдержал:

— Мылгун! Мылгун! — откликнулся он и, рыдая, развернул лодку назад.

Они быстро вернулись, но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло. И уже трудно было определить то место, где затонул человек.

Весь остаток дня кружили они здесь, никуда не уплывая. Опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кирикс, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого.

— Вот теперь мы одни, — бормотал Эмраин, утирая слезы с бороды, и никак не мог унять се-

бя. — Мылгун, верный мой Мылгун! — шептал он, всхли-
пывая...

А день уже клонился к концу. Так оно казалось. Если существовало где-то солнце, если оно ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже закатывалось спокойно на свое место. А здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое — отец и сын.

Перед этим, перед тем, как сказать себе, что приближается вечер, Эмраин наконец решил, что пора им испытать воды. Он видел, как тяжело дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде. Но постепенно жажда брала свое и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений.

С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала Кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю воды как одержимый. Затем Эмраин налил для себя, обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось собственно на дне. Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца. Эмраин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмраин не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный грянувшей вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило.

— На, поддержи, — передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было равносильно пытке — держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмраин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место.

— Выпей, — предложил он сыну.

— А ты? — удивился Кириск.

— А я потом. Ты не думай ничего, выпей, — спокойно сказал отец.

И Кириск снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение.

— Ну как? — спросил отец.

— Немножко лучше, — благодарно прошептал мальчик.

— Ты не бойся. И запомни, даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть два-три дня. И что бы то ни было, ничего не бойся...

— Потому ты не выпил? — перебил его Кириск.

Эмраин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом. И, подумав, сказал коротко:

— Да.

— А без еды сколько? Мы уже не едим давно.

— Лишь бы вода была. Но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить.

Эмраин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предстояло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору, при одной мысли о котором тягостно холодело внутри. Не только сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же, как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало.

Кириск молчал и не оглядывался, невпопад проворачивая тяжелые весла. Но не это терзало Эмраина. Глядя на сына со спины, на эту согбенную и, как теперь он заметил, все еще по-детски щуплую, незащитную фигуру, он кусал себе губы, и сердце его, он это явственно ощутил, обливалось кровью — горячим, пульсирующим потоком боли. Но начать разговор он не смел, хотя и не было иного выхода...

Постепенно видимость в недрах тумана снижалась, а Эмраин все плыл в тяжком раздумье, и времени у него оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы ни был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к тому, что он обдумывал в тот час, надо было сделать это, пока сам был в состоянии держаться и проявлять волю.

Он понимал, что и ему предстоит вслед за Органом и Мылгуном покинуть лодку, что это единственная воз-

возможность если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына настолько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следующим днем, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впереди, если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись. На это ответа не существовало. Единственная надежда, маловероятная, а то и вовсе песбыточная, в которой он пытался уверить самого себя, состояла в том, что, если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей. По слухам, он знал, что белые люди иной раз появлялись в этих водах — проплывали океаном, вдалеке от их берегов, плыли по каким-то своим делам, из каких-то далеких стран в какие-то другие далекие страны. Сам он никогда не встречался с ними, но рассказывали об этом купцы, которые все на свете знают, а иные из них сами якобы плавали на этих огромных, как горы, лодках белых людей. Только такое чудо, если разгуляется погода, если совпадут пути, если заметят белые люди маленький каяк-долбленку в океане, только это могло быть надеждой, слабой, невероятной, почти невозможной, но все-таки какой-то надеждой.

Об этом и собирался поведать Эмрайин сыну перед тем, как покинуть его. Необходимо было еще убедить Кириска, строго-настрога наказать ему, чтобы он оставался в лодке до самого последнего дыхания, пока сознание будет при нем. И если суждено ему умереть, когда кончится вода, то умереть он должен в лодке, а не выбрасываться в море, как вынуждены были поступить старик Орган, Мылгун и как поступит он, его отец. Никакого иного выхода не было. Требовалось повиноваться, примириться с жестокостью судьбы... Однако при мысли, что одиннадцатилетний мальчик останется в лодке один на один со всем светом, в беспроглядном тумане, в безбрежном море, медленно умирая от жажды и голода, Эмрайина охватывала оторопь. С этим пезвозможно было примириться, то было выше всяких сил. И тогда он ловил себя на мысли, что не сможет оставить сына одного, лучше умереть вместе с ним...

Вскоре стало совсем темно. Опять воцарилась в море черная чернота туманной ночи. Если бессмысленно плыть куда-либо днем по туману, то тем более бессмысленно это ночью. Лодка тихо покачивалась на месте. И опять ни-

каких признаков того, что погода изменится. Море лежало бездыханное.

Отец с сыном примостились на ночь на дне лодки, тесно прижавшись друг к другу. Не спали ни тот, ни другой. Каждый думал, мучимый жаждой и голодом, что ожидает их впереди...

Лежа рядом с отцом, Кириск остро ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за эти дни, как уменьшился телом и обессилел. Только и осталась борода — по-прежнему жесткая и упругая. Прижимаясь к отцу, тихо сглатывая слезы от жалости к нему, мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства изначальной сыновней привязанности. Он не смог бы выразить эти чувства словами — они таились в душе, в крови, в сердцебиении его. Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец — это он сам, это его начало, а он продолжение отца. И потому ему было больно и жалко отца, как самого себя. Он воистину заклинал синюю мышку, чтобы она принесла им воды — и ему и отцу:

Синяя мышка, дай нам воды!

Синяя мышка, дай нам воды!

Отец же о воде для себя уже не думал, хотя с каждым часом все тяжелей переносил страдания неутоленной, все возрастающей, уже физически невыносимой жажды. Внутри все горело, пересыхало и сжималось железной, необратимой спазмой. В голове поднимался гул. Теперь он понимал последние муки Мылгуна. И, однако, не о том была его дума. Думать о воде, желать напиться досыта теперь для него уже не имело смысла. И уже давно бы прервал он эти безысходные мучения, если бы не сын, если бы он мог принудить себя оставить сына, примостившегося у него под боком этой темной последней почью. Ради сына, пусть не имеющего никаких надежд на спасение и все-таки и вопреки этому оберегаемого им до последней возможности, ради того, чтобы сколько-нибудь продлить ему жизнь, и в том теперь заключалась безотчетная борьба и надежда отца, в том теперь он видел свою последнюю волю и деяние, ради всего этого он должен был поскорее покинуть лодку. Но именно из-за него, из-за сына, он не мог на то решиться, не смея бросить его на произвол судьбы. Но и медлить, тянуть даль-

ше тоже становилось опасно — уходили последние силы, необходимые, чтобы собраться с духом...

Время жить у отца истекало...

Как, какими словами было объяснить это сыну? Как сказать ему, что он оставит его ради него?..

Время жить у отца истекало...

— Отец! — прошептал вдруг Кириск, будто бы отгадывая его мысли, и еще крепче прижался к отцу, заклиная свою синюю мышку:

Синяя мышка, дай нам воды!
Синяя мышка, дай нам воды!

Эмрайин, стискивая зубы, застонал от горя и не посмел ничего сказать. Мысленно он прощался с сыном, и, чем дольше прощался, чем труднее, тем мучительнее было подняться на последний шаг. Этой ночью он понял, что, оказывается, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном. Эмрайин совершал для себя открытие — всю жизнь он был тем, кто он есть, чтобы до последнего вздоха продлить себя в сыне. И если он не думал об этом раньше, то лишь потому, что не было на то причин.

И тут он вспомнил, что были и прежде случаи, когда мысль эта проскальзывала в сознании, как молния по небу. Он вспомнил и понял теперь то, что произошло с ним однажды, когда они с покойным Мылгуном и другими соплеменниками рубили великое дерево в лесу. Дерево стало валиться, а он по чистой случайности оказался в тот момент на той стороне, куда заваливалось, сокрушая все вокруг, это поверженное дерево-гигант. Все закричали в голос:

— Берегись!

Эмрайин оцепенел от неожиданности, и было уже поздно: треща, гроыхая рвущейся кроной, обрушивая и опрокидывая само небо, вырывая кусок зеленого лесного потолка вверху, дерево медленно и неумолимо падало на него. И он подумал в то мгновение лишь об одном, что Кириск — тогда он был малышом и единственным ребенком, Псулк еще не родилась, — он подумал тогда, в те считанные секунды, на пороге неминуемой смерти, подумал только об этом, и ни о чем другом он не успел подумать, что сын — это то, что будет им после него. Де-

рево рухнуло рядом с грозным гулом, обдав его волной листьев и пыли. И тут все облегченно вскричали. Жив остался, жив и невредим Эмраин!

Теперь, вспомнив об этом случае, он понял, что именно появление сына сделало его таким, каким он есть, и что ничего лучшего и более сильного он не испытывал в жизни, нежели отцовские чувства. За это он был благодарен детям и прежде всего сыну, Кириску. Эмраину хотелось рассказать Кириску об этом, но он не стал его тревожить. Мальчику и без того было худо...

Время жить у отца истекало...

Синяя мышка, дай нам воды!
Синяя мышка, дай нам воды!

Время жить у отца истекало...

Осталось еще два-три дорогих воспоминания, с которыми трудно было ему расставаться. И он не хотел уходить туда, не подумав об этом, хотя время уже поджимало. Теперь он прощался с воспоминаниями, постоянно помня, что пора покидать лодку...

Он любил жену с первых дней. Удивительное было в том, что, находясь в море, он думал, оказывается, о том же, о чем думала она дома. Так было с первых дней. Она знала, о чем он думал, находясь в плавании, так же, как он знал о ее мыслях... Это узнавание на расстоянии было их тайной и никому не ведомым счастьем близости.

Когда Кириск еще не родился, но появились первые признаки, которые могли подтвердиться и не подтвердиться, он сразу сказал, вернувшись, жене:

— У нас будет мальчик?

— Тише, кинры услышат! — перепугалась она, и глаза ее налились радостью. — Откуда ты знаешь?

— Ты думала об этом сегодня. Ты этого очень хочешь.

— А ты?

— Ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала, и я думал об этом же.

— А я думала потому, что ты думал об этом и очень хотел этого...

Так оно и случилось. Сбылось их предчувствие. Кириска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, выдавших виды, ла-

таных-перелатаных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была самой красивой и желанной. Самой красивой и самой желанной!

Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью...

То был Киrisk...

С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки.

И еще, когда Киrisk уже подросток, мать как-то, рассерженная им, сказала, что, когда его не было, ей было гораздо лучше без него.

Мальчика это очень обидело.

— А где я был, когда меня не было? — пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря.

Вот смеху-то... Смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть, как объяснить мальчику, где он был, когда его не было.

Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чрево матери и возник, повторяя его, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей...

Да, так бы ему и сказал и был бы счастлив сказать перед смертью именно так, но теперь всему приходил конец. Его роду приходил конец. Самое большое жизнь Киriskа могла продлиться еще на день, два, но не дальше, отец это хорошо понимал. И в том заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына...

И еще хотелось Эмрайну внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Органе и аки-Мылгуне. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя. Умирать надо, думая для себя о таких людях.

Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом...

Когда Кириск проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущие ночи. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову — отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, горестно огласившим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно, до изнеможения, и потом упал на дно лодки, хрипя и биясь головой. То была его плата отцам, от которых он шел, его любовь, его горе и причитание по ним...

Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте.

Кириск плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его, пусть бы они погибли вместе, пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве. Ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся, не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг он почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтоб отец выбросился в море! Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину!

Потом он забылся постепенно, плача и трясясь всем телом. И через некоторое время с новой силой, как бы возмещая свое отступление перед горем, начался приступ жажды. Он даже во сне чувствовал, как изнывал и страдал от безводья. Жажда одолевала, жажда терзала и душила его. Тогда он почти вслепую дополз до бочонка и обнаружил, что пробка слегка приослаблена, чтобы легче было ее вытащить, и ковш был рядом. Он налил себе воды и, ни о чем не думая, напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал, сумел остановить себя. Водички осталось еще раза на два попить...

Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом ему было бы легче утонуть, чем теперь, когда одиночество и страх сковали его руки и ноги и когда он так страшится переступить за борт лодки. Он решил, что сделает это, как только соберется с силами...

Был уже полдень, а может быть, чуть больше полдня. Так казалось Кириску, судя по светлеющим тонам тумана. Значит, солнце сияло где-то в зените. Однако солнечные лучи не пробивали пока толщу Великого тумана в его великом оцепенении над океаном. Туман становился жиже, голубоватым, как дым от усохших дров. И все равно далее двадцати-тридцати саженей ничего не различить было, кроме темной, колышущейся воды вокруг.

Плыть было некуда, да он и не справился бы теперь с веслами. Он с грустью посмотрел на отцовские и мылгуновские весла, аккуратно заставленные по бортам. Лодка дрейфовала теперь сама по себе, двигаясь в тумане в неизвестном направлении. И со всех сторон обступало мальчика одиночество, и кругом царил безысходный страх, холодящий душу.

Позднее, к вечеру, ему опять нестерпимо захотелось пить. И голова шла кругом от голода и слабости. Ему не хотелось ни двигаться, ни глядеть по сторонам. Да и некуда и не на что было смотреть. И даже трудно стало добраться до бочонка. Он пополз на коленях и остановился от усталости. Кириск понимал, что скоро не сможет и двигаться. Он поднес к лицу руку и ужаснулся: рука его утончилась, уменьшилась, как сохшаяся шкурка бурундучка.

В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз, и на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить, ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутрахающая, тяжкая, ноющая боль.

Он несколько раз впадал в беспамятство, потом снова приходил в себя. А лодка дрейфовала сама по себе, плыла в тумане, увлекаемая ожившими течениями.

В какой-то момент он всерьез решил броситься в море. Но сил не хватило. Поднявшись на колени, повис на краю борта. И так висел, выпростав руки за борт, но не в силах выкинуть тело свое из лодки. Потом он обессилел настолько, что даже не пытался допить остаток воды в бочонке.

Он лежал на дне лодки и тихо плакал, призывая свою мышку-поительницу:

Синяя мышка, дай мне воды!..

Но синяя мышка не появлялась, и только еще больше хотелось пить. И опять припоминалось ему то лето, когда он голышом купался в ручье. Ведь было ему тогда лет семь, не больше. Лето стояло в тот год жаркое. На опушке леса здорово припекало. Там они собирали ягоду. А потом купались. Мать и сестра ее тоже купались. Они не очень-то стыдились его. Разделись обе и, смугло поблескивая бедрами, прижимая ладони к грудям, боязливо вошли в ручей. И странно вскрикивали, визжали, плескаясь в воде. А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду, они потешались над ним до упаду, особенно мать. «Посмотри, посмотри, — говорила она сестре, — как он похож на него, в точности как сам!» И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задерно смеясь... А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно...

Синяя мышка, дай мне воды!..

Чудилось ему, что снова он у того ручья. И вроде бы снова жарким летом купается в нем голышом. Вот он бежит берегом, прыгает в поток, но не ощущает прохлады струи. То какая-то неуловимая, невещественная вода, то туман. Он купается в тумане. Ему забюко в такой воде. А мать не смеется, а плачет. «Посмотри, посмотри, как он похож на него!» — говорит она кому-то и плачет, горько плачет... Слезы ее солоны, они стекают по лицу...

Ночью Кириск проснулся от качки и шума волн за бортом лодки. Мальчик тихо вскрикнул — он увидел над собой звезды! Первый раз за все эти дни. Они высоко блистали в темном небе, в разрывах туч, проносащихся над морем. И даже луна несколько раз показывалась, быстро ныряя в облаках.

Мальчик был ошеломлен — звезды, луна, ветер, волны — жизнь, движение! И хотя туман еще держался скоплениями, и, когда лодка попадала в такие места, все снова погружалось в мутную мглу, продолжалось это недолго. Тронулся Великий туман, вышел из оцепенения, расползлся по свету, гонимый ветром и волнами.

Мальчик смотрел на звезды со слезами на глазах.

У него не было сил взяться за весла, он не знал, как находить дорогу по звездам, он не знал, куда ему плыть, он не знал, где он и что ожидало его впереди, и все равно он был рад, что слышит шум бегущих волн, что ветер ожил, что лодка плыла по волнам.

Он плакал от радости и горя, оттого, что мир прояснился, оттого, что море пришло в движение и что, будь у него вода для питья и какая-то еда, он бы еще мог любить эту жизнь. Но он понимал, что не удастся теперь подняться с места, что дни его сочтены, что он умрет скоро от жажды...

А лодка плыла по волнам все резвей и резвей. Плыла по течению, без руля и без весел. Уже смутно угадывался над морем горизонт, все ясней раздвигалось ночное пространство, все реже встречались на пути скопления тумана. И мгла, что встречалась, была уже не та, не такая глухая и все подавляющая. Теперь в тумане чудились бесшумно мчащиеся фантастические существа. Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам.

Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала, и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал: «Которые из них звезды-охранительницы? Которая звезда аткычха Органа, которая аки-Мылгуна, а которая отца моего — Эмрайина? Вас не видно было все эти дни. И вы, звезды, не могли нас видеть в тумане. А теперь я один, и я не знаю, куда я плыву. Но мне теперь не страшно, потому что я вижу всех вас в небе. Только я не знаю, которая звезда чья. Но вы не виноваты, что так случилось. Вы же не видели нас в море. Великий туман скрывал нас. И теперь я один. А они уплыли, все трое уплыли. Они очень любили вас, звезды. Они очень ждали, очень хотели увидеть вас, чтобы найти дорогу к земле. Аتكыч Орган говорил, что звезды никогда не подведут. Он хотел научить меня... Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды, и я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву... У меня осталось немного воды, совсем немного, я ее выпью сейчас, больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сжевал кусок торбы из-под юколы, она из перпичьей шкуры. Но я больше не могу, меня тошнит, выворачивает от этого... Я выпью сейчас последнюю воду. И если мы не увидимся больше, я хочу сказать вам звезды, — аткыч Орган, аки-Мылгун и отец мой Эмрайин

очень любили вас... Если я буду до утра, я потом попрошусь...»

Вскоре лодка снова попала в обширную полосу тумана. И все скрылось, снова исчезла видимость. Но лодка по-прежнему плыла, гонимая ветром и волнами. Кириску теперь было безразлично. Выпив остаток окончательно прогнившей, затхлой воды, он остался лежать там, у пустого бочонка, на корме, на том месте, где обычно сидел старик Орган. Он приготовился умирать, и туман теперь ему был не страшен. Он лишь сожалел о том, что не видно стало звезд и что, возможно, он не успеет с ними попроситься... Ему становилось все хуже и хуже...

Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, было уже за полночь, а быть может, ночь приближалась к кошцу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру.

Есть судьба, и есть судьба. Мальчик мог услышать, а мог и не услышать. Но он услышал. Он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и в мгновение ока успел увидеть, что то была птица, большая, сильная птица, широко машущая крыльями.

— Агукук! — прокричал он. — Агукук! — И успел проследить направление полета полярной совы и успел запомнить ветер. Ветер был слева, слева в затылок, чуть позади левого уха!

— Агукук! — прокричал он вслед птице и уже держал в руках органовский руль, направляя лодку туда, куда улетала агукук.

Кириск весь напрягся, вцепившись в рулевое весло, он поднял в себе все силы, которые еще сохранились в нем, и ни о чем другом не думал, он помнил только ветер и только направление полета.

Неизвестно было, куда и откуда летела полярная сова. С острова на материк или с материка на какой-нибудь остров. Но Кириск не забыл, как рассказывал старик Орган, — эта птица летит над морем только по прямой. Это самая сильная птица, летающая по почам и в тумаше. Теперь он следовал за ней.

Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне ярко высвечивалась одинокая

лучистая звезда. Кириск заметил, что звезда стоит как раз в той стороне, куда направлял он нос лодки. Он догадался, что должен держаться ее, должен следить за ней и идти к ней, ибо туда, в ту сторону, пролетела агукук. Он не знал этой звезды, но теперь он не спускал с нее глаз и затылком помнил ветер: его направленность, его силу, его струю.

«Ты держись, ветер, не уходи. Я не знаю, как тебя звать, это мог бы сказать мне аткычх Орган. Но будь моим братом. Не уходи, не уклоняйся, ветер, в другую сторону. Ведь ты можешь долго держаться так, как тебе нужно. Помоги мне, ветер, не уходи. И я узнаю твое имя и буду звать тебя по имени. А хочешь, я буду звать тебя ветер Орган? По имени моего аткычха Органа. И буду всегда тебя так называть — ветер Орган. И ты будешь меня знать...»

Так заговаривал он попутный ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу. А глаза не спускал с путеводной звезды, по которой он плыл. «Я люблю тебя, звезда моя, — говорил он звезде. — Ты так высоко и далеко стоишь впереди. Ты самая большая и красивая. Я прошу тебя, не уходи, стой на месте, не угасай. Я плыву к тебе. В твою сторону пролетала агукук. Я не знаю, куда она полетела, — на остров или на землю. Если даже на остров, пусть я умру на острове. Не уходи, не угасай, звезда. Я не знаю, как тебя звать, ты не гневишься на меня. Я не успел узнать твоего имени. Твое имя мог бы сказать мне отец Эмрайин. Если хочешь, я буду звать тебя по имени отца, я буду называть тебя звездой Эмрайина. И когда ты будешь появляться на небе, я буду здороваться с тобой и шептать твое имя. А ты помоги мне, звезда Эмрайина, не уходи прежде времени, не угасай, не спрячься вдруг за тучей...»

Так заговаривал он свою путеводную звезду. И еще заговаривал он волны: «Волны, вы сейчас погоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас — волны акимылгуны. Вы идете туда, куда полетела агукук. Ведь вы можете долго катиться туда, куда вам нужно. Не уходите, волны акимылгуны, не сбивайтесь с пути. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву по вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать: вы идете по ветру Органа и звезде Эмрайина. И я всем передам: акимылгуны в море к добру! Помогите мне, акимылгуны. Не уходите, не оставляйте меня...»

Среди всех звезд дольше всех светила звезда Эмрайшна. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным чистым сиянием, и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра, и еще долго проступала в небе нежным, белым пятном.

Так наступило утро. Потом взошло солнце над морем. Кириск обрадовался и испугался. Обрадовался солнцу и испугался неоглядности моря. Переливаясь зыбкой синевой под солнцем, море было почти черным и необозримо пустынным. Мальчик судорожно держался за рулевое весло, пытаясь плыть по памяти, не сбиваясь с ветра. Это было утомительно...

Он помнил, как у него закружилась голова и все поплыло перед глазами...

Лодка шла теперь своим ходом...

Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. Подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, переживая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам. И море все так же рябило, насколько хватало глаз, бесчисленными бликами живой, колышущейся воды. Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал Пегий пес. Пегий пес бежал навстречу! Великий Пегий пес!

Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но Пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопок, и уже различима была кипящая кайма вечного прибоя у подножия Пегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми приметили его. А над сопкой витал голубой дымок угасающего на круче сигнального костра...

Пегий пес, бегущий краем моря,
Я к тебе возвращаюсь один —
Без аткычха Органа,
Без отца Эмрайна,
Без аки-Мылгуна.
Где они, ты спроси у меня,
Но сначала дай мне напиться воды...

Кириск понял, что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней...

...Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменнотвердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени...

Все дни и все ночи...

...Еще одна ночь протекала...

Шумел над морем ветер Орган, катились по морю волны акимылгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмрайина.

...Еще один день наступал...

**И ДОЛЬШЕ ВЕКА
ДЛИТСЯ ДЕНЬ**
(БУРАННЫЙ ПОЛУСТАНOK)

РОМАН

ОТ АВТОРА

Общезвестно: трудолюбие — одно из непреходящих мерил достоинства человека.

В этом смысле Едигей Жангельдин, Буранный Едигей, так еще называют его знающие люди, поистине настоящий труженик. Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он связан со своей эпохой, насколько я могу полагать, накрепчайшим образом, и в том его сущность — он сын своего времени.

Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу — фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере. Образ Буранного Едигея — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.

Однако я далек от абсолютизации самого понятия «труженик» лишь потому, что он «простой, натуральный человек», усердно пашет землю или пасет скот. В столкновении вечного и текущего в жизни человека труженик интересен и важен настолько, насколько он личность, насколько богат его духовный мир, насколько сконцентрировано в нем его время. Вот я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем.

Буранный Едигей не только труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души.

Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо, и живут, только потребляя.

Людей же трудолюбивой души будто соединяет некое братство — они всегда способны отличить один другого и понять, а если не понять, то задуматься. Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакого не давало никогда.

Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос.

Должно быть, самое трагическое противоречие конца XX века заключается в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом.

В условиях сегодняшнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека.

Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет.

Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет.

Атмосфера недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества.

Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне историче-

ской перспективы и способен жить только сегодняшним днем.

Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями. И вместе с тем впервые в своей писательской практике прибегаю к использованию фантастического сюжета. И то и другое для меня не самоцель, а лишь метод мышления, один из способов познания и интерпретации действительности.

Разумеется, события, связанные с описаниями контактов свнеземной цивилизацией, и все то, что происходит по этой причине, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Нигде на свете не существуют в действительности сарозекские и невадские космодромы. Два различных мира — две различные системы взяты здесь мною вне исторической реальности, совершенно условно, как правило игры. Вся «космологическая» история вымышлена мной с одной лишь целью — заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле.

Страшный парадокс этого мира: в Древней Греции прекращались войны на время Олимпийских игр, а сегодня Олимпиада стала для некоторых стран поводом для «холодной войны».

Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал: «Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему».

Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический ли реализм Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика — при всей их разности все они убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав «правила игры», показывает их философски обобщенно, до предела стараясь раскрыть потенциал развития выбранных его черт.

Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зре-

ния. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями — экономическими, политическими, идеологическими, расовыми.

Вот я и хочу, чтобы сарозекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли...

*И книга эта — вместо тела,
И слово это — вместо души моей...*

*Григор Парикаци,
«Книга скорби», X век*

I

Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логом. Выслеживая запутанные до головокружения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихо-радочно разгребая сусликовую пору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушкапчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, той темнеющей ровнопотяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжело содрогая землю окрест, проносились громыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.

В вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля, и, свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных, густо обсемянившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к топкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.

Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту

чудовищную силу землепроминающей тяжеловесности и яростности движения составов и все-таки, преодолевая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.

Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях...

В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то певнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежащий. То была игра воздушных течений, то было к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывал в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затыкать от смутного предощущения некой общей беды. Но голод заглушал даже этот предупреждающий сигнал природы.

Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.

В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени. По ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скучная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезала кто куда — кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира...

С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Выждала, вслушиваясь, и потрусилась к железнодорожной насыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль откосов, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консерв-

ными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок — разило дурманом. После того как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной запах. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.

А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как пазло, не встречалось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.

Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чалом свете высокой мглистой луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лиса перешително ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с путей. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чувяла — вот-вот налетит на находку, хотя неотвратимо надвигались издали всевозрастающим грозным приступом железный лязг и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.

Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног...

Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженный состав.

Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие и пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом, с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробивался как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под скоростного товарняка (то следовал зеленой улицей литерный состав — поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:

— Ты чего?

Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял — он так и думал.

— Пошли сюда от ветра. — Он повел ее в будку.

Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в маленькой, начисто выбеленной железнодорожной будке вдруг резко обнаружил никогда уже

не обратимые морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного шпеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня», — пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала — только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом ни сватом.

— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они пошли в будку.

— И ты садись, — сказала она мужу.

Они сели.

— Что случилось?

— Казангап умер.

— Когда?

— Да вот только что заглянула — как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже... — Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. — Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер — некому оказалось глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог подумать! Так и помер человек... — Она собиралась сказать — как собака на дороге, но промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.

Слушая жену, Буранный Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на

приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?

— Что будем делать теперь? — промолвила жена.

Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.

— Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хоронить будем. — Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. — Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А сейчас слушай меня.

— Слушаю.

— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь и никакую собаку ни за какие деньги не затащить было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его — волос не хватает на голове... Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай...

— Слушаю.

— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу — восемь домов, по пальцам перечесть... Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.

— А если ругаться начнут?

— Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Поймай!

— Что еще?

— Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймердеп сидит диспетчером, передай ему, что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!

— Скажу, скажу, — отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. — А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер...

Едигей нахмурился отчужденно при этих словах, еще больше посуровел. Не отозвался.

— Какие ни есть, но дети есть дети, — продолжала

Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.

— Да знаю, — махнул он рукой. — Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил!

— Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься...

— А я что, мешаю? Пусть едут.

— А как сын не поспеет из города?

— Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец, твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять, что к чему...

— Ну, если так, то еще ладно, — неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила: — Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь...

— Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.

— Да, так-то оно, конечно, — все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.

И они замолчали.

— Ну, ты не задерживайся, иди, — напомнил Едигей.

У жены, однако, было еще что сказать:

— А дочь-то его — Айзада горемычная — на станции с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.

Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.

— Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого... До Айзады тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно — и от Айзады, и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается... Иди и делай, как я сказал.

Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:

— Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, я потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме, и рядом никого, как можно... Так и скажи...

И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализа-

тор — к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии Укубалу, точно бы он забыл что-то еще сказать. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не упомнишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.

«Стало быть, старость уже на плечах сидит, — подумалось ему. — Вот и дожили — старик и старуха!» И хотя здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый — шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», — сказал Едигей себе без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях на его место — обходчика путей и ремонтного рабочего, стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболел или уходил в отпуск. Разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность? Но вряд ли. Поди таких сыщи среди нынешней молодежи.

Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут по ошибке судьбы... И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо — не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется — трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются — господи, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре про-

держится — и делу тамам*: рассчитывается и уезжает куда подальше...

На Боранлы-Буранном только двое укоренились тут на всю жизнь — Казангап и он, Буранный Едигей. А сколько перебивало других между тем! О себе трудно судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь срок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа... Нет тепер его, нет Казангапа...

Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг — звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загудел по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами.

Едигей не ушел в будку. Задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности, пережидали ночь. И среди них различил Едигей своего двугорбого, крупноголового нара — самого сильного, пожалуй, в сарозеках и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, Буранным Каранаром. Едигей гордился им, редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому что Каранар оставался атаном — в молодости Едигей его не кастрировал, а потом не стал трогать.

Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара домой, поставить под седловище. Пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы...

А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С при- мостившимися с одного края путей небольшими станцион- ными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами, их было шесть сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа, да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочей надобности, в центре ветровая и она же универсальная электронасосная и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы, — вот и весь поселочек Боранлы-Буранный.

* Там ам — конец.

Весь как есть при великой железной дороге, при великой Сары-Озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов... Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут сарозекские вьюги, заваливая дома по окнам сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея... Потому и назывался этот степной разъезд Боранлы-Буранный, и надпись висит двойная: Боранлы — по-казахски, Буранный — по-русски...

Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители — и пуляющие снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми пожами, и прочие, — пришлось им с Казангапом бороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах — какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело — на одну атаку, на один бросок гранаты под танк... Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх, это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной круговертью и что ради этого можно не задумываясь отдать к чертям эту жизнь, только бы не слышать, как ревет в степи паровозы — им дорогу давай!

Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли... Никому и дела нет теперь до того. Было — не было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами, шумливые типы — контрольно-ремонтные бригады, так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы — и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! А среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо было — такие муки брать на себя, зачем было гробить себя, с какой стати! Нам бы такое — ни за что! Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы — и на другое место, на худой конец, на стройку-матку двинулись бы или еще куда, где все как положено. Столько-то отработали — столько-то плати. А если аврал — собирай народ, гони сверхурочные... «На дурняка выезжали на вас, старики, дураками и помрете!..»

Когда встречались такие «переоценщики», Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмеялся только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное, а Едигей — тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил.

А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали жите-бытье насколько хватало разумения и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней — с сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось: уехал в городок сыну на жите и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить... И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать...

Едигей поспешил в будку, услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Запуршало, зашипело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался.

— Едике, алло, Едике, — просипел Шаймерден, дежурный по разъезду, — ты слышишь меня? Отзовись!

— Я слушаю! Слышу!

— Ты слышишь?

— Слышу, слышу!

— Как слышишь?

— Как с того света!

— Почему как с того света?

— Да так!

— А-а... Стало быть, старик Казангап того самого!

— Чего того самого?

— Ну, умер, значит. — Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова. — Ну как сказать? Стало быть, завершил, того самого, ну, это самое, свой славный путь.

— Да, — коротко ответил Едигей.

«Вот хайван* безмозглый, — подумал он, — о смерти даже не может сказать по-людски».

Шаймерден примолк на минутку. Микрофон еще силь-

* Х а й в а н — скотина.

нее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел:

— Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь... У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник, того самого, от этого не подымется, как я думаю...

— А я думаю, понятия у тебя никакого нет! — возмутился Едигей. — Что значит голову не морочь! Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер, нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме.

— А откуда ему знать, того самого, один он или не один?

— Зато мы знаем!

— Ну ладно, не шуми, того самого, не шуми, старик!

— Я тебе объясняю.

— Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать, все равно ночь кругом.

— Буду молиться. Покойника буду обрывать. Молитвы буду приносить.

— Молиться? Ты, Буранный Едигей?

— Да, я. Я знаю молитвы.

— Вот те раз — шестьдесят лет, того самого, Советской власти.

— Да ты оставь, при чем тут Советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!

— Ну ладно, молись, того самого, только не шуми. Пошлю за Длинным Эдильбаем, если согласится, то придет, того самого, заступит вместо тебя... А сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную...

И на том Шаймерден отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинец на ноги.

Тем временем сто семнадцатый встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав — одни цистерны. Они разминулись, один — на восток, другой — на запад...

Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила

над сарозеками чуть ярче, наполняясь некоей добавочной, постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись сарозеки, только контуры верблюдов — и среди них двугорбый великан Буранный Каранар — да смутные очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шуршал вокруг сором.

Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях Длинный Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убежать.

— Ты чего тут! — пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. — Ты смотри! Я тебя! — И притопнул ногой.

Лисица отскочила подальше и села, оборотившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла? Станным показалось Едигею ее поведение. А почему бы не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится. Едигей напарил на земле камень покрупней. Примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову! Чуть какая-то! Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Сабитжан рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ.

Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза — вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты говорить мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что ж делать, какой есть.

Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что каждый человек когда-то, еще до своего рождения, побывал до этого птицей, или зверем каким-нибудь, или насекомым. Поэтому у них грех убить любую животину, пусть даже змея, кобра, встретится на пути, не тронет ее, а лишь поклонится и уступит дорогу.

Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису: а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лису, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак! — укорял он себя. — И как может такое придуматься? Тыфу ты! Оглупел вконец!»

И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь:

— Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда — там собаки. Ступай с богом, иди себе в степь.

Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме.

Между тем к разъезду снова подходил очередной железнодорожный состав. Погромыхая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения — летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист:

— Эй, Едиге, Буранный, ассалам-алейкум!

— Алейкум-ассалам!

Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более на Кумбеле пересмена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени успеет.

Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано.

Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь

с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава. Едигей взгляделся, то был Эдилбай.

Пока Едигей сдал смену, пока они с Длинным Эдилбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Боранлы-Бураный вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим да зятьям как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне — под Кызыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в тот же совхоз, муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, па похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем в Боранлы-Бураном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчущек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине, старшая сзади — и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал Каранар от Боранлы-Бураного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют... Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа...

Потом он шел и думал о том, что утром перво-наперво надо пригнать с выпаса своего Каранара, очень он нужен будет. Умереть не просто, а похоронить человека честь по чести в этом мире тоже нелегко... Обнаруживается всегда, что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок.

Именно в тот момент в воздухе что-то кольхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стороне, где располагался, насколько ему было известно,

Сарозекский космодром, что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел — в космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозекцы, о существовании космодрома Сары-Озек-1, то было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше, знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Тогрек-Там, и рассказывали даже, что в той стороне в степи возник большой город с большими магазинами, слышал бесконечно по радио, в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах. Все это происходило где-то поблизости, во всяком случае, на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Сабитжан, а город этот находился куда дальше — около полутора суток езды поездом, — детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди космонавты уходят в космос с их земли; но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, то Едигей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалась в бушующем напряженном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света, космическая ракета в темную, звездную высь. Едигею стало не по себе — неужто в том огне сидит человек? Один или двое? И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента взлета, ведь сколько раз уже летали в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем. При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванулся ночью? Значит, к спеху или так положено? А возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день? Сабитжан как-то рассказывал, словно бы сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабитжана. Сабитжан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Ну не прикидывался бы. К чему? Кто ты есть, тем и будь. «Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал». А Длинный Эдильбай рассказывал — понал он к нему как-то раз на службу. Только и бегаёт, говорит, наш Сабитжан от телефонов к дверям кабинета в приемной, только успеваёт: «Слушаюсь, Альжапар Кахарманович! Есть, Альжапар Кахарманович! Сию минуту, Альжапар Кахарманович!» А тот, говорит, сидит там

в кабинете и все кнопками погошает. Так и не поговорили между собой толком... Вот такой он, говорит, оказался, наш землячок боранлинский. Да бог с ним, какой уж есть... Жаль только Казангапа. Он ведь очень переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну да спохватился на жительство, сами же его упросили, сами же увозили, а что получилось... Ну, это отдельный разговор...

С такими мыслями уходил Едигей той глубокой ночью, проведив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные, противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибегала к железной дороге. Каково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверно, куда себя девать...

Но сам-то он, Буранный Едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом — без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет», находившейся уже более полутора лет по совместной американо-советской программе на орбите, условно называемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо всем этом. Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с Сары-Озекы, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей, на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с обратным ходом обращения.

Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца «Конвенция», являвшегося плавучей базой Объединенного советско-американского центра управления программы «Демидург».

Авианосец «Конвенция» находился в районе своего

постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный центр управления — Обценупр — в это время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была наисложнейшая, стыковка должна была происходить не последовательно, одна вслед за другой с необходимым интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно с двух разных подходов к станции.

«Паритет» не реагировал на сигналы Обценупра с «Конвенции» уже свыше двенадцати часов, не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку... Предстояло выяснить, что произошло с экипажем «Паритета».

II

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

По сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

От разъезда Боранлы-Буранный до родового найманского кладбища Ана-Бейит было по меньшей мере километров тридцать в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не запутаться, случаем, в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от Кыйсыксайской пади на Ана-Бейит. Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем случае тридцать верст в один конец да столько же в другой. Но, кроме самого Едигея, никто из нынешних боранлицев толком и не знал, как туда добираться, хотя слышать слышали о том старинном Бейите, о котором рассказы-

вали всякие истории, то ли были, то ли небылицы, по самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Боранлы-Буранном, придорожном поселочке из восьми домов, когда умер человек и предстояли похороны. До этого несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа, старушка Букей, покоилась на станционном погосте в Кумбеле — умерла в тамошней больнице несколько лет назад, ну и решили тогда на станции и схоронить. Везти покойницу в Боранлы-Буранный не было смысла. А Кумбель — самая большая станция в Сары-Озехах, к тому же дочь Айзада проживает там да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но тогда жив был Казангап, он сам решал, как ему поступить.

А теперь думали-гадали, как быть.

Едигей, однако, настоял на своем.

— Да бросьте вы неджигитские речи, — урезонил он молодых. — Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, там, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся...

Все понимали — Едигей имел право принять решение. На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще Едигей. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая: «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» — точно бы его приезд мог воскресить Казангапа. И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе, у дверей осиротевшей мазанки казангаповской. Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабитжан вырос у него на глазах, мальчонкой был, любимцем отца был, возили его учиться в кумбельскую школу-интернат для детей железнодорожников, как выпадало свободное время, наезжали проведать — то попутным со-

ставом, то верхами на верблюдах. Как он там в общезнании, не обидел ли кто, не натворил ли дел каких недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителя... А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, везли верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы только не опоздал на занятия.

Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве — пучеглазый и улыбочивый, а теперь в очках, в расплющенной шляпе, при затрепанном галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником, а жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники, как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей да знакомства или родства, а кто он — сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчастный-то! Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но теперь и такого нет...

А потом слезы унялись. Перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий не хоронить приехал отца, а лишь бы только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрее уехать. Стал он мысли такие высказывать — к чему, мол, тащиться в эдакую даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько простора — безлюдная степь Сары-Озек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избавление от мертвого в закопании скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрее, тем лучше.

Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город...

Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых

шналах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:

— Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? — И замолчал, и его молча слушали боранлинцы. — Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.

И пошел с потемневшим, неприязненным лицом подалее от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч — Буранным прозвали еще и за то, что характером был тому под стать. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабитжаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукуются, возмущаются — приехал, мол, сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достатке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка — тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом и старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются...

Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрикивая, пригнанный им с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что раза два приходил Каранар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство — свирепо разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая история — снова неволя, а к ней надо привыкать.

Едигей подошел к нему раздосадованный после разговора с Сабитжаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось — Сабитжан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это

обуза, от которой надо суметь побыстрей отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлениях к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто месили и уже начали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы — топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабитжан мешался тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудно, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. «Что за люди пошли, что за народ! — негодовал в душе Едигей. — Для них все важно на свете, кроме смерти!» И это не давало ему покоя: «Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?»

Едигей в сердцах накричал на Каранара:

— Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам бог слышит? — Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путевцы придумали Буранному Каранару такую кличку за зубатую пасть его и злой норов. — Ты у меня докричишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!

Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился. Залюбовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До головы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и когда наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей принялся за дело.

Оседлать верблюда по-настоящему — это большая работа, все равно что дом построить. Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы не-

малые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как Каранар.

Каранаром, то есть Черным нарм, он прозывался неспроста. Черная патлатая голова с черной, росшей до гривка мощной бородой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до коленей густой дикой гривой — главное украшение самца, — пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни, на спине. И в завершение всего — черный кончик кучега хвоста. А все остальное — верх шеи, грудь, бока, ноги, живот, — наоборот, было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был Буранный Каранар, тем и славен — и статью и мастью. И сам он в ту пору находился в самой атановской зрелости — третий десяток шел Каранару от роду.

Верблюды долго живут. Оттого, наверно, детенышей рожают на пятом году и затем не каждый год, а лишь в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше всех животных — двенадцать месяцев. Верблюжонка, самое главное, выходит в первые год-полтора, чтобы уберечь от простуды, от сквозняка степного, а потом он растет день ото дня, и тогда ничто ему не страшно — ни холод, ни жара, ни безводье...

Едигей знал толк в этом деле — содержал Буранного Каранара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы — черные горбы на нем торчали как чугунные. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок, в те годы первоначальные, когда вернулся Едигей с войны да обосновался на разъезде Боранлы-Буранном. А сам Едигей молодой был еще — куда там! Знать не знал, что пребудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился — сивым стал. Даже брови и те побелели. В лице, конечно, изменился. А телом не потяжелел, как бывает в таком возрасте. Как-то само по себе получилось — вначале усы отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без бороды, все равно что голым ходить. Целая история минула, можно сказать, с тех пор.

Вот и сейчас, оседлывая Каранара, лежащего на земле, приструнивая его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет да и огрызался, рывкая, как лев, поворачивая черную патлатую голову на длинющей шее, Едигей между делом припоминал сегодня, что было да как было в те годы. И отходил душой...

Долго он возился, все укладывал, улаживал сбрую.

В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Каранара лучшей выездной попоной старинной работы, с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Каранара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой Укубайлой. Выпал теперь такой случай...

Когда Буранный Каранар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой. Каранар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабитжан, пусть воймут: похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестное событие и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играют музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки вешают...

А он, Буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на Каранаре, убранном попоной с кистями, путь на Ана-Бейит, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию... И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая великие и пустынные сарозеки. И с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного...

Пусть все знают, что быть посемену, и для этой цели его Каранар готов — оседлан и обряжен сбруей.

Пусть все видят. Едигей повел Каранара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, Буранный Едигей, не сдержатъ своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, Длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабитжана в сторону:

— Пошли-ка в тенок потолкуем.

Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не стал уговаривать, высказался напрямик:

— Ты вот что, Сабитжан, возблагодари бога, что есть такой Буранный Едигей на свете, друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли!

— Это мой отец, и я сам знаю... — начал было Сабитжан, но Эдилъбай перебил его на полуслове:

— Отец-то твой, да только вот ты сам не свой.

— Ну ты скажешь, — пошел на попятную Сабитжан. — Ладно, давай не будем в такой день. Пусть будет Ана-Бейит, какая разница, просто я думал — далеко вато...

На том разговор их закончился. И когда Едигей, поставив Каранара всем напоказ, вернулся и сказал боранлицам: «Да бросьте вы неджигитские речи. Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите...» — то никто не возразил, все молча согласились...

Вечер и ночь того дня коротали все сообща, по-соседски, во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада сарозеков. Великая, сумеречная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чай пили у дымящих самоваров да разговоры всякие вели о том о сем... Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Ана-Бейит. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается при кончине престарелого человека — что уж больно тужить...

А на разезде Боранлы-Буранном, как всегда, приходили и уходили поезда — сходились с востока и запада и расходились на восток и запад...

Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на Ана-Бейит, и все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач. Особенно Укубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду: что ж, мол, теперь делать, за умершим вслед не умрешь, надо примириться с судьбой. Но Айзада не унималась.

Так оно бывает зачастую — смерть отца явилась для нее поводом выплакаться, излить принародно душу, все то, что давно не находило открытого выхода в слове. Плача в голос, обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по-бабьи на свою нескладную судьбину, что некому ее ни понять, ни приветить, что

не удалась ее жизнь с молодых лет, муж — пропойца, дети с утра до вечера околачиваются на станции без призора и строгости и потому превратились в хулиганов, а завтра, может, и бандитами станут, поезда начнут грабить, старший вон выпивать уже начал, и милиция уже приходила, предупредили ее — скоро дело дойдет до прокуратуры. А что она может поделать одна, а их шестеро! А отцу хоть бы что...

А тому и действительно было хоть бы что, муж ее сидел себе опустошившийся и смурной, с грустным, отрешенным видом, все же на похороны тестя приехал, и молча курил себе вонючие, бросовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал: покричит-покричит баба и устанет... Но тут некстати вмешался брат — Сабитжан. С того и началось. Сабитжан стал совестить сестру: где это видапо, что это за манера, зачем она приехала — отца хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплакивать казахской дочери своего почтенного отца? Разве великие плачи казахских женщин не становились легендами и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили слезами. А умершему воздавалась хвала, и все его достоинства возносились до небес — вот как плакали прежние женщины. А она? Развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете!

Айзада только этого вроде и ждала. И вскричала она с новой силой и яростью. Ах ты какой умный и ученый выискался! Ты, мол, вначале свою жену научи. Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не приехала и не показала нам плач величальный. А уж ей-то негрешно было бы и воздать должное отцу нашему, потому как она, бестия, и ты, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили старика до ниточки. Мой муж, какой он ни алкоголик, но он здесь, а где твоя умная-разумная?

Сабитжан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душить Сабитжана.

С трудом удалось боранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Едигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строгонастроено: если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь никому оставаться, не посмотрю ни на что, пеняйте на себя...

Да, вот такая нехорошая история вышла накануне похорон. Сильно был мрачен Едигей. И опять напряженно сошлись брови на хмуром челе, и опять терзали его вопросы — откуда они, дети их, и почему они стали такими? Разве об этом мечтали они с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в кумбельский интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, чтобы не остались прозябать на каком-нибудь разъезде в сарозеках, чтобы не кляли потом судьбу: вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот... Почему, что помешало им стать людьми, от которых не отвращалась бы душа?..

И опять Длинный Эдильбай выручил, чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение Едигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Едигею. Дети умершего родителя всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И пикуда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они ни оказались. Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Эдильбай пригласил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать, пойдемте почаюем, посидим у нас...

В доме у Длинного Эдильбая Едигей попал будто в иной мир. Он и прежде захаживал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен, душа его наполнялась отрадой за эдильбаевскую семью. Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь, потребность была такая — точно бы он должен был восстановить в этом доме некие утраченные силы.

Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим, как и другие, получал не больше других, жил, как и все, в половине сборно-щитового домика из двух комнат да кухни, но совсем иная жизнь царила здесь — чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других, в эдильбаевских пиалах Едигею казался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная, и дому хозяйка, и дети как дети... Поживут в сарозеках сколько смогут, полагают Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда...

Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого столика на-

земного остальные гости, негромко переговариваясь о том о сем...

Настоящий разговор возник потом, странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждениям и своему неведению на этот счет. Но он при том не испытывал внутреннего укора — для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далеким, почти магическим, чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было настороженно-почтительное, как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И, однако, зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме Длинного Эдильбая.

Сидели они вначале, пили шубат — кумыс из верблюжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли сарозекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказалась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию, но в этот раз не стал и тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увлекаться — завтра предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его то, что другие, особенно Сабитжан, налегали, запивали водку шубатом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых коней, хорошо идут в одной упряжке — поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало по крайней мере то, что муж Айзады пока воздерживался от водки, алкогольiku сколько надо-то, окосел бы враз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком — валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо.

Так сидели они в разговорах о разностях, когда Эдильбай, потчuya гостей шубатом — руки у него длинющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора, — вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку Едигею с того края стола:

— Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежур-

стве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо! Огромная! Как дышло! Вы видели?

— Ну еще бы! Рот разинул! Вот это сила! Вся в огне полыхает и все вверх, вверх, ни конца ей, ни края! Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел.

— Да и я впервые своими глазами увидел, — признался Эдильбай.

— Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и давно не могли увидеть, — решил подшутить Сабитжан над его ростом.

Длинный Эдильбай на это лишь усмехнулся вскользь.

— Да что я, — отмахнулся он. — Смотрю и сам себе не верю — сплошь огонь гудит в вышине! Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути! И давай быстрее крутить транзистор, я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях как на митинге вроде выступает. Аж мурашки по коже! Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это, кого лично видел я в полете. Но так и не узнал.

— А почему? — опережая всех, подивился Сабитжан, многозначительно и важно приподнимая брови. Он уже пачал пьянеть. Распарился, раскраснелся.

— Не знаю. Ничего не сообщили. Я «Маяк» все время на волне держал, ни слова не сказали даже...

— Не может быть! Тут что-то не так! — вызывающе усомнился Сабитжан, быстро запивая еще глоток водки шубатом. — Каждый полет в космос — это мировое событие... Понимаешь? Это наш престиж в науке и политике!

— Не знаю почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже...

— Хм! — покрутил головой Сабитжан. — Будь я на месте, на службе своей, я бы, конечно, знал! Обидно, черт возьми. А возможно, тут что-то не то?

— Кто его знает, что тут то, что не то, а только мне лично обидно, ей-богу, — чистосердечно выкладывал Длинный Эдильбай. — Для меня он вроде свой космонавт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился. То-то будет радости. Вдруг где и встретимся, приятно ведь было бы...

Сабитжан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой:

— А-а, я понимаю! Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента.

— Как это? — покосился Эдильбай.

— Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или на выход на орбиту, и пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио и в газетах. А если нет, то могут и не информировать. Просто научный эксперимент.

— А я-то думал, — Эдильбай огорченно поскреб лоб, — что живой человек полетел.

Все примолкли, несколько разочарованные сабитжановским объяснением, и, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей печально сдвинул его на новый круг:

— Стало быть, как я понял, джигиты, в космос ушла ракета без человека? А кто ей управляет?

— Как кто? — изумленно всплеснул руками Сабитжан и торжествующе глянул на невежественного Едигея. — Там, Едике, все по радио делается. По команде Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракеты. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать... Это, кокетай* дорогой, не на Каранаре ехать по сарозекам, очень там все сложно...

— Вот оно что, скажи, — невнятно проронил Едигей.

Бурному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении радио — это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело: он исполняет указания — делай так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабитжан свои познания. Вот, мол, вы ничего не знаете да еще считаете меня пикчемным, а зять, алкоголик последний, душить меня даже кинулся, а я больше всех вас понимаю в таких делах. «Ну и бог с тобой, — подумал Едигей. — На то мы тебя учили всю жизнь. Должен же

* Кокетай — ласкательно-уменьшительное и в то же время снисходительное обращение.

хоть что-то знать больше нас, неучей». И еще подумалось Буранному Едигею: «А что, если такой человек у власти окажется — заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных ничем не потерпит. Он пока на побегушках состоит, и то как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь, в сарозеках...»

А Сабитжан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить боранлинцев, возможно, с тем, чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах после позорного скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и дело пригублял водку, полглотка да еще полглотка, да все запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные боранлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет.

— Вот посудите сами, — говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным, завораживающим взором, — мы, если разобраться, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю? Прежде люди верили в богов. В Древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги?! Придурки. Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились, а изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы. Сказки. А наши боги — они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей сарозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит, никто не знает, и не положено, не полагается каждому встречному Мыркынбаю-Шыйкымбаю руку совать: здорово, мол, как живешь? Но они настоящие боги! Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап! То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов.

— Постой, постой, как чуть — сразу высшие интересы! — перебил его Длинный Эдильбай. — Ты вот что ска-

жи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду? Так это уже повсюду есть!

— Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки! Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиоволны — так пазываемые биотоки — будут постоянно воздействовать на тебя, на твое сознание. И куда ты тогда денешься?

— Вон как?

— А ты думал! Человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому распорядку. Надо, чтобы ты пел, — сигнал — будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, — сигнал — будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал, — будешь работать, да еще как! Воровство, хулиганство, преступность — все забудется, только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека — все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв, то есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость. С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества.

— Высших интересов? — не без ехидства уточнил Длинный Эдильбай.

— Вот именно, государственные интересы превыше всего.

— А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как?

— Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни на есть раскрасавицу — ты даже глазом не поведешь. Потому что биотоки отрицательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен. Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь — в огонь прыгнет, надо с парашютом — глазом не мигнет, надо взорваться с атомной миной под танком — пожалуйста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан биоток бесстрашия — и все, никаких страхов у человека... Вот как!..

— Ох и врать же горазд! Ну несешь! Чему тебя столько лет учили? — искренне удивлялся Эдильбай.

Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали головами, вот, мол, заливает парень, но, однако же, продолжали слушать — чертовщину несет, но занимательно, неслыханно, хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел, запивая понемногу водку шубатом, какой с него спрос, пусть болтает. Где-то что-то слышал человек, а что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать. Да, но Едигей вдруг стало по-настоящему страшно — неспроста каркает наш болтун, обеспокоился он, ведь он это где-то вычитал или слышал краем уха, ведь он все узнает с лёта, где что неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами, как боги?..

Сабитжан же выдавал без удержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты.

— Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь! Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай, — и с концом. Прямо над Бермудским треугольником самолета как не было, исчез. Не стало его, и все! А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без Бермудских треугольников, живи на собственной земле, при собственном здоровье. Давайте выпьем за наше здоровье!

«Ну пошло! — ругнулся про себя Едигей. — Сейчас он свою любимую присказку вспомнит. Эх, наказание! Как только выпьет, нет ему тормозов!» Так оно и вышло.

— Выпьем за наше здоровье! — повторил Сабитжан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще силясь придать выражению лица своего некую многозначительную важность. — А наше здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как! Не такие уж мы простые, мы государственные люди! И еще я хочу сказать...

Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из дома. Громяхая в темноте на крыльце — то ли порожнее

ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, — он с ходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангап! — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. — Что же это — и смерть не смерть и горе не горе! Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, и хоть бы что! Придумал себе эту чертову сказку — государственное здоровье, и вот так каждый раз. Ну, дай-то бог завтра все честь по чести соблюсти, а как схороним да первые поминки справим, ноги его больше не будет, избавимся, кому он здесь нужен и кто ему нужен?!»

А все-таки порядочно, оказывается, засиделись в доме Длинного Эдильбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных сарозеков. Погода обещала быть на завтра, как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина, озноб прошибает. Оттого и засушливые степи кругом — трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживают. Колючки разные, полынь большей частью да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится, его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг Бурашного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь оттого была иная. Стада, табуны, отары бродили по сарозекам. Давно, паверно, это было, возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы — жуаньжуаны, от которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в сарозеках столько людей. Недаром же Елизаров говорил: сарозеки — позабытая книга степной истории. Он считал, что история Ана-Бейитского кладбища тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, историей признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги еще не писались, тогда как быть?..

Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в сарозеках о своем море, а незадолго

до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал, оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Арал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангап сказал: «Сколько стоит земля — стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает, что уж тут говорить о человеческой жизни». И еще он сказал тогда: «Ты меня схорони на Апа-Бейите, Едигей. А с морем я вижу последний раз!»

Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и пошел в казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, Укубала и с ними другие женщины. Борашлипские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вместе да подсобить в чем, если потребуется.

Проходя мимо загона, Едигей приостановился на мигу возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове оседланный и обряженный в попону с кистями Буранный Каранар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку.

— Ну и здоров же ты!

Уже у самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая отчего, вчерашнюю ночь. Как прибегала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал кинуть в нее камнем и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну...

III

В этот час на Тихом океане, в северных его широтах, было уже утро, восьмой час утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем. И, кроме воды и неба, в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же именно здесь, на борту авианосца «Конвенция», разыгрывалась пока никому за пределами корабля не известная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции «Паритет».

Авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб Обценупра по совместной планетологической про-

граммме «Демидург», — немедленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, не изменил своего постоянного местопребывания южнее Алеутских островов в Тихом океане, а, наоборот, еще точнее скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско.

На самом научном судне тоже произошли некоторые изменения. По указанию Генеральных руководителей программы, американского и советского, оба дежурных оператора блока космической связи — один советский, другой американский, — принявших информацию о чрезвычайном происшествии на «Паритете», были временно, но строго изолированы во избежание утечки сведений о случившемся...

Среди персонала «Конвенции» было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения и пользовалось статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец.

К одиннадцати часам дня с интервалом в пять минут ожидалось прибытие на «Конвенцию» ответственных комиссий обеих сторон, облеченных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира.

Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Такой выбор места был не случаен. Как никогда прежде, на этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демидург», ибо даже местонахождение судна, на котором претворялся в жизнь сообща разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества.

Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся, таким образом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радио-телефонно-телевизионную связь с Невадским и Сарозекским космо-

дромами. На авианосце базировались восемь, по четыре от каждой стороны, реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Обценупру в его повседневных связях с материками. На «Конвенции» были два паритет-капитана — советский и американский: паритет-капитан 1-2 и паритет-капитан 2-1; каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж соответственно дублировался — помощники паритет-капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды...

По той же системе была построена структура научно-технического персонала Обценупра на «Конвенции». Начиная от Генеральных руководителей программы от каждой стороны — Главных паритет-планетологов 1-2 и 2-1, все последующие научные работники всех специальностей также соответственно дублировались, представляя в равной степени обе стороны. Потому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите «Трамплин», называлась «Паритет», отражая суть земных взаимоотношений.

Всему этому, разумеется, предшествовала большая, разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демидург».

Программа «Демидург» ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века — изучение планеты Икс с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немыслимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотня тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникшая в особых условиях Галактики под воздействием длительной планетарной эволюции, на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса, об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы.

Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру, — наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду Иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе подтвердилось буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залежать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии нижерасположенными пластами холодных каменистых пород.

Именно наличие такого огромного количества воды на Иксианской звезде обеспечивало реальность программы «Демидург». Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтезирования других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях, прежде всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загрузкой ее в транскосмические контейнеры.

Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксианскую энергию: на орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам, или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело.

Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и гидрологов, которым предстояло оборудовать постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На «Паритете» уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных «челноков», которые будут курсировать между Иксом и «Паритетом». Со временем, с достройкой блоков, на «Паритете» могли бы разместиться более ста человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли.

В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты...

И этот день близился. И все шло к тому...

На Сарозекском и Невадском космодромах завершились последние приготовления к гидротехнической операции на Иксе. «Паритет», находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию и переборке на Икс первой рабочей группы космических целинников.

По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации...

И именно в этот момент, накануне осуществления заправки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившихся на орбите «Трамплин» с долгосрочной космической вахтой на «Паритете», бесследно исчезли...

Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы — ни в установленное время сеансов связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее — кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции, и канала коррекции ее движения, все остальные системы радиотелевизионной связи бездействовали.

Время шло. «Паритет» не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на «Конвенции» возрастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет-космонавтами? В чем причина их молчания? Не заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей? И вообще, живы ли они?

Наконец было использовано последнее средство — был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающее действие.

Над программой «Демпург» нависала серьезная опасность. И тогда Обценур на «Конвенции» прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К «Паритету» были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами — с Невадского и Сарозекского космодромов.

Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на «Паритет» космонавтов-контролеров, было ошеломляющим: обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закулка, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет-космонавтов. Их здесь не было — ни живых, ни мертвых...

Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившиеся свы-

ше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они! Не выбрались же в открытый космос!

Сеанс обследования «Паритета» проходил при прямой радиотелевизионной связи с «Конвенцией», при непосредственном участии обоих Генеральных соруководителей — Главных паритет-планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов Обценупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи:

«Паритет». Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем.

«Конвенция». Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции?

«Паритет». Нет. Все выглядит как и положено, все в порядке. Все на своем месте.

«Конвенция». Не попадались ли вам на глаза следы крови?

«Паритет». Абсолютно нет.

«Конвенция». Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет-космонавтов?

«Паритет». Да, кажется, все на своем месте.

«Конвенция». А все-таки?

«Паритет». Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книжки, часы, проигрыватель и всякие другие вещи — все на месте.

«Конвенция». Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге?..

«Паритет». Ничего такого на глаза не попадалось. Хотя постойте! Вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему...

«Конвенция». Читайте, что там написано!

«Паритет». Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенных рядом столбцами на английском и русском языках...

«Конвенция». Читайте, что вы медлите!

«Паритет». Заголовок — «Послание землянам». А в скобках — объяснительная записка.

«Конвенция». Стоп. Не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будете готовы.

«Паритет». О'кэй!

В этом месте диалог между орбитальной станцией и Общепупром был приостановлен. Посоветовавшись между собой, Генеральные соруководители программы «Демидург» попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи. Вот текст, оставленный паритет-космонавтами на орбите «Трамплин»:

«Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию «Паритет» при весьма необычных обстоятельствах на неопределенное время, возможно, на бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием, мы считаем своим неперменным долгом объяснить мотивы нашего поступка.

Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт, равный которому трудно представить во всей истории человеческой культуры, позволяет нам рассчитывать по крайней мере на понимание...

Некоторое время тому назад мы стали улавливать среди бесчисленного множества радиоимпульсов, исходящих из космического окружения и в значительной степени от самой земной ионосферы, насыщенной неслыхаемыми шумами и помехами, один направленный радиосигнал в узкочастотной полосе, который, будучи самым узким и потому легко выделяемым, заявлял о себе регулярно, всегда в одно и то же время и всегда с одинаковыми интервалами. Поначалу мы не обращали на него особого внимания. Но он продолжал настойчиво напоминать о себе, систематически исходя из строго определенной точки Вселенной, строго ориентируясь, судя по всему, на нашу орбитальную станцию. Теперь мы определенно знаем: эти искусственно направленные радиоволны поступали в эфир и прежде, задолго до нашей вахты, третьей по счету, ведь «Паритет» находится на орбите «Трамплин» в дальнем космосе вот уже более полутора лет. Трудно объяснить, почему, должно быть, по чистой слу-

чайности, мы первыми заинтересовались подачей этого сигнала из Вселенной. Как бы то ни было, мы стали наблюдать, фиксировать, изучать природу этого явления и постепенно, все больше убеждаясь, пришли к выводу об искусственном его происхождении.

Но не так скоро свыклись мы с этой мыслью. Сомнения не покидали нас все это время. Как могли мы утверждать существование внеземной цивилизации, опираясь лишь на один факт искусственного, как мы полагали, радиосигнала, исходящего из неведомых глубин вселенского мира? Нас удерживало то обстоятельство, что все предыдущие попытки науки, неоднократно предпринимавшиеся с самой минимальной задачей — обнаружения хоть каких-либо признаков жизни, в самой простейшей форме, хотя бы на сопредельных планетах, — как известно, оказались удручающе бесплодными. Поиски внеземного разума считались маловероятным, а позднее попросту нереальным, утопическим занятием, поскольку с каждым новым шагом в исследовании космических пространств этих шансов даже в теоретическом плане становилось все меньше, если не сказать, что они свелись практически к нулю. Мы не отваживались заявлять о своих догадках. Мы не собирались оспаривать повсеместно утвердившуюся идею уникальности, беспрецедентности, единственности как биологического феномена живой жизни лишь на планете Земля. Делиться своими сомнениями на этот счет мы не считали себя обязанными, поскольку в программу наших рабочих обязанностей по орбитальной станции такого рода наблюдения не входили.

А когда еще один случай явился последним доказательством существования во Вселенной разумной жизни помимо земной, для нас было уже поздно. Мы пережили скачок сознания, переворот, преобразование в своих представлениях о мироустройстве и обнаружили вдруг, что стали мыслить совсем иными категориями, чем до этого. Качественно новое осмысление структуры мироздания, открытие нового обитаемого пространства, существование еще одного мощного очага умственной энергии подвели нас к выводу, что до поры до времени нам необходимо воздержаться оповещать землян о нашем открытии, исходя из новых понятий заботы о Земле. Мы пришли к этому решению в интересах самого современного общества.

Теперь о существе дела. Как это произошло.

Любопытства ради мы решили однажды послать от-

ветный целевой радиосигнал примерно в том же спектре частоты, направив его в ту точку Вселенной, откуда постоянно проистекали загадочные регулярные радиоимпульсы. Произошло чудо! Наш сигнал был немедленно принят! Он был уловлен и понят! В ответ на нашей принимающей полосе заработал еще один дубль рядом с прежним, а затем еще один — то было приветственное трио, три синхронных радиосигнала из Вселенной несколько часов кряду, как торжествующий марш, несли с собой ликующую весть о разумных существах вне нашей Галактики, обладающих высочайшей способностью контакта с себе подобными существами на сверхдальних расстояниях. То была революция в наших представлениях о космической биологии, в наших познаниях строения времени, пространства, расстояний... Неужели мы уже не одни на свете, не единственные в своем роде в невообразимо пустынной бесконечности мира, неужели опыт человека на Земле не единственное обретение духа во Вселенной?

Чтобы проверить реальность обнаружения внеземной цивилизации, мы послали направленный радиосигнал формулой массы земного шара, того, на чем изначально возникла и покоится ныне наша жизнь. В ответ мы получили расшифровку — в свою очередь, примерно такую же формулу массы их планеты. Из этого мы сделали вывод, что та обитаемая планета достаточно больших размеров и с вполне приемлемой силой притяжения.

Так мы обменялись первыми знаниями физических законов, так мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума.

Инопланетяне оказались активными партнерами в смысле углубления и сближения наших связей. Их стараниями наши контакты быстро насыщались все новым содержанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают летательными аппаратами, скорость движения которых равна скорости света. Все это и другие вещи мы узнавали благодаря тому, что оказались в состоянии обмениваться мыслями поначалу путем математических и химических формул, а затем они дали нам понять, что умеют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех пор как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают наши языки с помощью мощной аудиоастрономической аппаратуры, глубоко прослушивающей Галактику. Улавливая систематическую радиосвязь между космосом и Зем-

лей, они умудрились путем сопоставлений и анализа расшифровать для себя значение наших слов и фраз. В этом мы убедились сами, когда они попытались объяснить с нами на английском и русском языках. Для нас это было еще одним невероятным, ошеломляющим открытием...

А теперь о самом главном. Мы отважились посетить эту планету веземной цивилизации. Лесная Грудь — так примерно расшифровали мы для себя название их планеты. Лесногрудцы сами пригласили нас, это их идея. И мы по зрелом размышлении решились. Они объяснили нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость света, достигнет нашей орбитальной станции за двадцать шесть — двадцать семь часов. За такое же время лесногрудцы обязуются доставить нас назад, как только мы того пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский летательный аппарат обладает способностью герметического примыкания к любому предмету любой конфигурации и конструкции. Это, должно быть, какое-то свойство электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое лучшее будет для нас, если их летательный аппарат примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, через который мы могли бы переместиться к ним из орбитальной станции. Таким же способом мы намерены вернуться назад, разумеется, если путешествие в Лесногрудю благополучно завершится...

Итак, мы оставляем на борту «Паритета» свое послание, если угодно, объяснительную записку, открытое письмо, обращение... Не в том суть... Мы достаточно трезво понимаем, на что идем и каково бремя ответственности, которую мы возложили на себя. Мы осознаем, что судьбе угодно оказалось предоставить именно нам уникальнейшую возможность сослужить такую службу человечеству, выше которой мы не представляем себе ничего...

И, однако, самым мучительным было для нас преодоление чувства долга, связанности, обязанности, дисциплины, наконец... Того, что воспитано в каждом из нас своими давними традициями, законами, общественными нормами морали. Мы покидаем «Паритет», не ставя в известность вас, руководителей Обценупра, и вообще никого из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с кем и ни в какой форме не потому, что пренебрегаем правилами общественной жизни на Земле. Для нас это было те-

мой самых тяжких размышлений. Мы вынуждены поступить таким образом, ибо нетрудно представить себе, какие настроения, противоречия, страсти разгорятся, как только придут в движение силы, которые даже в каждом лишнем хоккейном голе видят политическую победу и преимущество своей государственной системы. Увы, мы слишком хорошо знаем нашу земную действительность! Кто может поручиться, что возможность контактов с внеземной цивилизацией не станет еще одним поводом для мировой междоусобицы землян?

На Земле трудно или почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Но, находясь продолжительное время — многие дни и недели — в дальнем космосе, откуда земной шар кажется не больше автомобильного колеса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что нынешний энергетический кризис, доводящий общее состояние до неистовства, до отчаяния, приближающего иные страны к желанию схватиться за атомную бомбу, — это всего лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны в состоянии были договориться, что важнее...

Из опасения растревожить, осложнить и без того чреватое опасностями положение землян мы осмелились взять на себя небывалую ответственность — выступить перед лицом носителей внеземного разума от имени всего человеческого рода, в соответствии со своими убеждениями и совестью. Мы надеемся и чувствуем внутреннюю уверенность, что выполним свою добровольную миссию достойным образом.

Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем, чтобы не нанести ущерба программе «Демидург» — этому величайшему начинанию в геокосмической истории человечества, выстраданному нашими странами в результате долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов сотрудничества. И все-таки разум восторжествовал — и мы добросовестно служили нашему общему делу в меру своих сил и способностей. Но, соизмерив одно с другим и не желая подвергать программу «Демидург» испытаниям ввиду вышеизложенных опасений, мы выбрали свое — мы покидаем временно «Паритет», с тем чтобы по возвращении доложить человечеству о результатах посещения планеты Лесная Грудь. Если же мы исчезнем навсегда или же если руководство сочтет нас недостойными продолжать нашу вахту на «Паритете», то заменить

нас будет не так сложно. Всегда найдутся нужные парни, которые будут работать не хуже нас.

Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековая мечта человека открыть себе подобные разумные существа в иных мирах, с тем чтобы разум объединился с разумом. Однако никому не известно, что таит в себе опыт внеземной цивилизации — благо или зло для человечества? Мы постараемся быть объективными в своих оценках. Если же мы почувствуем, что наше открытие несет в себе нечто угрожающее, нечто разрушительное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю никакой беды.

И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет как лучезарный бриллиант в черном море пространства. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда, что все люди, которые живут на свете, все они наши сестры и братья, и без них мы не смеем и мыслить себя, хотя, мы знаем, на самой Земле это далеко не так...

Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько часов нам предстоит покинуть орбиту «Трамплин», и тогда Земля скроется из виду. Инопланетяне-лесногрудцы уже в пути. Вблизи нашей орбиты. Скоро они придут. Через несколько часов. Осталось совсем мало. Идем.

И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень просим вас всех, кто будет иметь отношение к этому делу, передать наши письма по назначению...

P.S. Справка для тех, кто прибудет на «Паритет» на наше место. В вахтенном журнале мы указали приемопередаточный канал и частоту радиоволн, с помощью которых мы вступали в контакт с инопланетянами. При необходимости мы будем связываться с вами по этому каналу и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяснить из имевших место радиообщений с лесногрудцами, самый удобный и единственный способ связи — это бортовые системы орбитальной станции, так как радиосигналы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле, не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой преграды — мощной ионизированной сферы в атмосферном окружении Земли.

Вот и все. Прощайте. Нам пора.

Идентичный текст послания составлен на двух языках — на английском и русском.

Паритет-космонавт 1-2.

Паритет-космонавт 2-1.

Борт орбитальной станции «Паритет».

Третья вахта. 94-е сутки».

Ровно в назначенный срок, в одиннадцать часов по дальневосточному времени, на палубу авианосца «Конвенция» один за другим приземлились два реактивных самолета с особоуполномоченными комиссиями на борту — от американской и советской сторон.

Члены комиссий были встречены строго по протоколу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сразу после обеда членам комиссий предстояло собраться в кают-компанию на закрытое совещание в связи с чрезвычайным положением на орбитальной станции «Паритет».

Но совещание, едва начавшись, было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, паходившиеся на «Паритете», передали Обценупру на «Конвенцию» первое сообщение, полученное ими от паритет-космонавтов 1-2 и 2-1 из соседней Галактики, с планеты Лесная Грудь.

IV

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Что ни говори, а до родового найманского кладбища Апа-Бейит все же не рукой подать — тридцать верст, и то если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сарозекам.

Буранный Едигей поднялся в тот день рано. Да он и

не спал толком. На рассвете только подремал малость. А до этого был занят — готовил покойного Казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего — перед джаназой. А тут пришлось все это совершать почью накануне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь, двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что Длинный Эдильбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторовился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком:

— Ты, это самое, присматривайся, Эдильбай. Пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится.

— Да я-то понимаю, — неуверенно отозвался Эдильбай.

— Вот и я об этом же. Скажем к слову, завтра я помру. Так что, и обрядить никого не найдется? Так и за толкаете меня в какую-нибудь яму?

— Ну почему же! — смутился Эдильбай, присвечивая лампой и пытаюсь освоиться возле покойника. — Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подождет.

Часа полтора ушло на обряжение. Но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника как полагается, руки-ноги выправил и уложил как полагается, белый саван скроил и обрядил в него Казангапа как полагается, не жалея на то полотна. А между делом показал Эдильбаю, как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови, густые, сильные усы. Только вот седина пошла вперемежку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои солдатские, ордена да значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню.

Так и ночь проходила. И все дивился Буранный Едигей самому себе — тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему кто прежде, не поверил бы, что с руки будет и такое прискорбное занятие. Стало быть, на роду предписано так — хоронить Казангапа суждено ему. Судьба.

Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали Едигея после контузии, в конце сорок четвертого. Спаруки вроде бы все в порядке — руки-ноги на месте, голова на плечах, да только голова-то была точно не своя.

Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов — зашатается, голова кругом, тошнит. А сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется — слово выговорить тоже большая работа. Крепко трянуло его взрывной волной от немецкого снаряда. Убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Молодой, здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море — что будет делать, на что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил его, а только осмотрел, прослушал, проверил, как сейчас помнится — здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке, ясноглазый, носатый, весело похлопал его по плечу, посмеялся.

— Видишь ли, — говорит, — браток, война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй темного погоды, повоевал бы ты еще. Да ладно уж. Как-нибудь без тебя дождем до победы. Только ты не сомневайся — через годик, а то и меньше все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока собирайся, езжай в свои края. И не тужи. Такие, как ты, сто лет проживут...

Дело, оказывается, говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто — годик. А как вышел из госпиталя — в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай — да двинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах, в поездах — пароду тьма, кто силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился. Почитай, через месяц скитаний ночью остановился поезд на станции Аральск. «Пятьсот седьмой веселый» прозывался тот «славный» поезд, никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах...

А тогда и тому был рад. Слез впотьмах с вагона как с горы, остановился растерянно, а вокруг ни зги, лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной, аральский ветер! Морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь...

Дыхание перехватило — со стени тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на зааральских просторах. Вот и снова родные края.

Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангельди, расстояние до которого было изрядное. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлопающей полосы на песке. Скрытое тьмой, море угадывалось по неясным бликам, по гребням волн, возникающим шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная — белела одиноким пятном за облаком в вышине.

Вот и свиделись, выходит.

— Здравствуй, Арал, — прошептал Едигей.

А потом присел на камень, закурил, хотя доктора очень не советовали курить при его контузии. Позже он бросил это дурное дело. А тогда разволновался — что там дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море выходить — падо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в шалаанде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид не инвалид, а вообще никуда не годится. И прежде всего голова для рыбацкого дела не годна, это было ясно.

Едигей собирался уже встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее.

— Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя? Арстан? Жолбарс? Борибасар*? А-а, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну молодец, молодец! Только не всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну что ж делать! Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив стался. А теперь вот думаю-гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали... Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли... Пстой, тут вот ле-

* Арстан, жолбарс, борибасар — лев, тигр, волкодав.

денцы есть, для сынишки везу, он у меня бегаёт уже, должно быть...

Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки — вот и весь багаж.

Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя обнадеженно засветившимися глазами.

— Ну а теперь прощай.

Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции, близился рассвет, надо было не задерживаясь пробираться в свой аул Жангельди.

Только к полудню того дня добрался в Жангельди, все время идя берегом моря. А до контузии часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть — сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых. Когда Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба — умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. Заболел краснухой-корью и не вынес жара внутреннего, сгорел, оборвался. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького хлеба. Вернется живой — узнает по приезде, погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники и Укубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей, бог даст. «Ветка обломалась — не беда, главное, чтобы ствол чинары остался цел». И еще соображения были, вслух не высказанные, но всеми понимаемые: если что, война есть война, если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится в последнее мгновение с белым светом — мол, остался дома отпрыск, род на том не пресекается...

А Укубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью неиссякающей, изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили: мол, у ребенка краснуха, штука эта коварная, надо дите потешнее завернуть в одеяла, стеганные из верблюжьей шерсти, да держать в полной темноте, да поить все время водицей

остуженной, а там как бог даст, если выдержит жар, то выживет. А она, невезучая бейбак*, не послушалась аульных старушек. Попросила у соседей телегу да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясушей, то было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее на чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послушать старушек...

Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затоскует с такой силой по малому дитю, по первенцу своему, которого толком и не повяничил. И от этого еще большее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло.

С того и началось. Опостылел Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбой аральской промыслили. Артель стояла. Тем и жили. А теперь остался всего десяток мазпок под обрывом. Мужчин никого — всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Нekomу стало выходить в море.

Укубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта — никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение Жангельди. Но Укубала наотрез отказалась: «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые да малые есть, помогать им буду, продержимся сообща».

Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что неволю ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники Укубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас при отарах в степи. А там здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь... Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тя-

* Бейбак — несчастливица.

гость будет. День-два погостить у близких жениных родственников куда ни шло. А потом, если ты не работяга, кому ты нужен станешь.

И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея — охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. Должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику.

С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных почевали. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется, перебивались разной случайной работой на железной дороге. Укубала тогда выручала — здоровая и молодая, она и работала большей частью. Едигей как мужчина с виду вроде здоровый подряжался на разгрузку и погрузку разную, а Укубала дело делала.

Таким образом очутились они однажды, уже в середине весны, на большой узловой станции Кумбель. Уголь разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным путям прямо на задние дворы деповского хозяйства. Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрее освободить платформы, а потом на тачках перевозили на-гора, ссыпали в бурты, огромные, как дома. Запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едигей накидывал грабаркой тот уголь на тачку, а Укубала отвозила тачку вверх по настилу, там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала, как ломовая лошадь, катила на-гора из последней мочи тяжелый, не по бабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене приходилось, задыхаясь в черной пылище, делать вместо него то, что полагалось делать ему. Тяжко было ему смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете угля, только белки глаз да зубы светятся. А сама вся мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе прежней, разве допустил бы он такое! Сам один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены.

Когда они покидали свой опустевший рыбацкий аул Жангельди, надеясь, что Едигею как раненому фронтовику подыщется какая-нибудь работа подходящая, одного не учли они: что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. И всем им предстояло приспособливаться заново к жизни. Хорошо еще у Едигея уцелели руки и ноги. А сколько увечных — безногих, безруких, на костылях и протезах — слонялось тогда по железным дорогам, Долгими ночами, когда, устроившись где-нибудь в углу в переполненном, смрадном станционном помещении, они переждали ночь, Укубала, заранее испросив прощение, обращала свои безмолвные благодарности богу за то, что муж находится рядом, не покалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. Безногие, безрукие, битые-перебитые люди в донашиваемых шинелях и разной рвани, на колясках, на костылях, с поводырями, бездомные и неприкаянные кочевали по поездкам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содрогая душу пьяным ором и плачами... Что ждало впереди каждого из них, чем было возместить не возмещаемое ничем? И лишь за одно то, что такая беда обошла ее стороной, а ведь могла и не обойти, за то, что муж вернулся пусть и контуженный, но не изувеченный, Укубала готова была отработать всему свету самым тяжким трудом. И потому она не роптала, не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец.

Но Едигею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни. Не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли, а что, если сказать себе «таубакель» * и податься куда в город, а там как повезет? Только бы здоровье вернулось, только бы оклематься от этой проклятой контузии. Тогда еще можно было бы и побороться, постоять за себя... По-всякому могло, конечно, обернуться и в городе, возможно, и приспособились бы со временем и стали бы они горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было распорядиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай...

В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском угольном задворье появился однажды какой-то верховой

* Таубакель — была не была.

казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попасться на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с по-рожным мешком под мышкой.

— Эй, браток, — обратился он к Едигею, проходя мимо, — будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала. Привычка у них дурная — дразнят, бьют скотину. А то и распутать могут для потехи. А я сейчас, ненадолго отлучусь.

— Иди, иди, присмотрю, — пообещал Едигей, орудуя грабаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой.

Пот лил с лица непрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку, что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду. Как-то он уже видел их проделки — до того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плевать да гоняться за ними. А им удовольствие только от этого, и, как первобытные охотники, с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин...

И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись шумная ватага оборванцев примчалась гонять в футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силы по верблюду стреноженному. Верблюд от них, а они мячом по бокам бухают кто сильнее да кто ловчей. Кто попадет — ликует, точно гол забил...

— Эй, вы, а ну прочь отсюда, не приставайте! — помахал им грабаркой Едигей. — А то я вас сейчас!

Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверно, или слишком устрашающим был вид угольного грузчика, а вдруг он к тому же пьяный, тогда несдобровать, и побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда сколько душе угодно, Едигей только для виду пригрозил грабаркой, на самом деле в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться. Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унижительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась. И пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. Укубала то и дело по-

рывалась принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее на верх бурга. Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело...

Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу и уже собираясь отправляться в путь, он подошел к Едигею перекинуться словом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Боранлы-Буранный...

Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их.

Тогда еще ни у кого не возникло и мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Боранлы-Буранный, жить и работать там. Бывает такой тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было, напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким уроком. С виду он был самый обычный казах в повио-ревшей, долго пошенной одежде, принявшей удобные для него формы. Штаны из дубленой козьей шкуры тоже были на нем неспроста — удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам — относительно новая, береженная для выездов форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову и сапоги хромовые, пошенные много лет, были тщательно подлатапы и прошиты дратвой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца и постоянного ветра коричнево-му лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся преждевременно от трудов плечи его могуче обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя роста он был среднего. Удивительные у него были глаза — карие, всепонимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура.

Казангапу тогда уже было лет под сорок. А вполне возможно, так казалось оттого, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего доверие он внушал рассудительностью речи. Укубала сразу прониклась уважением к этому человеку. И все,

что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда — контузия — еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить. Я, говорит, сразу приметил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не окреп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь. Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить вволю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит: ты, мол, старожил здешний, заводи к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, и у нас житей не рай. В тяжком месте пребываем — кругом сарозеки, безлюдье да безводье. Воду привозят в цистерне на неделю. И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степи, в бурдюках ее привозить, утром уедешь, к вечеру только вернешься. А все равно, говорил Казангап, лучше в сарозеках быть на своем отшибе, чем так мытариться по разным местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет, покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете — подадитесь куда получше...

Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, благо сборы у Едигея и Укубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички — и в путь-дорогу. Что им стоило тогда — решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба.

На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до Боранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такыра — иссохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась — заболачивалась, размякала, становясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существо-

вало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по сарозекам Елизарова, с которым впоследствии Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек.

А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направлялся с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Боранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь.

Великие, безбрежные пространства недолговременно зеленющих по весне сарозеков оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Усть-Уртское плато, но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием сарозеков, кто способен был соразмерить величие пустыни с собственным духом. Да, сарозеки велики, но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках.

Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в сарозеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упростили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда: «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы поберечь, не спорь, не задерживай, путь далек впереди...» Верблюд был молодой, еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое шагли рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем едигеевском Каранаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее, за три с половиной — четыре часа резвого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда до Боранлы-Буранного лишь поздно ночью.

Но путь тот в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье-бытье — рассказывал о том, как попал сюда, в сарозекские края, на железную дорогу. Лет-то ему было не так много, оказывается, тридцать шестой пошел в том году, перед окончанием войны. Родом он был из приаральских казахов. Его аул Бешагач отстоял от Жангельди в тридцати километрах по побе-

режью. И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведалься в свой Бешагач. Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по ликвидации кулачества как класса, и тот вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, что попал он под перегиб и что напрасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но было уже поздно. Семья — братья, сестры — разбрелась тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с тех пор как в воду канули. Казангапа, тогда молодого парня, особо ретивые активисты все принуждали выступать на собраниях с осуждением отца, чтобы он сказал принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его был правильно осужден как чуждый элемент, что он отрекается от такого отца и что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле и повсюду им должна быть неперемнная гибель.

Пришлось Казангапу податься в очень дальние края, чтобы избежать того позора. Целых шесть лет проработал он в Бетпак-Дале — в Голодной степи под Самаркандом. Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать под хлопковые плантации. Люди нужны были позарез. Жили в бараках, рыли каналы. Землекопом был, трактористом был, бригадиром был, грамоту почетную получил Казангап за ударный труд. Там и женился. В Голодную степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с семьей брата на бетпак-далинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в Бетпак-Дале и решили вернуться на родину Казангапа, на Аральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на «максимах»*, а когда еще одну пересадку стали делать, на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангап возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался, теперь у него была грамота самого Узбекистана. Не хотелось видеть людей, торжествовавших в злоглумлении над ним. Им пока все сошло

* «Максимы» — так назывались эшелоны, предназначенные для перевозки людей.

с рук, и как было после всего этого спокойно здороваться, делать вид, что ничего не произошло!

Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал, что, кроме него, об этом все уже давно думать забыли. За долгие-долгие годы, следовавшие после приезда в сарозеки, лишь дважды дал он почувствовать, что для него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его, в другой раз Едигей неловко пошутил.

В один из приездов Сабитжана сидели они все за чаем, беседы вели, повести городские слушали. Рассказывал среди прочего Сабитжан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Синьцзян, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах — есть запретили людям дома, только из общего бака три раза в день, и большим и малым в очереди с мисками. Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда как ошпаренные, побросав все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад.

— Что тут хорошего? — помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. С ним такое случалось крайне редко, и так же редко, если не сказать — почти никогда, не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в большие люди. — Зачем ты смеешься над этим? — добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову крови. — Это же беда людская.

— А как же мне говорить? Вот странно! — возразил Сабитжан. — Как есть, так и говорю.

Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым.

— И вообще, на кого обижаться? — удивленно пожимая плечами, заговорил Сабитжан. — Не понимаю. Еще раз повторяю — на кого обижаться? На время — оно неуловимо. На власть — не имеешь права.

— Знаешь, Сабитжан, мое дело — по мне, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, ты своим умом уже дошел, так вот запомни. Только на бога не может быть обиды — если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался, — а за все остальное на земле есть и должен быть спрос! — Казангап встал с места и, не глядя ни на кого, сердито, молча вышел из дома, ушел куда-то...

А в другой раз, уже много лет спустя после кумбельского исхода, когда обновились, обжились в Боранлы-Буранлом, когда народились и выросли дети, загоня под

вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец:

— Разбогатели мы с тобой, Казаке, в пору хоть раскулачивать нас заново!

Казангап метнул на него резкий взгляд, и усы даже оцетинились.

— Ты говори, да не заговаривайся!

— Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?

— Этим не шутят.

— Да брось ты, Казаке. Сто лет прошло...

— В том-то и дело. Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь...

Но в тот день, когда они держали путь по сарозекам из Кумбеля в Боранлы-Буранный, до этих разговоров было еще очень далеко. И еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Боранлы-Буранный, много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытье, и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал, или болезнь какая нашлась?

— Нет, слава богу, здоровый я, — отвечал Казангап, — никаких болезней у меня не было, и воевал бы я, думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому...

После того как не решился Казангап возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в Голодную степь — далеко слишком, да и с какой стати, не стоило тогда уезжать оттуда. На Арал опять же раздумали. А начальник станции, добрая душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Боранлы-Буранный. Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая пара. Записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось даже по сравнению с Голодной степью — там народу было полно, работа кипела, — как ни страшно было в безводных сарозеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на перегонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная жизнь, Казангапа и его молодой жены Букей, на безлюдном сарозекском разъезде Боранлы-Буранный. Правда, раза два в те годы хотели было

они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или к городу, но пока они собирались, тут и война началась.

И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих...

Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков... Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом...

И ни конца, ни края — откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проносились на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами. И все на запад — туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть...

Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. Потребовали на войну. С Кумбеля передали повестку — явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застонал — забирали лучшего путейщика, их и так-то было на Боранлы-Буранном полтора человека. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина... Паровозы режут у семафоров... Засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого — враг под Москвой...

А уже вступала на порог первая военная зима, ранняя, поспешающая сумерками, мгlistая, пробирающая холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел. Сперва редкой порошей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия сарозеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом, сарозекские ветры. То были пока начальные, пробные ветры, потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги, перерезавшей из края в край Серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске? Билась жилка — двигались, двигались поезда в ту и другую сторону...

Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один, без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее рук. К тому времени Айзада уже пародилась. И они пошли, возможно последний раз оставляя рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напоследок довел ее до стрелочной будки, перед тем как сесть на попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торопился, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке, через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком, перепоясанная, в мужниных сапогах, с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу... Промелькнули — лицо, взгляд, рука, семафор...

А поезд тем временем уже мчался, оглашая громыханием молочное заснежье сарозеков, молча наплывающих и молча проносящихся по сторонам как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного степного снега... Казангап старался подольше задержать в легких этот зимний дух сарозекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична...

На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали перекличку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу.

— Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя! Иди за мной!

Как сказано, так и поступил Казангап.

— Я Асанбаев!

— Документы!.. Правильно. Он самый. А теперь за мной.

И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора, тот человек сказал ему:

— Вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к себе. Понял?

— Понял, — ответил Казангап, хотя ничего не понял.

— В таком разе топай, не толкайся тут. Ты свободен.

Казангап остался в гудящей толпе провожающих и отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг пестерпимо жарко стало ему от догадки, мелькнувшей в глубине сознания. Ах вот оно что! И он стал пробиваться через пробку людей к дверям начальника сбора.

— Куда ты, куда лезешь? — закричали те, что тоже хотели попасть к начальнику.

— У меня срочное дело! Эшелон уходит, срочное дело! — И пробился.

В накуренной до сизой мглы комнате, среди телефонов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший человек поднял перекошенное лицо от стола, когда Казангап сунулся к нему.

— Ты чего, по какому вопросу?

— Я не согласен.

— С чем не согласен?

— Отец мой был оправдан как попавший под перегиб. Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оправдан как середняк.

— Постой-постой! Чего тебе надо-то?

— Если меня не берете по этой причине, то это неправильно.

— Слушай, не пори хреновину. Кулак, середняк — кому теперь дело до этого! Ты откуда свалился? Ты кто такой?

— Асанбаев с разъезда Боранлы-Буранный.

Начальник стал заглядывать в списки.

— Так бы и сказал. Морочишь тут голову. Средняк, бедняк, кулак! На тебя бронь! По ошибке вызвали. Есть приказ самого товарища Сталина — железнодорожников не трогать, все остаются на местах. Давай не мешай тут, гони на свой разъезд и дело давай...

Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Боранлы-Буранного. Теперь они снова приближались к железнодорожной линии, уже слышны были гудки пробегающих в ту и другую сторону поездов, и можно было различить составы вагонов. Издали среди сарозеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лога и холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над землей

сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги.

— Вот наш Боранлы! — указал рукой Казангап, оборачиваясь к Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом Укубале. — Теперь немного осталось, скоро доберемся, бог даст. Отдохнете.

Впереди, там, где железная дорога делала чуть заметный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько домиков, а на запасном пути дождался открытия семафора проходящий состав. И дальше и по сторонам чистое поле, пологие увалы, — немое, немереное пространство, степь да степь...

Сердце Едигея упало — сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью! Как тут жить-то?!

Укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял. «Ничего, — говорила она, — главное, чтобы здоровье твое вернулось. А там поживем — увидим...»

Так приближались они к месту, где предстояло им, как оказалось потом, провести долгие годы — всю остальную жизнь.

Вскоре солнце угасло, и уже в темноте, когда ясно и четко обозначилось в сарозекском небе множество звезд, они добрались до Боранлы-Буранного.

Несколько дней жили у Казангапа. А потом отделились. Дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых рабочих, и с того началась их жизнь на новом месте.

При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых порах, безлюдье сарозеков полезными для Едигея оказались две вещи — воздух и верблюжье молоко. Воздух был первозданной чистоты, другой такой девственный мир найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил, дал им на подой одну из двух верблюдиц.

— Мы тут с женой посоветовались, что к чему, — сказал он, — нам своего молока хватает, а вы берите себе на подой нашу Белоголовую. Она верблюдица молодая, удойная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он ваш, мы с женой так порешили — это тебе, Едигей, от меня на развод, для начала. Сбережешь — стадо вокруг него завяжется. Надумаете вдруг уезжать — продашь, деньги будут.

Детеныш у Белоголовой — черноголовый, крошечный, с малюсенькими темными горбиками — родился всего полторы недели назад. И такой трогательно глазастый — огромные, выпуклые, влажные глаза его светились детской лаской и любопытством. Иногда он начинал забавно бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее, когда оставался в загончике, почти человеческим, жалобным голоском. Кто мог бы подумать — это и был будущий Буранный Каранар. Тот самый неутомимый и могучий, который станет со временем знаменитостью округи. С ним окажутся связанными многие события в жизни Буранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном присмотре. Крепко привязался к нему Едигей. Возился с ним все свободное время. К зиме маленький Каранар заметно подрос, и тогда с наступлением холодов сшили ему теплую попонку, застегивающуюся на подборюшье. В этой попонке он был совсем смешной — только голова, шея, ноги да два горбика были снаружи. В том одеянии он ходил всю зиму и начало весны — круглые сутки в степи под открытым небом.

К зиме того года Едигей почувствовал, как постепенно возвращались к нему силы. Даже не заметил, когда перестала голова кружиться. Мало-помалу исчез постоянный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе. А в середине зимы при больших заносах на дороге он уже мог наравне со всеми выходить на аврал. А потом настолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы напористый, забыл даже, как худо да туго было совсем недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжебородого доктора.

В минуты благодушия Едигей, бывало, шутил, обращаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею:

— Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон как подрос на молоке Белоголовой, а я от контузийной немощи избавился, кажется. Дай бог, чтоб навсегда. Разница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал да шубат делал...

Много лет спустя, когда Буранный Каранар достиг такой славы в сарозеках, что приехали какие-то люди специально фотографировать его, а это было, уже когда война забылась, дети учились, когда на разъезде появилась собственная водокачка и проблема воды таким образом была окончательно решена, а Едигей уже дом поставил под железной крышей, — словом, когда жизнь после стольких лишений и мытарств вошла наконец в

свое достойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда и вышел один разговор, который Едигей долго помнил потом.

Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомендовались, конечно же, был редким, если не единственным случаем в истории Боранлы-Буранного. Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на посулы — с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах Буранного Каранара и его хозяев. Шум и суета вокруг Каранару не очень нравились — он раздраженно покрикивал, скрипел зубатой пастью и недоступно задирает голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигея, чтобы он умирал верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Едигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщин и самого Казангапа, чтобы, стало быть, не один он, а все вместе были засняты, полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами. Самый коронный номер был, когда на Буранного Каранара насели все ребята, двое на шею, а еще человек пять на спину, а посередине сам Едигей, — вот, мол, какой силы верблудище! То-то было шума и веселья! Но потом фотокорреспонденты признались, что для них важно заснять атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор!

И тогда фотографы стали снимать Буранного Каранара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как могли и умели, а потом с помощью Едигея и Казангапа стали делать обмеры — замерили высоту в холке, обхват груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь:

— Великолепный бактриан! Вот где гены отлично сработали! Классический тип бактриана! Какая мощная грудь, отличный экстерьер!

Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы, но пришлось спросить, что означали эти непонятные для него слова, «бактриан» например. Оказалось, так называется в науке древняя порода двугорбых верблюдов.

— Значит, он бактриан?

— Редкой чистоты. Алмаз.

— А зачем вам все эти обмеры?

— Для научных данных.

Насчет газет и журналов приезжие, конечно, пыль пустили в глаза боранлинцам для пущей важности, но через полгода прислали бандеролью учебник, предназна-

ченый для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактриан — Буранный Каранар. И фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить — счастливое, отрадное было время. Невзгоды послевоенных лет оставались позади, дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами.

В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех боранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин орса, в котором привозили все, что душе угодно. Лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных сортов, копьяки, колбасы, конфеты и прочее и прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей...

А тогда славно посидели, пили даже за Буранного Каранара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о Каранаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в сарозеках живет его друг Буранный Едигей и что он хозяин самого красивого верблюда на свете — Буранного Каранара! Елизаров, Елизаров! Отличный человек, знаток сарозеков, ученый... Когда Елизаров приезжал в Боранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами на пролет...

Поведали они гостям, то Казангап, то Едигей, продолжая и дополняя друг друга, сарозекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на кладбище Ана-Бейит. Вот ведь откуда вел свой род Буранный Каранар! Боранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого...

Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гор-

дый был Едигей. Оттого и сказал не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано.

— А что, Казаке, признайся, — сказал он Казангапу, — не жалеешь ли, грешным делом, что подарил мне сосунком Каранара?

Казангап глянул на него с усмешкой. Видимо, не ожидал такого. И, помолчав, ответил: .

— Все мы люди, конечно. Но знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный: мал иеси кудайдан *. Это дело от бога. Так суждено. Именно твоим должен быть Каранар, и именно ты его хозяином. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может, и не выжил бы, окошел и мало того что еще могло приключиться. Свалился бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие. И от этой же матки, от Белоголовой, от которой Каранар. А у тебя он был один-единственный, дареный... Дай бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь...

— Ну извини, извини, Казаке, — застыдился Едигей, сожалея, что ляпнул такое.

И в продолжение их разговора поделился Казангап своим наблюдением. По преданию, золотая matka Акмая принесла семерых детенышей — четырех маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого Каранар и уродился таким. От белоголовой матки черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмаи, и с тех пор кто его знает, сколько лет прошло, двести, триста, пятьсот или больше, но в сарозеках род Акмаи не переводится. И нет-нет да появится такой верблюд-сырттан **, как Буравный Каранар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье, народился Каранар и попал в его руки...

А когда пришло время что-то делать с Каранаром — или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убегал, пропадал где-то по нескольку суток, — Казангап прямо сказал Едигею, когда тот стал советоваться с ним:

— Это дело твое. Хочешь спокойной жизни — оскопи.

* Хозяин скотины от бога.

** Сы р т т а н — сверхсущество, например сверхсобака, сверхволк.

Хочешь славы — не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит сил и терпения — подожди, перебудут года три и будет потом за тобой ходить.

Не тронул Едигей Буранного Каранара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были моменты — умывался кровавыми слезами...

V

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Рано утром все было готово. Наглухо запеленатое в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подстлав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру, не позднее пяти-шести часов успеть вернуться с кладбища. Тридцать километров в один конец, да столько же в другой, да захоронение — вот и получается, что поминки справлять придется где-то только около шести вечера. С тем и отправлялись в путь, чтобы успеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера Каранара, Буранный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде — хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки, и на голове выходная железнодорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть Буранный Едигей на похоронах Казангапа.

На проводы собрались все боранлинцы от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины не переставая плакали. Как-то само собой вышло, Буранный Едигей сказал собравшимся:

— Мы сейчас отправляемся на Ана-Бейит, на самое почитаемое старинное кладбище в сарозеках. Покойный Казангап-ата заслужил этого. Он сам завещал похоронить его там. — Едигей задумался, что сказать еще, и продолжил: — Стало быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде ровно сорок четыре года. Можно сказать — всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы возьем его хоронить. Но все равно поезда шли, и путь им был всегда готов. Казангап честно отслужил свой век на Боранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем и незачем ехать. Да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И мы все сделаем как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь, по возвращении все собирайтесь на поминки, зову от имени его детей, вот они — сын и дочь его...

Хотя Едигей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Боранлинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домом. Некоторое время слышался еще громкий плач — то голосили вслед Айзада и Укубала...

И когда смолкли позади выкрики и они вшестером, все дальше уходя от железной дороги, углубились в сарозеки, Буранный Едигей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе, и он знал, что надо делать.

Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом сарозекские просторы. Пока еще было прохладно в степи и ничто внешне не отягощало их движения. В целом мире привычно и недоступно парили в выси только два коршуна да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылышками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят», — отметил про себя Едигей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек. И опять вспомнилась ему почему-то та лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам — не идет

ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над сарозеками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был далек...

Восседая на своем Каранаре, Буранный Едигей ехал впереди, указывая направление на Ана-Бейит. Широким, размашистым тротом шел под ним Каранар, все больше вытягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека Каранар был особенно красив на ходу. Голова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги, длинные и сухожильные, стригли воздух, неутомимо отмеряя шаги по земле. Едигей сидел между горбами прочно, удобно, уверенно. Он был доволен, что Каранар не требовал понуканий, шел, легко и чутко улавливая указания хозяина. Ордена и медали на груди Едигея слегка позванивали на ходу и отсвечивали в лучах солнца. Но это ему не мешало.

Следом за ним катился трактор «Беларусь» с прицепом. В кабине возле молодого тракториста Калибека сидел Сабитжан. Вчера он все же порядочно выпил, занимая бораплинцев всякими байками о радиоуправляемых людях и всякой другой болтовней, а теперь был подавлен и молчалив. Голова Сабитжана болталась из стороны в сторону. Едигей опасался, как бы не разбились его очки. В прицепной тележке рядом с телом Казангапа сидел, пригорюнившись, муж Айзады. Он шурился на солнце и изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алкоголик на сей раз проявил себя с лучшей стороны. Ни капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех делах и при выносе покойника особенно усердствовал, подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примоститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет, — сказал он, — я буду сидеть рядом с тестем, сопровождать его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил, и все боранлинцы. И когда выезжали они с места, то больше всех и громче всех плакали именно он, сидя в прицепной тележке, придерживая войлочный сверток с телом умершего. «А что, вдруг человек возьмется за ум да бросит пить? Какое счастье было бы для Айзады и детей», — обнадежился даже Едигей.

Эту маленькую и странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал колесный экскаватор «Беларусь».

В его кабине ехали Эдильбай и Жумагали. Черный как негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно он управлял этой машиной на разных путевых работах. На Боранлы-Буранном он появился сравнительно недавно, и еще трудно было сказать, надолго ли задержится здесь. Рядом с ним, возвышаясь на целую голову, ехал Длинный Эдильбай. Всю дорогу они о чем-то оживленно разговаривали.

Надо отдать должное начальнику разезда Оспану. Это он выделил на похороны всю наличную технику, которой располагал разезд. Правильно рассудил молодой начальник разезда — если ехать в такую даль да еще вручную копать могилу, вряд ли они успеют обернуться к вечеру, ведь яму нужно вырыть очень глубокую и с подкопом — с боковой нишей по мусульманскому обычаю.

Поначалу Буранного Едигея это предложение несколько озадачило. Ему и в голову не приходило, чтобы вздумалось кому могилу копать не собственными руками, а с помощью экскаватора. Сидел он при этом разговоре перед Оспаном, хмурия лоб в раздумье, полный сомнений. Но Оспан нашел выход, убедил старика:

— Едике, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего не смущало, начните вначале копать вручную. Ну, скажем, первые лопаты. А потом экскаватором в два счета. Грунт в сарозеках ссохшийся, как камень, сами знаете. Экскаватором углубитесь сколько надо, а под конец опять вручную возьметесь, отделку, так сказать, завершите. И время сэкономите, и соблюдете все правила...

И вот теперь по мере удаления в сарозеки Едигей находил совет Оспана вполне разумным и приемлемым. И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так они и поступят, бог даст, достигнув Ана-Бейита. Так и следует — выберут на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной Каабы, начнут для затравки заступом да лопатами, которые они везут с собой в прицепе, а когда чуть углубятся, пустят экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку — казанак — и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрей и верней.

С этой целью они следовали в тот час по сарозекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких логах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин, — впереди Буранный Едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экска-

ватор «Беларусь» со скрепом бульдозерным. впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади.

Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, Едигей, к своему великому изумлению, только сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те на! При выезде из Борацлы-Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экий хитрец! Как приметит, что Едигей на Каранаре отправляется куда-то, уж он выберет момент, прижмнет в попутчики. Вот и в этот раз возник как из-под земли. Бог с ним, решил Едигей. Гнать его назад было уже поздно, да и не стоило терять время из-за собаки. Пусть себе бежит. И, словно бы отгадав мысли хозяйина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку Каранара. Едигей пригрозил ему кнутовищем. Но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу. Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умными, спокойными глазами, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен.

Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на Ана-Бейит. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же, о житье-бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде, другие-то не очень задерживались на Борацлы-Буранном, как приходили, так и уходили. Им с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать на разъезде всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко — молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего.

Однажды на заносах двое суток не покладая рук бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно — не то слово: лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться — и опять за это гиблое сарозекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колеса с верхом. Трое из ново-

прибывших рабочих на вторые сутки ушли. Обматерили сарозекскую жизнь на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестапты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И stem подались, а наутро, когда пошли поезда, свистнули на прощание:

— Эй, дуrolомы, хрен вам в зубы!

Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их, а так случилось, подрались они на том занесе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало невмоготу работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом оставались вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут, твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Едигей на волокуше погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом унали в снег, хоть убей, вконец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.

— Хватит, Казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода, — проговорил Едигей, хлопая одна о другую смерзшимися рукавицами.

— Погда какая была, такой и будет. Все равно наша работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять.

— Да что мы, не люди?

— Не люди — волки да разное зверье — по порам сейчас попрытались.

— Ах ты гад! — взъярился Едигей. — Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь! — И двинул его по скуле.

Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя.

Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним — и на том аминь!

Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к богу, ибо только он один,

неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческого непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверно, и сочинялись молитвы. Ведь до бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, — не соглашаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и говорится в них все то же — чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячелетиями, как слитки золота, — последние из последних слов, которые обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд.

И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать. Оттого, наверно, и сказано — неверующий не вспомнит о боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо.

Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, Буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел — никто из них не знал никаких молитв. Как же они будут хоронить друг друга? Какими словами заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить»? Или еще какую-нибудь ерунду?

Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался Буранный Едигей — на кладбище все равно что на собрании каком: перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же — кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил, а потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познания людей от века в той чередности бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете и после того как будто никто не должен был умереть. Несчастные, они были бессмертны! Так и заявляли вопреки очевидному: «Он ушел в бессмертие!»

Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты Буранного Каранара ему, седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сарозекам на Ана-Бейит как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины.

И все шло, как было задумано. Ни скоро ни тихо, но они преодолели уже треть пути... Буранный Каранар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая повеления хозяина. За ним следовал, тарактя, трактор с прицепом, и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь».

И, однако же, впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек...

Авианосец «Конвенция» находился в тот час на своем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско.

Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало каких-либо атмосферных изменений.

На самом же авианосце все службы находились в напряжении — в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких конкретных причин для этого в реальном окружении не было. Причины были за пределами космоса.

Поступившие на борт «Конвенции» через орбиту «Трамплин» сообщения от паритет-космонавтов с планеты Лесная Грудь привели руководителей Обценупра и членов особоуполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести отдельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих суждений.

Мир еще не знал о беспрецедентном в истории человечества открытии — о существовании внеземной цивилизации на планете Лесная Грудь. Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели пока сведений о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий. На всей территории авианосца был установлен строгий режим — никто, включая авиакрыло, не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к

«Конвенции» в радиусе пятидесяти километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе чем на триста километров к месту нахождения авианосца.

Итак, общее заседание сторон было прервано, и каждая комиссия совместно со своими руководителями программы «Деминург» обсуждала донесения паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, переданные ими с неизвестной науке планеты Лесная Грудь.

Слова их прибыли из немыслимой астрономической дали:

«Слушайте, слушайте!

Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли!

Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия. Однако много общего.

Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы! Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу! Это прекрасные типы гоминидов-инопланетян! Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми пушистыми ресницами.

Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей орбитальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе.

И мы перешагнули из одной цивилизации в другую.

Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени, во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу: «Велком наш Звезда!» И тогда мы поняли, что при проявлении известной чуткости сможем обмениваться мыслями. Эти голубоволосые существа высокого роста, около двух метров, — их было пятеро: четверо мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие.

Трое из них — пилоты летательного аппарата, а один мужчина и женщина — знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиопере-

хвата в космосе английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов. С помощью этого лингвистического запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающем испанский.

Через одиннадцать часов после отлета от «Паритета» мы вышли за пределы Солнечной системы.

Этот переход из нашей звездной системы в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу (видимо, таково было в тот момент расположение и состояние иносистемных тел) постепенно высветлялось алеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалось вдаль в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали по пути несколько планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун пронеслось в обозримых пространствах.

Мы как бы выносились из ночи в день. И вдруг — влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего Солнца в неведомом доселе небе.

— Мы в нашей Галактике! Вот светит наш Держатель! Скоро покажется наша Лесная Грудь! — объявила женщина-лингвист.

И действительно, в неизменной высоте нового космического пространства мы увидели новое для нас Солнце, именуемое Держателем. По интенсивности излучения и величине своей Держатель превосходил наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете Лесная Грудь составляют двадцать восемь часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего.

Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на «Паритет», а сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, на расстоянии пяти-шести тысяч метров от поверхности, — лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет — это зрелище невиданной красоты: горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове, между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в

окраинных, полюсных, — огромные пятна безжизненных пустынь, там стоят пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхаттан не может идти ни в какое сравнение с тем, что являет собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты.

Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности — одиннадцать лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами они считают главной проблемой общества и смыслом существования удлинение жизни. Они живут в среднем сто тридцать — сто пятьдесят лет, а кое-кто доживает и до двухсот лет. Население планеты — свыше десяти миллиардов жителей.

Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизированно изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации. Поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире.

Они умеют добывать энергию — солнечную, или, вернее, держательную, — преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы, а также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха.

Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты, более того — они научились управлять гравитацией, и это помогает им в межзвездных полетах.

Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой, насколько нам известно, мы еще не сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения, в два с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть планеты постепенно становится непригодной для жизни.

В таких местах вымирает все живое. Это явление так называемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты — возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения, — поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой части Лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каждым годом шаг за шагом наступает на жизненное пространство голубоволосых инопланетян. Для них это самое большое бедствие. Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыхания брошены лучшие силы, огромные научные и материальные средства. У них нет Луны в их звездной системе, но они знают о нашей Луне и уже посещали ее. Они предполагают, что наша Луна претерпела, возможно, нечто подобное. Узнав об этом, мы несколько призадумались — от Луны ведь не так далеко до Земли. Готовы ли мы к этой встрече? И каковы могут быть последствия как внешнего, так и внутреннего характера? Не подумают ли люди, что они многое потеряли в своем интеллектуальном развитии из-за вечных неувязок на Земле?

В настоящее время в научных кругах Лесногрудии ведется общепланетная дискуссия — следует ли наращивать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего иссыхания и искать способы приостановки этой потенциальной катастрофы или же следует заблаговременно найти во Вселенной новую планету, отвечающую их жизненным потребностям, и начать со временем массовое переселение на новое местообитание с целью перенесения и возрождения лесногрудской цивилизации. Пока еще не ясно, куда, к какой новой планете устремлены их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете им еще жить да жить миллионы и миллионы лет, однако поразительно, что они уже теперь думают о столь далеко отстоящем будущем и охвачены таким пылом и деятельностью, точно эта проблема непосредственно касается ныне живущего народонаселения. Неужто ни в одной голове не мелькнула подленькая мысль: «А после нас хоть трава не расти»?! Нам стало стыдно, что мы сами подумали об этом нечто подобное, когда узнали, что значительная часть общепланетного валового продукта идет на программу предотвращения внут-

ренного иссыхания недр. Они пытаются установить барьер на протяжении многих тысяч километров — по всей границе тихо наползающей пустыни — путем бурения сверхглубинных скважин, вгоняют в недра такие нейтрализующие долговременные вещества, которые, как полагают они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные реакции планеты.

Разумеется, у них есть и должны быть проблемы общественного бытия, то, чем извечно мучается разум, неся свой тяжкий крест, — проблемы нравственного, морального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно, не так просто протекает общежитие десяти с лишним миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни достигли. Но что самое удивительное при этом — они не знают государства как такового, не знают оружия, не знают, что такое война. Мы затрудняемся сказать — возможно, в историческом прошлом были у них и войны, и государства, и деньги, и все сопутствующие тому категории общественных отношений, однако на данном этапе они не имеют представления о таких институтах насилия, как государство, и таких форм борьбы, как война. Если придется объяснять суть наших бесконечных на Земле войн, не покажется ли им это бессмысленным или, более того, варварским способом решения вопросов?

Вся их жизнь организована на совершенно иных началах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в силу нашего земного стереотипа мышления.

Они достигли такого уровня коллективного планетарного сознания, категорически исключающего войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть наиболее передовая в пределах всего мыслимого пространства во вселенской среде. Возможно, они достигли той степени научного развития, когда гуманизация времени и пространства становится главным смыслом жизнедеятельности разумных существ и тем самым продолжением эволюции мира в ее новой, высшей, бесконечной фазе.

Мы не собираемся сопоставлять несопоставимые вещи. Со временем и на нашей Земле люди придут к столь великому прогрессу, и нам есть чем гордиться уже и сейчас, и все-таки нас не покидает угнетающая мысль: а что, если человечество на Земле пребывает в трагическом заблуждении, уверяя себя, что якобы история — это есть история войн? А что, если этот путь развития был изначально ошибочным, тушиковым? В таком случае куда мы

идем и к чему это приведет нас? И если это так, то успеет ли человечество найти в себе мужество признаться в этом и избежать тотального катаклизма? Оказавшись волею судеб первыми свидетелями внеземной общественной жизни, мы испытываем сложные чувства — страх за будущность землян и надежду, поскольку есть в мире пример великого общежития, поступательное движение которого лежит вне тех форм противоречий, которые разрешаются войнами...

Лесногрудцы знают о существовании Земли в сверхдалеких для них пределах мироздания. Они полны желания вступить в контакт с землянами не только из естественной любознательности, но, как полагают они, прежде всего ради торжества самого феномена разума, ради обмена опытом цивилизаций, ради новой эры в развитии мысли и духа вселенских носителей интеллекта.

Во всем этом они предвидят гораздо большее, чем можно бы подумать. Их интерес к землянам продиктован еще и тем, что в объединении общих усилий этих двух ветвей мирового разума они видят основной путь обеспечения беспредельной продолжительности жизни в природе, имея в виду то, что всякая энергия неминуемо деградирует и любая планета со временем обречена на гибель... Они озабочены проблемой «конца света» на миллиарды лет вперед и уже сейчас разрабатывают космологические проекты организации новой базы обитания для всего живого во Вселенной...

Располагая летательными аппаратами со световой скоростью, они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Но они не желают делать этого без согласия и приглашения самих землян. Они не желают вторгаться на Землю незваными гостями. При этом они дали понять, что давно искали повод для знакомства. С тех пор как наши космические станции превратились в долговременно пребывающие объекты на орбитах, им стало ясно, что приближается пора встречи и что им следует проявить инициативу. Они тщательно готовились, ждали удобного случая. Этот случай выпал на нашу долю, поскольку мы оказались в промежуточной среде — на орбитальной станции...

Наше пребывание на их планете произвело, вполне понятно, невероятную сенсацию. В связи с этим была включена в эфир система глобального телеконтактирования, применяемая лишь по великим праздникам. В светящемся вокруг нас воздухе мы как наяву видели рядом с собой лица и предметы, находящиеся на расстоянии тысяч и

тысяч километров, и одновременно мы могли взаимодействовать — смотреть друг другу в лицо, улыбаться, пожмать руки, разговаривать, радостно, бурно восклицая и смеясь, точно бы это происходило в непосредственном контакте. Какие они красивые, лесногрудцы, и какие все разные, даже цвет голубых волос варьируется от темно-синего до ультрамаринового, а старики седеют, оказывается, так же, как и наши. И типы антропологические тоже разные, ибо они представляют разные этнические группы.

Обо всем этом и о многом другом не менее поразительном мы расскажем по возвращении на «Паритет» или на Землю. А сейчас о самом главном. Лесногрудцы просят нас передать через систему связи «Паритета» их желание посетить нашу планету тогда, когда это будет удобно землянам. А до этого они предлагают согласовать программу устройства промежуточной межзвездной станции, которая вначале послужила бы местом первых предварительных встреч, а в дальнейшем стала бы постоянной базой на пути взаимных следований. Мы обещали довести до сведения своих соплемян эти предложения. Однако нас больше волнует в этой связи другое.

Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланетным встречам, достаточно ли мы зрелы для этого как мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разобщенности и существующих противоречиях выступить в единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от имени всего человеческого рода, от имени всей Земли? Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет передать решение этого вопроса только в ООН. Мы просим при этом не злоупотреблять правом вето, а возможно, на сей раз, как исключение, аннулировать такое право. Нам горько и тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной космической дали, но мы земляне, и мы достаточно хорошо знаем права обитателей нашей планеты Земля.

Наконец, о себе, еще раз о нашем поступке. Мы знаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту.

Пусть это будет на нашей совести, и пусть мы понесем должное наказание. Но забудьте пока об этом. Внемлите! Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе галактической системы — светила Держателя. Голубоволосые лесногрудцы — творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, интересы Земли?..

Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней мере, так нам кажется. Но, переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в нашем бытии, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на Лесногрудской планете, что именно такого сокровенного совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со своими собратьями по разуму, с землянами, в таких формах, как это будет отвечать потребностям и достоинству обеих сторон.

Увлеченные, потрясенные открытием вземной цивилизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы поведать людям обо всем том, чему мы явились свидетелями, оказавшись в запредельной Галактике, на одной из планет системы светила Держатель.

Мы намерены через двадцать восемь часов, то есть ровно через сутки после данного сеанса радиосвязи, вылететь в обратный путь на наш «Паритет». Прибыв на «Паритет», мы предоставим себя в полное распоряжение Обществу.

А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим о времени нашего прибытия на «Паритет».

На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались...

Паритет-космонавт 1-2.
Паритет-космонавт 2-1».

Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в противоположную сторону — на Владивосток.

Авианосец «Конвенция» находился все там же, в районе своего постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее Алеутов... На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый начеку... И все хранили молчание...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Уже пройдена треть пути на Ана-Бейит. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь вроде застыло на одной точке над сарозеками. Значит, день стал днем. Стало по-дневному припекать.

Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные доли, Буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку.

«Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука — хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца, наверное, пока не помрешь!» Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время, беспрестанно о чем-то думает в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, маль-

чишке, превратиться в чайку и летать над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода.

Предосенние сарозеки с их пронзительной, грустной открытостью, мерный топот рыскающего верблюда настраивали Буранного Едигея на дорожные раздумья, и он предавался им не сопротивляясь, благо впереди путь был длинный и ничто не нарушало их продвижения. Каранар, как всегда на больших расстояниях, разогревался при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну, — удовлетворенно усмехался про себя Едигей, — значит, ты уже весь в мыле! И промеж ног в мыле! Ух ты зверюга, жеребчина эдакий! Дурной ты, дурной!»

Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангап был еще в силе и здравии, и в той цепи воспоминаний нагрянула на него нектати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогли. Он нашептывал их вслух снова и снова, повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел Буранный Едигей, без надобности приударяя то и дело по бокам усердно трусившего верблюда, козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. Пусть едут следом, не отстают, какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории, о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд Боранлы-Буранный...

В году том, пятьдесят первом, уже в самом конце зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей — мальчуганы. Старшему, Даулу, лет пять, а младшему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип Куттыбаев был ровесник Едигею. Он еще до войны, молодым парнем, год учительствовал в аульной школе, а летом в сорок первом в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в сарозеки, на Боранлы-Буранный.

То, что они не от хорошей жизни очутились в сарозекской глухомани, стало ясно сразу. Абуталип и Зарипа могли бы вполне устроиться на работу и в других местах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого

выхода у них не было. Поначалу боранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут куда глаза глядят. Не такие прибывали и убывали из Боранлы-Буранного. Этого мнения придерживались и он, Едигей, и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилось тем не менее сразу уважительное. Порядочные, культурные люди. Бедствующие. Работали как и все — и муж и жена. И шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. В общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И, надо сказать, хорошая, ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталип, оказывается, был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до боранлинцев, то они не стали себе голову ломать. Ну был человек в плену так был, война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. Иные вон по сей день мыкаются по свету как неприкаянные. Призрак войны все еще шастает по пятам... И потому боранлинцы расспросами по такому поводу особенно не донимали приезжих, зачем душу людям травить, и без того хлебнули, должно быть, горя через край.

А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек. Едигея привлекало в нем то, что Абуталип в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что это судьба, выпавшая ему на долю. Жена его Зарипа, должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне с неизбежностью расплаты, они находили смысл жизни в какой-то необычной чуткости, близости друг другу. Как понял потом Едигей, этим они жили, этим они защищались, взаимно заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья, — для него это было все. Каждую свободную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек поначалу оставляли одних в бараке. Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо удобней, чем у новоприезжих.

Это-то и сблизило их семьи. Ведь у Едигея в те годы тоже подрастали дети, две девчущки, как раз одноклассники с абуталиповскими ребятами.

Зайдя как-то за своими малышами после работы на перегоне, Абуталип предложил:

— Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь, на отшибе, конечно, скудная, так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуются сызмальства. Теперешний вот такой человек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень. А иначе к образованию и не пробьешься.

И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буранный Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абуталипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в боранлинских условиях. Он как знал, он спешил дать им от себя как можно больше, он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип приходил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и Едигеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревновались, у кого лучше получится, слушали книги, которые читали им родители, и даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И Укубала забегала частенько вроде как по делу, а в действительности чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся Буранный Едигей. Душа его умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя! Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в стороне. А когда приходил, то с порога снимал шапку:

— Добрый вечер! Вот и пятый ученик ваш появился в детсад.

И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень старались. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы.

Вот такая семья приютилась в том году на Боранлы-

Буранном. Но что странно — таким людям обычно не везет.

Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, но, на счастье или несчастье свое, совершив побег вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в сорок третьем году в рядах югославских партизан. В югославской освободительной армии Абуталип провоевал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в проверочно-фильтрационной комиссии по возвращении на Родину в сорок пятом году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а было двенадцать. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская проверочная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделений освободительной армии Югославии и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами.

В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталип Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались демобилизованным. Абуталип Куттыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе. И здесь в одной райцентровской школе встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья, редко, но бывают. Не без этого в жизни.

А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованием в воздухе замелькали первые снежинки «холодной войны». А потом покрепчало. И сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках...

На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-то другим, ему подобным.

Рассказывая ученикам восьмого класса о европейской части света, Абуталип Куттыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские Альпы на каменоломни и как оттуда им удалось, разору-

жив охрану, бежать к югославским партизанам, рассказал, что он прошел пол-Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, с жизнью местного населения и что все это в учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца.

Его указка ходила по сине-зелено-коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске, его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обагрив кровью траву и камни, та алая кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь, как закружилась тогда голова и потемнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь, падали горы и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменноломен: «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови.

Рассказывая ученикам о европейской части света, Абу-талип Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии.

И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь:

— Агай *, значит, вы были в плену?

На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто, он стоял по стойке «смирно», и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы, у него был обратный прикус — нижний ряд зубов перекрывал, выступая, верхний ряд.

— Да, а что?

— А почему вы не застрелились?

* Агай — учитель.

— А почему у нужно было убить себя? Я и так был рапен.

— А потому, что недопустимо сдаваться во вражеский плен, есть такой приказ!

— Чей приказ?

— Приказ свыше.

— Откуда это тебе известно?

— Я все знаю. У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше?

— А твой отец был на войне?

— Нет, он занимался мобилизацией.

— Тогда нам с тобой трудно объясниться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было.

— Все равно вы должны были выполнить приказ.

— А ты чего придираешься? — С места поднялся другой ученик. — Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо?

— Все равно он должен был выполнить приказ свыше! — категорически утверждал тот.

И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина: «Должен был!», «Не должен!», «Мог!», «Не мог!», «Правильно!», «Неправильно!» Учитель грохнул кулаком о стол:

— Прекратите разговоры! Идет урок географии! Как я воевал и что со мной было, это знают кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте!

И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель медленно покотился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы...

Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию: бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульной школе. Вроде прижились, с жильем уладилось, Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события сорок восьмого года, связанные с Югославией. Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только как на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, долгое время пребывавшую за границей. И хотя

он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в районо, и опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному желанию...

Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце пятидесяти первого года среди зимы очутилась в сарозеках, на разъезде Боранлы-Буранный.

В пятьдесят втором году лето выдалось знойное сверх обычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что сарозекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, прибегали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами — лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поисках прохлады забирались невзвезд в какую высь — их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкриками и надолго умелкали затем в горячем, зыблящемся мареве.

Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Сколько поездов разминулось на Боранлы-Буранном. Никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали.

И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах, голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась почти кипяченой. Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в сарозеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару.

Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа.

— Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний, — оправдывался он, точно бы сам был в том повинен. — Еще дней пятнадцать, двадцать от силы, и полегчает, спадет жара. Будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут, в сарозеках, к концу лета перелом, враз меняется погода. И тогда всю осень вплоть до самой зимы благодать — прохлада стоит, скот тело наби-

рает. Сдается мне — на то приметы есть, — в этом году будет такой оборот. Так что потерпите, осень будет хорошая.

— Значит, гарантируешь? — понимающе улыбался Абуталип.

— Можно сказать, почти.

— И на том спасибо. Вот я сижу сейчас как в бане. Но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко... Смотреть не могу...

Дети боранлищев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого дерева вокруг, ни ручейка, так необходимых детскому миру. Весной, когда сарозеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, то-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса.

Лето сокрушило все. И ребят непоседливых сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывая оттуда, только когда проходили поезда. Это было их развлечением — подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных. А когда пассажирские составы, проходя через разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то поезд останется ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла, и тяжко было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-боранлищцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настезь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса.

За детей они все переживали тем летом, все взрослые, отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, понимал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зарипой как раз и случился у них первый разговор об этом. В том разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих.

Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли опол-

зающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками, в промежутках между проходящими поездами. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталип взял опустевший бидон и пошел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята.

Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то, что падало. Спешил побыстрее к детишкам, ему было не до себя. Вылинявшая майка неопределенного грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи, на голове пожухлая соломенная шляпа, штаны болтались на исхудавшем теле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, то даже не оглянулся.

— Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?! — крикнул Едигей.

Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на проносящийся мимо состав. И не видел, как грозил ему кулаком машинист.

На войне, в плену, человек не поседел, помоложе, конечно, был, на фронт уходил девятнадцати лет, младшим лейтенантом. А тем летом седина пошла. Сарозекская. Причем быстро замелькала непрошеной белизной то там, то тут в плотной, густой, гривастой шевелюре и на висках стала преобладать, поседели виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным мужчиной. Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми, удлинненными глазами, был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Отелло играть на сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я тебя придушил как последний идиот, зачем это тебе надо!»

Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади поезд встревожила Едигея не на шутку.

— Ты бы сказала ему, что ж он так, — полуупрекая, сказал он Зарипе. — Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать?

Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица.

— Боюсь я за него.

— А что?

— Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя. Казнится

он и за детей и за меня. Ведь когда я выходила замуж, не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь, и дети твои и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это самый лучший выход для него!» А мы поступили по-своему. Надеялись: раз кончилась война, какие счета у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от его и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака. И что он ничего общего не имеет со мной и тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время за границей, как Абуталип Куттыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот теперь мы здесь, дальше пекуда.

Она замолчала, ожесточенно подгрывая битый гравий под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они сошли с линии, унося с собой лопаты и носилки.

Едигей чувствовал, что должен чем-то помочь, когда люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить, беда была далеко за пределами его сарозеков.

— Мы тут живем уже много лет. И вы привыкнете, приспособитесь. А жить надо, — подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал: «Да-а, горек сарозекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицая была еще, а теперь лицо как земля, — отмечал он, сожалея о ее меркнувшей на глазах красоте. — Волосы какие были — выгорели, ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались. Совсем худо ей. Непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается. А куда теперь отступать — двое детей. Все равно молодец...»

Тем временем, взвихривая жгучее стояние воздуха, протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно — продолжить работу.

— Слушай, Зарипа, — сказал Едигей, пытаюсь как-то укрепить ее дух, примирить с реальностью. — Для детей тут, конечно, тяжело, не спорю. У самого, как посмотрю на ребятшек наших, сердце болит. Но ведь не век жара будет колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать, вы здесь не одни, в сарозеках, люди есть вокруг, мы есть,

на худой конец. Что ж теперь убиваться, раз так случилось в жизни.

— Вот и я об этом говорю ему, Едике. Я ведь стараюсь не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему.

— И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, Зарица. Случая ждал. Да ты сама все знаешь. Просто к слову пришлось. Извини.

— Бывает, конечно, невмоготу. И себя жалко, и его жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить, в наших краях, среди алатауских гор и рек, совсем другая жизнь и климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда. Но к кому? Стариков у нас нет, рано поумирали. Братья, сестры, родственники... Их тоже трудно судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся, боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково ему... Что нас ждет впереди, одному богу известно...

Они тяжело замолчали. И потом уже не возвращались к этому разговору. Работали, пропускали поезда по линии и снова брались за дело. А что оставалось? Как еще было утешить, как помочь им в их беде? «Конечно, по миру не пойдешь, — думал Едигей, — жить им будет на что, вдвоем работают. Насильно их вроде никто не заточал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни послезавтра».

И еще удивлялся Едигей самому себе, своей обиде и горечи за ту семью, будто бы их история касалась лично его. Кто они ему? Мог же он сказать себе — дело это не его ума, ему-то, собственно, что? Да и кто он есть такой, чтобы судить да рядить о неположенных ему вещах? Работяга, степняк, каким несть числа на свете, ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни. Ведь наверняка там, откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за нее, Зарицу. Удивляли и покоряли его ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с невгодами. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая поплакала бы, по-

плакала да покорилась бы, поклонилась родне. А она расплачивалась на равных с мужем за прошлое войны. Именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа... Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Боранлы-Буранном. Зачем ему эти переживания? Не знал бы, не ведал ничего такого и жил спокойно, как прежде...

VI

Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алеутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низовий Американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядом, грядами одну к другой. Это предвещало если не шторм, то долговременное волнение.

Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов особоуполномоченных комиссий после консультаций с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел сан-францисский, а затем владивостокский лайнер.

Комиссии вернулись в полном составе, одинаково молчаливые и озабоченные. Через пятнадцать минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через пять минут после начала работы комиссий в космос, на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи паритет-космонавтам 1-2 и 2-1 в Галактику Держателя срочная шифрованная радиограмма: «Космонавтам-контролерам 1-2 и 2-1 орбитальной станции «Паритет». Предупредить паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий. Остаться на месте до особого указания Обценупра».

После этого, не теряя ни минуты, особоуполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и

предложений сторон по разрешению космического кризиса...

Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озекы, Серединовые земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Оставалось еще часа два пути до кладбища Ана-Бейит. Похоронная процессия двигалась по сарозекам тем же манером. Указуя направление, впереди восседал на верблюде Буранный Едигей. Его Каранар все так же шел в голове размашистым неутомимым ходом, следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, и за ними — экскаватор «Беларусь». А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловито и уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс.

Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие сарозеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитали недоброй памяти жуаньжуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти всю сарозекскую округу. Жили в этих местах и другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и победители и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что сарозеки как жизненные пространства стояли этой борьбы. Тогда здесь выпа-

дало гораздо больше дождей и весной и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился — перестали выпадать дожди, пересохли колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на сарозеки народы и племена кто куда, а жуаньжуаны вовсе исчезли. Двинулись к Эдилю — так называлась тогда Волга — и канули в приэдилской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятье, — когда переходили они скопом Эдилъ зимой, лед на реке вдруг раздвинулся и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед...

Коренные сарозекцы — казахские номады — и в те времена не покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для сарозеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины-водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в сарозеках — колхозы и совхозы прилегающих областей — подумывали уже об устройстве постоянных сарозекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйствам такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Ана-Бейита город без названия — Почтовый ящик. Так и говорили — поехал в Почтовый ящик, был в Почтовом ящике, купили в Почтовом ящике, видел в Почтовом ящике... Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой — с железнодорожной станцией. С того и началось новое, индустриальное заселение сарозеков. От всего прошлого в той стороне только и осталось кладбище Ана-Бейит на двух соприкасающихся, как верблюжьих горбы, пригорках-близнецах — Эгиз-Тюбе, самое почитаемое место захоронения во всей сарозекской округе. В старые времена хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Ана-Бейите законно гордились тем, что оказали памяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу и словом и делом.

Елизаров, тот все знал, он называл это место сарозекским пантеоном.

Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разъезда Боранлы-Буранный...

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуанцы, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуанцы оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убийщики-жуаньжуанцы забивали поблизости матерого верблюда. Освежившая верблюжью шкуру, первым делом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники плененных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека.

И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит — Материнский упокой.

Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопровождались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставляли в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило — в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободно-го соплеменника.

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное — восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением — ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как

собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей — и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал...

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вдоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немислимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в иступленном горе и отчаянии:

«Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба на губы упала, — стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире?»

Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял среди пустыни, когда ты орал и метался, взывая к богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела,

перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной, — проклял ли ты из последних сил бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире?

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы померкло, что тебе улыбалась стыдливо, — разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятьем за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?..»

История эта относилась к тем временам, когда, вытесненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья.

В одно из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они сарозекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуаньжуанов, и упомянули о том, что встретили в сарозеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверно, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем недурен, а обмолвился словом — вроде как вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним

сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем ни спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем ни ночью, в шапке спят... И, однако, продолжали гости, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал — зорко следил, пока караванчики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощание того манкурта:

— Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стороне? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?

Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил:

— Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга... Там кто-то сидит...

При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана. Под этим именем осталась она в сарозекской легенде.

Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней порасспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась — узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу... Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом, никому же дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе, и только пониже опустила на лицо черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.

Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман-Ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная, страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже

затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани... И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.

Ее сын был убит в одном из сражений с жуаньжуанами в сарозекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремях, и он повис замертво сбоку коня, а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий, кровопролитный бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдогонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуанов, находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненный, повернул назад, и едва успел прискакать в свои ряды, здесь рухнул наземь. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже не было дела до того, что случилось с их молодым ратником, с сыном Найман-Аны... Раненый найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказывал потом, что, когда они ринулись за ним вослед, конь, поволочивший ее сына, быстро скрылся из виду в неизвестном направлении...

Несколько дней подряд выезжали найманы на поиски тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи раненным, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных сарозеках. То был позор для всех. Женщины, го-

лосившие в юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, причитая:

— Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смее вы после этого ходить в мужских шапках на головах!..

И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не предано земле, не давали ей мира и покоя. Терзалась мать горькими, неиссякающими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и не к кому было обратиться, кроме как к самому богу...

Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедиться собственными глазами в том, что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремяни. И тогда, как ни страшно то было бы, искричалась, исплакалась, навылась бы она над останками и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению... И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадыю, где остались сбруя, оружие — по ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что случилось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремяни, — зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..

Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы

обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в сарозеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивей, все сильнее завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедится, что то не сын ее.

В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман-Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги, перед тем как двинуться в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как опасно и рискованно отправляться в сарозеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надирать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека...

Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножиям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышались собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переключки поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни... В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах: и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты — одну кухонную, одну гостиную и две жилых, — и потом; после нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна...

Теперь и она покидала свою одинокую юрту... Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды

брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских местах... Еще с вечера стояла на приколе поблизости от орт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмай! В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанная от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, хватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стояла целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище, золотая матка в руках Найман-Аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши — поминки по погибшим... По сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа, всех найманов ближайшей округи.

На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана, как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях — уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери — морщины, глубоко избородившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», — прошептала она первую строку молитвы (нет бога кроме бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, осадив ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для

острастки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустила грудь на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла — ей предстоит дорога...

Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам — родственникам по девичеству — погостить и что оттуда, если будут паломники, отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклонится храму святого Яссави...

Она выехала порापьше, чтобы никто не докучал распросами. Удалившись от аула, Найман-Ана повернула в сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей...

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

С борга авианосца «Конвенция» пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически-предупредительном тоне предлагалось не вступать с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, пребывающими вне Солнечной Галактики, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указаний Обденупра.

На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунила-играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белоленистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием.

Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были начеку — в полной готовности.

Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила рысцей белая верблюдица Акмая по логом и равнинам великой сарозекской степи, а хозяйка все погоняла и поучкала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках сарозеков. Именно в этой части Серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва Малакумдычап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта, которого теперь разыскивала Найман-Ана. Вот уже второй день кружила она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но сколько она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь да степь, обманчивые миражи. Однажды уже поддавшись такому видению, проделала большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке? И тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать... Тягостно было в пустыне, оттого и примерещилось такое.

Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное, человек здесь песчинка, но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.

Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое место или более того — не отправили ли жуаньжуаны этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?.. Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала — лишь бы увидеть в живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой... Разве этого мало! Но, углубляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие

здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе... Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в сарозеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило...

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

— Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! — Она бросилась к нему как через чащобу, разделяющую их. — Я твоя мать!

И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его

взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь то же так просто — узнать собственную мать!

Но ее появление не произвело на него никакого действия; точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными.

— Садись, поговорим, — с тяжелым вздохом сказала Найман-Ана.

И они сели на землю.

— Ты узнаешь меня? — спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

— А как тебя звать?

— Манкурт, — ответил он.

— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть.

— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

— Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, — проговорила она вслух, — но кто придумал, кто смеет покушаться на память челове-

ка?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о сарозекской истории...

И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:

— Мен ботасы олген боз мая,
Тулыбын келип искеген *...

И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозек...

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть.

— Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты — Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман...

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

И тогда Найман-Ана спросила сына-манкурта:

— А что было до того, как ты пришел сюда?

— Ничего не было, — сказал он.

— Ночь была или день?

— Ничего не было, — сказал он.

— С кем ты хотел бы разговаривать?

— С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.

— А что ты еще хотел бы?

— Косу на голове, как у хозяина.

— Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой, — потянулась Найман-Ана.

Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует.

В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

* Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблужонка, пабитого соломой.

— Кто это? — спросила Найман-Ана.

— Он везет мне еду, — ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел ее. Она осадилла свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

— Ты ничего не говори. Я скоро приеду, — сказала Найман-Ана.

Сын не ответил. Ему было все равно.

Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньжуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прятаясь между пасущимися животными.

Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага. И отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот жуаньжуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуаньжуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, — куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую. И в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Не ровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела жуаньжуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая, черная сухая коса, плетенная в два зуба. Жуаньжуан привстал на стременах, держа наготове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий ее семье. Но что могла она, небооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? Но думалась ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости — вытравить память раба...

Порыскав взад-вперед, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще дол-

го держалось над степью. Потом разом смерклось. И наступила глухая ночь.

В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемычного сыпа-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний жуаньжуан мог остаться на ночь при стаде.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает, что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство...

Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, она окликнула сына по имени:

— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!

Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос.

Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.

— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! — умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан*. Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.

И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:

— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!

Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.

Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появи-

* Жоламан — имя, образованное от двух слов: «жол» — путь, «аман» — здоровье; по смыслу — будь здоров в пути.

лось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда не отлучится от стада...

И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:

— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!

Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада спать появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он сказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разогняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недосыгаемой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони.

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:

— Она говорила, что она моя мать.

— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озиаться вокруг, как зверь.

— Да ты не бойся! На-ка, держи! — Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

— А ну целься! — Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. — Смотри! — удивился владеец шляпы. — В руке память осталась!

Как птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана по сарозекским окрестностям. И не знала, как быть, чего

ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить? Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытым местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядом, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдаль, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть — не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства...

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логом и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль... Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле...

— Жоламан! Сын мой, Жоламан, где ты? — стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. —

Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было по-пукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!»

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит — Материнским упокоем...

От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний Буранный Каранар.

Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в сарозеках после гибели Найман-Аны.

Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет... Буранный Каранар стоил того... Сколько уже было испытаний и в добрые и в худые дни — и всегда Каранар вызволял из трудностей... Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет, в самые холода всегда это с ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зима лютует и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни... Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей тот случай Буранному Каранару... Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон... Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное, это ведь к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хорошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто знает, как бы все вышло.

Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством бывшего счастья. Как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже сарозекские ящерицы прибежали на порог жилища, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать прохлада, по крайней мере по ночам можно было уже спокойно спать. Бывает такая благодать в сарозеках, год на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны. Всегда суровы, а лето иной раз и поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху протекают огромные незримые реки с берегами своими и разливами. Эти реки, находясь в непрерывном обороте, якобы омывают земной шар. И, вся окутанная ветрами, Земля плывет по кругам своим, и вот то и есть течение времени. Любопытно было послушать Елизарова. Таких людей не сыскать, редкой души человек. Уважал его Буранный Едигей, Елизарова, и тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в сарозеки облегчительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где, бог знает как далеко, но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход; в Индию, в Пакистан она не попадает, там жара так и остается жарой, а над сарозеками растекается обратным ходом, потому что сарозеки, подобно морю, открытое беспрепятственное пространство... И приносит та река прохладу с Гималаев...

Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла в том году в конце лета и начале осени. Дожди в сарозеках — редкое явление. Каждый дождь можно запомнить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволкло тучами, даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего, истоявшегося сарозекского неба. И стало парить, духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии разъезда оста-

вались после разгрузки от гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требуют в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все налегли — Казангап, Абуталип, Зарипа, Укубала, Букей, все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело. Ведь тогда все вручную приходилось делать. Ох и жара стояла! Надо же, угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили — дома детишки от жары изнывали. Остались мужики, в жилу вытянулись, но доделали все.

А на другой день, как раз как быть дождю, порожняк с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока маневрировали да сцепляли вагоны, задыхался Едигей от духоты, как в бане солдатской. Лучше уж солнце жарило бы. А машинист какой-то попался — все тянет да тянет, в час по чайной ложке. А тут ходи в три погребели под вагонами. И обложил Едигей того машиниста матом как следует. А тот тем же ответил. Ему тоже несладко у топки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, товарняк. Утащил порожние платформы. И тут ливень хлынул разом. Прорвало. Земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырьях и лужах. И пошел, и пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гималаев... Ух какие Гималаи! Какая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу. Привычка. А не то зачем было скрываться от такого дождя? Он понял это и остановился, когда увидел, как вся семья Куттыбаевых — Абуталип, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, — схватившись за руки, плясала и прыгала под дождем возле своего барака. И это потрясло Едигея. Не оттого, что они резвились и радовались дождю. А оттого, что еще перед началом дождя Абуталип и Зарипа поспешили, широко перешагивая через пути, с работы. Теперь он понял. Они хотели быть все вместе под дождем, с детьми, всей семьей. Едигею такое не пришло бы в голову. А они, купаясь в потоках ливня, плясали, шумели, как гуси залетные на Аральском море! То был

праздник для них, отдушина с неба. Так истосковались, истомились в сарозеках по дождю. И отраднo стало Едигею, и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляющихся за какую-то светлую минуту на разъезде Боранлы-Буранный.

— Едигей! Давай с нами! — закричал сквозь потоки дождя Абуталип и замахал руками, как пловец.

— Дядя Едигей! — в свою очередь, обрадованно кинулись к нему мальчики.

Младшенький, ему всего-то шел третий год, Эрмек, любимец Едигея, бежал к нему, раскинув объятия, с широко открытым ртом, захлебываясь в дожде. Его глаза были полны неопиcуемой радости, геройства и озорства. Едигей подхватил его, закружил на руках. И не знал, как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едигея — Сауле и Шарапат. Они прибежали на шум Куттыбаевых. Они тоже были счастливы. «Папа, давай бегать!» — потребовали они. И это решило колебания Едигея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем.

Едигей не спускал с рук маленького Эрмека, опасаясь, что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абуталип посадил к себе на спину его младшенькую — Шарапат. И так они бегали, устроив для детей потеху. Эрмек подпрыгивал на руках Едигея, кричал всюю и, когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едигея. Это было так трогательно, Едигей несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгляды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девчушкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затейной семьей Куттыбаевых. И невольно обратил внимание Едигей, какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая ее от макушки до пят, ниспадающая вода щедро струилась по упругому, молодому телу женщины, выделяя ее шею, руки, бедра, икры босых ног. А глаза сияли радостью, задором. И белые зубы счастливо сверкали.

Для сарозеков дождь — не в коня корм. Снега постепенно пропитываются в почву. А дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности в овраги да в балки. Взбурлит, прошумит — и нет его.

Уже через несколько минут при том большом ливне зыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, вспененные.

И тогда боранлинцы стали бегать и прыгать по ручьям, пускать тазы и корыта по воде. Старшие ребяташки, Даул и Сауле, даже катались по ручьям в тазах. Пришлось и младших тоже усаживать в корыта, и они тоже поплыли...

А дождь все шел. Увлеченные плаванием в тазах, они оказались у самых путей, под насыпью, в начале разъезда. В это время проходил через Боранлы-Буранный пассажирский состав. Люди, высунувшись чуть ли не по пояс в настежь открытые окна и двери поезда, глазели на них, на несчастных чудаков пустыни. Они что-то кричали им вроде: «Эй, не утоните!» — свистели, смеялись. Уж очень странный, наверно, был вид у них. И поезд проследовал, омываемый ливнем, унося тех, кто через день или два, может, станет рассказывать об увиденном, чтобы потешить людей.

Едигей ничего этого не подумал бы, если бы ему не показалось, что Зарипа плачет. Когда по лицу стекают струи воды как из ведра, трудно сказать, плачет человек или нет. И все-таки Зарипа плакала. Она притворялась, что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдерживая всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами. Абуталип беспокойно схватил ее за руку:

— Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой.

— Да нет, я просто икаю, — ответила Зарипа.

И они снова начали забавлять детей, торопясь насытиться дарами случайного дождя. Едигею стало не по себе. Представил, как тяжело, должно быть, сознавать им, что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не событие, где люди купаются и плавают в чистой, прозрачной воде, где другие условия, другие развлечения, другие заботы о детях... И чтобы не смутить Абуталипа и Зарипу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Едигей продолжал поддерживать их забавы...

Навозились, наигрались вдосталь и дети и взрослые, а дождь еще лил. И тогда они побежали по домам. И, глядя сочувственно им вслед, любовался Едигей, как бежали Куттыбаевы рядышком, отец, мать, дети. Все мокрые. Хоть один день счастья в сарозеках.

Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Едигей появился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками:

— Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?

— Не пугайся, мать, — успокоил жену Едигей и рас-

смеялся. — Когда атан пьянеет, он играет со своими таллаками*.

— То-то, я гляжу, уподобился, — усмехнулась укоризненно Укубала. — Ну раздевайтесь, не стойте как мокрые курицы.

Дождь перестал, но он еще проливался где-то по сарозекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились среди ночи глухие перекааты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого. И удивлялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой грохочет — и то спалось. Ну, там другое дело — грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие, размытые зарницы, вспыхивающие в степи в разных местах.

Снилось той ночью Буранному Едигею, что опять он на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно. Взрывы беззвучно взмывали в воздух и застывали черными выплесками, медленно и тягостно опадая. Один из таких взрывов подбросил его вверх, и он падал очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пустоту. Потом он бежал в атаку, очень много их было, солдат в серых шинелях, поднявшихся в атаку, но лиц не различить было, казалось, просто шинели бежали сами по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали «ура!», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дождя, смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платыце, с разметанными волосами, в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едигею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру», — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — ответила она и продолжала смеяться под струями дождя...

На другой день он хотел рассказать об этом сне Абу-талипу и ей. Но раздумал, нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей...

После этого великого дождя опрокинулась жара в сарозеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать сарозекская. Избавилась от изнуряющей жары и боранлинская детвора. Ожили, опять зазвенели их голоса. А тут передали

* Т а й л а к — детеныш верблюда. Когда атан, самец, пьянеет, он играет со своими детенышами.

не разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кзыл-ордишские арбузы и дыни. И что, мол, как желают боранлинцы — им могут прислать их долю и пусть сами приедут и заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют — на тебе, боже, что нам негоже. Тот согласился. Хорошо, говорит, поезжайте с Куттыбаевым и выберите что получше. Этого и надо было Едигею. Хотелось вывезти Абуталипа и Зарипу с детьми хоть на один день из Боранлы-Буранного. Да и самим не мешало проветриться. И отправились они, две семьи со всей детворой, рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись. Тот было славно. Детям казалось, что они едут в сказочную страну. Всю дорогу ликовали, расспрашивали: а деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая? Есть — и зеленая. И цветы даже есть. А дома большие, и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море?

Ветер захлестывал в товарный вагон, струился ровным приятным потоком в приоткрытые двери, загороженные деревянным щитом на всякий случай, чтобы ребята не вывалились, хотя на самом проходе у края сидели на порожних ящиках Едигей с Абуталипом. Разговоры вели разные да отвечали на детские вопросы. Доволен был Буранный Едигей, что ехали они вместе, что погода хорошая, что дети веселые, но больше всего рад был Едигей не за малышей, а за Абуталипа и Зарипу. Просветлели их лица. Освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности.

Приятно было видеть — Зарипа и Укубала задушевно беседовали о разных делах житейских. И были счастливы. Ведь так и должно быть, много ли надо людям... Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды Куттыбаевыми, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их боранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едигея можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не сдавался, черпая в том силу. Прислушиваясь к высказы-

ваниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом вкладывать в это дело всего себя, быть насколько можно вместе с детьми.

Вот уж, казалось бы, где только не учили Сабитжана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и по разным курсам повышений. Бедный Казангап все, что добывал-зарабатывал, отдавал сыну, чтобы не хуже других жилось-былось его Сабитжану, — а что толку? Знать-то все знает, а никчемный и есть никчемный.

Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вместе ехали за арбузами да дынями на Кумбелю, что ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу Куттыбаеву обосноваться как следует в Боранлы-Буранном. Хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сыновей среди сарозеков как сможет и сколько сможет. Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталип к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как картошкой запастись, где валенки купить на зиму жене да детям, сам, мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для пользования.

К вечеру того дня опять же на попутном товарняке вернулись домой с дынями и арбузами, выделенными орсом для боранлинцев. Дети, конечно, притомились к вечеру, но были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле, игрушек накупили, мороженое ели и всякое прочее. Да, случилось одно небольшое происшествие в стационарной парикмахерской. Решили подстричь ребят. А когда очередь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач, что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все, а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарипа не знала, что делать, и краснела и бледнела от стыда. И все оправдывалась, что от рождения еще ни разу не стригли ребенка, жалели — уж очень красивые, кудрявые волосы были у малыша. А и в самом деле, волос рос у Эрмека отменный, густой и вьющийся, в мать пошел, и вообще он был похож на Зарипу: как вымоют голову и расчесут кудри — одно загляденье.

На что уж пошли, Укубала разрешила подрезать волосы Сауле: вот, мол, смотри, девочка и то не боится.

Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и рев, Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и крепко прижал к себе, понял, что не стоит мучить ребенка.

— Извините, — сказал он парикмахеру. — Как-нибудь в другой раз. Соберемся с духом и тогда... Не к спеху... В другой раз...

В ходе чрезвычайного заседания особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обоюдному согласию сторон на орбитальную станцию «Паритет» пошла еще одна кодированная радиограмма, предназначенная для передачи паритет-космонавтам 1-2 и 2-1, находящимся на планете внеземной цивилизации, — категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания Общепупра.

Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец «Конвенция» по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком.

По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие — в системе светила Держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа которой предлагали установить контакт с землянами.

На чрезвычайном заседании стороны дебатировали все «за» и «против» столь необычной и неожиданной проблемы. На столе перед каждым членом комиссий, помимо прочих подсобных материалов, лежало досье с полным текстом посланий паритет-космонавтов 1-2 и 2-1. Изучалась каждая мысль, каждое слово документов. Любая деталь, приводимая как факт устройства разумной жизни на планете Лесная Грудь, рассматривалась прежде всего с точки зрения возможных последствий, совместимости или несовместимости с земным опытом цивилизации и с интересами ведущих стран планеты... С такого рода проблемами еще никому из людей не приходилось сталкиваться. И вопрос требовалось решать экстренно...

На Тихом океане по-прежнему штормило вполсилы...

После того как семья Куттыбаевых пережила самую страшную пору сарозекского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась из Боранлы-Буранного куда угодно, только бы прочь, боранлинцы поняли, что эта семья останется здесь. Заметно приободрился, вернее, втянулся в боранлинскую лямку Абуталип Куттыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Боранлы — самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья и для всех прочих нужд, а кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за тридевять земель, на что, кроме Едигея и Казангапа, никто и не отваживался.

Да, так было еще в пятьдесят втором году и вплоть до шестидесятых, пока не установили на разъезде глубинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще и не мечтали. И, несмотря на все это, Абуталип никогда не клял, не поносил ни разъезд Боранлы-Буранный, ни сарозекскую местность эту. Воспринимал худое как худое, хорошее как хорошее. В конце концов земля эта ни в чем и ни перед кем не была виновата. Человек сам должен был решать, жить ему здесь или же жить...

И на этой земле люди старались устроиться как можно удобней. Когда Куттыбаевы пришли к окончательному убеждению, что место их здесь, на Боранлы-Буранном, и что дальше им некуда податься, а необходимо устраиваться поосновательней, то времени не стало хватать на домашние дела. Само собой, каждый день или каждую смену полагалось отработать, но и в свободное время забот оказалось непереворот. Закрутился, запарился Абуталип, когда принялся готовить жилье к зиме — печку перекладывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Споровки к таким делам особой у него не было, по Едигею и инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых пшал, соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и крутились под руками сынки абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали Еди-

гей с Казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством обзавестись, и уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы он доить научился. Ведь это не корова. Верблюдицу надо доить стоя. Ходить за ней по степи и, главное, сосунка сберечь, подпускать его к вымени вовремя и вовремя отнимать. Забот о нем немало. Тоже надо знать, что к чему...

Но больше всего радовало Буранного Едигея, что Абуталип не только за хозяйство принялся, не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил с Зарипой их читать и рисовать, но, более того, пересиливая, превозмогая боранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Куттыбаев был образованным человеком. Книжки читать, делать какие-то свои записки — это просто было ему необходимо. Втайне Едигей гордился тем, что имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, сарозекским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух. Но был у них однажды разговор серьезный.

Возвращались к вечеру с путевых работ. В тот день они противоспежные щиты устанавливали на седьмом километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще только входила в силу, однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хороший, светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера сарозекские окрестности, как дно Аральского моря с лодки в тихую погоду, лишь призрачно угадываются в дымке заката.

— А что, Абу, вечерами, как ни пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то — лампа рядом? — спросил Едигей.

— Так это просто все, — охотно отозвался Абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое. — Письменного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю кое-что, пока в памяти, — войну и, главное, мои югославские годы. Время идет, бывшее отодвигается все дальше. — Он помолчал. — Я все думаю, что могу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой. Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столько, сколько другому, дай бог, за сто лет не придется, я еще живу и дышу, не зря, должно быть, судьба предо-

ставляет мне такую возможность. Может быть, для того, чтобы я что-то сказал, в первую очередь своим детям. И мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь, поскольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно, есть общая истина для всех, но есть еще у каждого свое понимание. А оно уйдет с нами. Когда человек проходит круги между жизнью и смертью в мировой спешке сил и его могли по меньшей мере сто раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать — добро и зло, истину и ложь...

— Постой, одно не пойму, — удивленно перебил его Едигей. — Может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машинки боятся — что они поймут?

— Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Буду жив или нет, никому не знать наперед. Вот третьего дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Казангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом страшно: пусть, говорит, дети твои сегодня на коленях господу богу благодарят.

— И верно. Я тебе давно говорил. И Зарипе говорил, — возмутился, в свою очередь, Едигей и воспользовался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. — Что ты ходишь по путям так, точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Грамотный человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь, не шути.

— Ну, если такое случится, сам буду виноват, — мрачно согласился он. — Но ты все-таки послушай меня, потом будешь выговаривать.

— Да я так, к слову, говори.

— В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство — когда как. Сколько книг об этом написано, сказок, в театрах сколько пьес играют о тех временах, как делили наследство и что потом случилось с наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали, на чужих тяготах да чужими трудами, на обмане, оттого изначально таят они в себе зло, грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы, слава богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда никому не причинит. Это лишь мой дух, мои записи будут, а в них все, что я повял и вынес из войны. Большого богатства для детей у меня нет. Здесь, в сарозекских пусты-

нях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время оттесняла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез, а я запишу для них все, что думаю-гадаю, и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть, достигнут они... А жить им придется потрудней, чем нам. Так пусть набираются ума смолоду...

Некоторое время они шли молча, каждый занятый своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие речи. Подивился он, что можно, оказываясь, и эдак понимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяснить то, что его поразило:

— Все думают, вон по радио говорят, что детям нашим будет жить лучше и легче, а тебе кажется, что им придется потрудней, чем нам. Атомная война будет, потому, что ли?

— Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет. Просто колесо времени убыстряется. Им придется до всего самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отчасти задним числом. А мыслить всегда тяжело. Потому им придется труднее, чем нам.

Едигей не стал уточнять, почему он считает, что мыслить всегда тяжело. И напрасно не стал, впоследствии очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было поспросить, выведать, в чем тут смысл...

— Я к чему это говорю, — как бы отзываясь на сомнения Едигея, продолжал Абуталип. — Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят — а учителя-то, мы то есть, не так уж много знали и не такие уж умные, как казалось. Над ними и посмеяться можно, порой даже жалкими кажутся им постаревшие наставники. Колесо времени все быстрее и быстрее раскручивается. И, однако, о себе мы сами должны сказать последнее слово. Наши предки пытались делать это в сказаниях. Хотели доказать потомкам, какими они были великими. И мы судим теперь о них по их духу. Вот я и делаю что могу для подрастающих сыновей. Мои сказания — мои военные годы. Пишу для них свои партизанские тетради. Все как было, что видел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но, кроме этого, тоже есть задумки кое-какие. В сарозеках придется им расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем

понимании — весть из прошлого. Укубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить.

— Ну а как же! Все-таки аральская родом! — сразу возгордился Едигей. — Аральские казахи у моря. А на море петь хорошо. Море, оно все понимает. Что ни скажешь — от души и все к ладу на море.

— А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно записанное — чуть до слез с Зарипой не дошли. До чего красиво пели в старину! Каждая песня — целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в душу. И страдать и любить, как они. Вот ведь какую память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагитировал уже — вспоминай, говорю, свои каракалпакские песни, запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас каракалпакская тетрадь...

И так они шли не спеша вдоль железнодорожной линии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный вздох, замирал умиротворенный конец дня той предосенней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в сарозеках, но угасающее солнце создавало впечатление наполненности степи благодаря неуловимому движению света и тени по открытому лику земли. Смутная, текущая синева захватывающего дух простора возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать...

— Слушай, Едигей, — заговорил снова Абуталип, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае. — Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай. Как ты думаешь, наверно, есть такая птица в природе, которая так и называется — Доненбай. Тебе не приходилось встречать такую птицу?

— Так это же легенда.

— Понимаю. Но часто бывает, когда легенда подтверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, например, есть такая птица иволга, которая у нас в Семиречье целый день распекает в горных садах и все спрашивает: «Кто мой жених?» Так тут просто игра, созвучие. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я и думаю: нет ли такого созвучия и в этой истории? Может быть, существует в степи какая-то птица, которая кричит что-то похожее на имя человека Доненбай, и потому она оказалась в легенде?

— Нет, не знаю. Не думал об этом, что так, — засомневался Едигей. — Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. Должно быть, ее и нет.

— Возможно, — задумчиво отозвался Абуталип.

— А что, если нет такой птицы, так, выходит, все это неправда? — обеспокоился Едигей.

— Нет, почему же. Потому и стоит кладбище Ана-Бейит, и что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу.

— Ну, если для детишек, — неуверенно обронил Едигей, — тогда можно...

На памяти Буранного Едигея только два человека в свое время записывали сарозекскую легенду о Найман-Ане на бумагу. Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут, это было в конце пятидесят второго года. Рукопись та пропала. Столько горя пришлось натерпеться после этого. До того ли было! Несколько лет спустя, году в пятьдесят седьмом, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверно, в его бумагах осталась в Алма-Ате... И тот и другой записывали ее главным образом из уст Казангапа. Едигей присутствовал при том, но больше в качестве подсказчика-напоминателя и своего рода комментатора.

«Вот тебе и годы! Когда все это было-то, бог ты мой!» — думал Буранный Едигей, покачиваясь между горбами укрытого попоной Каранара. Теперь он вез самого Казангапа на кладбище Ана-Бейит. Круг как бы замкнулся. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, историю которого хранил и передавал другим.

«Остались только мы — я и Ана-Бейит. Да и мне скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять. Дело идет к этому», — тоскливо размышлял по пути Едигей, все так же возглавляя на верблюде странную похоронную процессию, следовавшую за ним по степи на тракторе с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе «Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнувший к похоронам, позволял себе находиться то в голове, то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался ненадолго... Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторонам поглядывал деловито...

Солнце уже поднялось на макушку, полдень вступал. До кладбища Ана-Бейит оставалось не так много...

И все-таки конец пятьдесят второго года, вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Боранлы-Буранного. Едигей часто потом скучал по тем дням.

Казангац, патриарх боранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся не в свои дела, пре- бывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабитжан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в сарозеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки Зарипе и мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из Кумбеля, сам Едигей привез вьюком из оorsa на вступавшем в ту пору в расцвет сил молодом Каранаре. Абуталип работал как полагается и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примостившись с лампой на подоконнике.

Были еще две-три семьи станционных рабочих, но, по всему, временных людей на разъезде. Тогдашний начальник разъезда Абилов тоже казался недурным человеком. Никто из боранлинцев не болел. Служба шла. Дети росли. Все предпринимые работы по заграждению и ремонту путей выполнялись в срок.

Погода стояла прекрасная для сарозеков — коричневая осень, как хлебная корка! А потом зима подоспела. Снег лег сразу. И тоже красиво, белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой протянулась железная дорога, а по ней, как всегда, шли и шли поезда. И сбоку этого движения среди снежных всхолмлений притулился маленький поселочек — разъезд Боранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее... Проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов, или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда...

Но напрасной была та мимолетная жалость. Боранлинцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу, со скрипом налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижения цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко не всего навалом, но все-таки год от года лучше...

Обычно Новому году боранлинцы не придавали особого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба

на разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались, ни на минуту не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же зимой и по хозяйству дел прибавляется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на выпасе и в загонах. Умается человек за день, и уж, кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше.

Так и шли годы один за другим...

А канун пятьдесят третьего года на Боранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в сарозеках, легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионлетние динозавровые яйца в сарозеках. В камень превратились те яйца, каждое величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в Алматы. Об этом в газетах писали.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Боранлы-Буранный. С этого все и пошло.

Едигей стоял как раз возле склада, получал у пачальника разъезда новые рукавицы для работы, когда, морозно тормозя, остановился на первом пути закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь plombированные четырехосные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке, пеуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. Елка, догадался Едигей и удивился очень.

— Эй, Едигей! Буранный! Поди сюда, помоги человеку! — окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей со ступеней вагона.

Едигей поспешил и, когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, закоченел Абуталип так, что губы не двигаются. Рукой пошевелить не может. А рядом елка, это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет.

— Что ж это люди у вас так ездят! — прохрипел не-

довольно кондуктор. — Душа вон отлетит на ветрище сзади. Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну.

Едва совладав с губами, Абуталип извинился:

— Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут рядом.

— Я ж ему говорил, — обращаясь к Едигею, бурчал кондуктор. — Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза на лоб лезут. Разве ж так можно!

Едигею было неловко:

— Хорошо, учтем, Трофим! Спасибо. Отправляйся, доброго тебе пути.

Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце екнуло — вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловый вдохнуть.

— Пошли, — сказал Едигей и взглянул на Абуталипа, вскидывая елку на плечо.

На стянутом холодом, с застывшими слезами на щеках сером лице Абуталипа сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза. Едигею вдруг стало страшно: оценят ли дети его отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает совсем наоборот. Вместо признательности — равнодушие, а то и ненависть. «Избави бог его от такого. Хватит ему и других бед», — подумал Едигей.

Первым увидел елку старший из Куттыбаевых — Даул. Он радостно закричал и пшыгнул к двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек.

— Елка, елка! Смотри, какая елка! — ликовал Даул, отчаянно прыгая вокруг.

Зарипа была обрадована не меньше:

— Ты все-таки достал ее! Как здорово!

А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел не отрываясь на кошу дяди Едигея.

— Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?

— Зарипа, — сказал Едигей, — из-за этой, как говорят русские, елки-палки ты могла получить заморозженного мужа. Давай побыстрее домой отогревать его. Прежде всего сапоги надо стянуть.

Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались стащить их с ног.

Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.

— Ребята, не мешайтесь, ребята, дайте я сама! — отгоняла их мать.

Но Едигей счел необходимым сказать ей вполголоса:

— Не тронь их, Зарипа. Пусть, пусть потрудятся.

Он нутром своим понял, что для Абуталипа это высшее воздаяние — любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди, значит, они уже что-то смыслят. Особенно трогательно и потешно было смотреть на младшего. Эрмек почему-то называл отца папикой. И никто его не поправлял, поскольку то было его собственной «модификацией» одного из вечных и первоначальных слов на устах людей.

— Папика! Папика! — озабоченно суетился он, раскраспевшись от тщетных усилий. Его кудри распушились, глаза пылали желанием совершить нечто крайне необходимое, а сам он был так серьезен, что невольно хотелось засмеяться.

Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята достигли своей цели. Едигей нашел способ. Сапоги к тому времени начали оттаивать и их можно было сдернуть, не причиняя особой боли Абуталипу.

— А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд — один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты, Эрмек, хватайся за Даула.

Абуталип понял замысел Едигея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, наворачнувшиеся с холода в тепле.

Едигей сел напротив Абуталипа, за ним прицепились дети, и, когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог.

— А ну, ребята, посильней, подружней тяните! А то я один не смогу. Сил не хватит. Давай-давай, Даул, Эрмек! Посильней!

Ребята пыхтели позади, вовсю стараясь помочь. Зарипа была болельщицей. Едигей нарочно делал вид, что ему трудно, и, когда наконец первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным платком, но Едигей всех приостановил:

— А ну, ребята, а ну, мама! Вы что ж это? А второй сапог кто будет тянуть? Или так и оставим отца одна нога босая, а другая в мерзлом сапоге? Хорошо будет?

И все расхохотались отчего-то. Долго смеялись, катались по полу. Особенно ребята и сам Абуталип.

И кто знает, так думал потом об этом Буранный Едигей, много раз пытаюсь отгадать ту страшную загадку, кто знает, быть может, именно в этот момент где-то очень далеко от Боранлы-Буранного имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах и люди, получившие ту бумагу, решали на ее основании вопрос, о котором никто ни сном ни духом не помышлял ни в этой семье, ни на разъезде.

Беда свалилась как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу.

А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то, на разъезде? Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Боранлы-Буранном. Ночевал в дежурном домике, в главном помещении разъезда, где была связь да комнатуха начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал — может, кто из прежних, знакомых, но нет, этот был незнакомый. Краснощечный такой, редкозубый, в очках, седеющий. Странная прилипающая улыбочка мелькнула в его глазах.

А поздно вечером встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит — ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в мерлушковой папахе, в очках, курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку.

— Добрый вечер. Что, покурить вышли? Нароботались? — посочувствовал ему Едигей.

— Да, конечно, — ответил тот, полуулыбаясь. — Нелегко. — И опять полуулыбнулся.

— Ну, ясно, конечно, — промолвил для приличия Едигей.

— Завтра с утра уезжаю, — сообщил ревизор. — Подойдет семнадцатый, приостановится. И я поеду. — Он

опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в лицо. — Так вы и будете Едигей Жангельдин? — осведомился ревизор.

— Да, я самый.

— Я так и думал. — Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. — Бывший фронтовик. На разъезде с сорок четвертого. Путьцы Буранным прозывают.

— Да, верно, — простодушно отвечал Едигей. Ему было приятно, что тот так много знал о нем, но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил.

— А у меня память хорошая, — полуулыбаясь, продолжал ревизор, видимо догадываясь, о чем думает Едигей. — Я ведь тоже пишу, как ваш Куттыбаев, — кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого склонялась, как всегда, над своими записями на подоконнике голова Абуталипа. — Третий день наблюдаю — все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. И в областной газете помещался — на Восьмое марта однажды, на Первое мая в нынешнем году.

Они помолчали. Едигей уже собирался попрощаться и уйти, но ревизор снова заговорил:

— А он о Югославии пишет?

— Честно говоря, не знаю толком, — ответил Едигей. — Кажется. Ведь он партизанил там. Он для детей своих пишет.

— Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера, — скрипуче хихикнул он. — Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам...

— Он тоже, по ночам только. А днем работает, — вставил Едигей.

Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти.

— Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает, — все так же полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипа у окна.

— Так надо же чем-то заниматься, — ответил ему

на то Едигей. — Человек грамотный. Вокруг никого и ничего. Вот и пишет.

— Ага, тоже идея. Вокруг никого и ничего, — прищуриваясь, что-то соображая, пробормотал ревизор. — А ты себе волен, а вокруг никого и ничего, тоже идея... А ты себе волен...

На том они попрощались. И в следующие дни нет-нет да мелькала мысль не забыть рассказать Абуталипу о том случайном разговоре с ревизором, да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось.

Дел было много к зиме. И главное, Каранар пришел в великое движение. Ведь морока, вот ведь где наказание хозяину! Как атапша* Каранар созрел два года назад. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти, еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в боранлинском стаде — давнишний казангаповский верблюд — не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь-то широкая. С одного края отгонит, он с другого поспекает. И так целый день голял его старый атап, а потом выбивался из сил. И тогда молодой да горячий атапша Каранар не мытьем, так катаньем достигал-таки своей цели.

Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Каранар оказался верховным в бораплинском стаде. Достиг Каранар могущества, достиг сокрушающей силы. Запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, изгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна — теперь настал черед Каранара оставлять по себе потомство.

На этой почве, однако, Казангап с Едигеем впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища — затоптанного атана своего под обрывом. Вербнулся с выпасов мрачный и бросил Едигею:

— Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой Каранар. А ты его спокойно отпускаешь в степь!

— Не отпускал я его, Казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он цепи рвет.

* Атапша — молоденький атап, молодой самец.

Сам знаешь, не случайно сказано исстари: «Кюш атасын танымайды» *. Пришла его пора.

— А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для шиша **, но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем сарозекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова...

Не стал Едигей распалать Казангапа, уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно:

— Сам же ты его мне подарил сосунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти.

Но обезобразивать такого красавца, как Каранар, — прокалывать ему ноздри и продевать деревянный шишь — опять же рука не поднималась. Сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил себя. А годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Каранара...

С той зимы все и началось. Запомнилось. И пока усмирял Каранара да приспособливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей боранлинской детворы большое событие было. Укубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил взглянуть на елку у Куттыбаевых. Все красивой, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное — Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколь в новогодних надеждах, в общем для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен.

Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вна-

* Сила отца не признает.

** Шишь — деревянная заноза, продеваемая в верхние губы верблюда.

чале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромная, почти в человеческий рост снежная бабища, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове встала перед разъездом, встречая поезда. В одной «руке» баба держала железнодорожный зеленый флажок — путь открыт, а в другой фанеру с поздравлением: «С новым, 1953 годом!» Здорово тогда получилось! Эта баба долго стояла еще и после 1 января...

31 декабря уходящего года днем до самого вечера боранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были запяты и взрослые, свободные от дежурств. Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возьтятся, а он прикинулся крепко спящим.

— Вставай, вставай, папика! — Эрмек тормозит. — Скоро Дед Мороз приедет. Пойдем встречать.

— Хорошо, — говорю. — Вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать.

— А каким поездом? — Это старший спрашивает.

— А любим, — говорю, — для Деда Мороза любой поезд остановится даже на нашем разъезде.

— Тогда надо вставать побыстрей!

Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так.

— А как же мама? — спрашивает Даул. — Она ведь тоже хочет увидеть Деда Мороза?

— Конечно, — говорю, — а как же. Зовите и ее.

Собрались и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около, а Деда Мороза нет.

— Папика, а где же он?

Глаза у Эрмека, знаешь, такие — хлоп-хлоп.

— Сейчас, — говорю, — не спешите. Узнаю у дежурного.

Вхожу в дежурку, а там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел, они ко мне:

— Ну что, папика?

— Да вот, — говорю, — оказывается, Дед Мороз оставил вам записку, вот она: «Дорогие мальчуганы — Даул и Эрмек! Я приехал на ваш знаменитый разъезд Боранлы-Буранный рано утром, в пять часов. Вы еще спали, было очень холодно. Да и сам я холодный, борода вся

из морозной шерсти у меня. А поезд остановился только на две минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь, дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год постараюсь приехать так, чтобы мы встретились. А пока до свидания. Ваш Дед Мороз, Аяз-ата». Пстой-пстой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверно, уже поезд отходил. А, вот, разобрал: «Даул, не бей свою собачку. Я слышал, как однажды она громко закулила, когда ты ударил ее калошей. Но потом я больше не слышал. Наверно, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аяз-ата». Пстой-пстой, тут еще что-то накорябано. А, понял: «Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку».

Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассудила их:

— Сначала десять шагов понесет Даул, он старший. А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший...»

Посмеялся от души и Едигей: «Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы».

Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на саних. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смиренного и хорошо идущего в нагрудном хомуте, Каранара нельзя было, конечно, допустить к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Едигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили: «Быстрее, быстрее поехали!» Абуталип и Зарипа то шли, то бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спуска покатали. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось.

Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными сарозеками сколько хватало глаз и слуха лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь — грядами, холмами, равнинами, небо над сарозеками излучало матовый отсвет и кроткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длин-

ный красно-охрявой состав, и два черных паровоза, сцепленных цугом, тащили его, дыша в две трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими, плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал — длинный, могучий гудок. Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной, он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, — мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами боранлинских домов вились сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребяташки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа:

— Как хорошо и как страшно!

— Ты права, — так же негромко отозвался Абуталип.

Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли, очень похожие друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них.

Едигей понукнул упряжного верблюда. Стеганул бичом. И сани покатались назад к разъезду...

Вечером накануне новогодней ночи все боранлинцы собрались у Едигея и Укубалы — так порешили Едигей и Укубала еще несколько дней назад.

— Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам бог велел, — сказала Укубала, — не будем скушиться.

Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать — иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангану удалось посидеть только вначале. К девяти вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с шести часов утра 1 января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении и, хотя виделись по десять раз на дню, к встрече приделались, ровно издалека прибывшие гости. Укубала отличилась — наготовила всякой снеди. Выпить тоже было что — водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от иряоловав-

ших верблюдиц, и зимой их выдаивала неутомимая казангаповская Букей.

Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напряженность гостей и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию — и пображничать, и пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь, но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преобразовать людей. Бывает, что и в дурную сторону. Но не здесь, не среди боранлинцев. Жить в сарозеках да еще слыть неуживчивым или скандалистом... Едигей захмелел слегка. Однако ему это очень шло. Укубала без особой тревоги напомнила мужу:

— Не забудь, завтра в шесть утра на работу.

— Все ясно, Уку. Понял, — ответил он.

Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда иногда невпопад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей, одаряя всех веселой сердечной улыбкой, уверенный, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый и черноусый Буранный Едигей, с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. На всех хватало у него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую добрую Букей, он называл ее боранлинской мамой, предлагал за нее тосты, в ее лице — за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амударьи, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы.

— Он мне и так надоел! — задорно отвечала Букей.

Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только полным расшифрованным именем: Уку баласы — дите совы, соенок. Для каждого находилось у него доброе, задушевное слово, в том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путевого работника в сарозеках, и его бледной, беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле. Едигей ис-

крепше верил, что все обстоит именно так, что его окружают перасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза — и представлялась огромная заснеженная пустыня сарозеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоило того. Зарипа и пела и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, Абуталип вел с грудной приглушенной протяженностью, пели задушевно, слаженно, особенно песни на татарский лад, их они пели алмак-салмак — взаимоотношечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже многое перебрали из старинных и новых песен и не уставали, а, наоборот, распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едигей не отрываясь смотрел на них и умилялся — такими они и должны были бы быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху. В страшный летний зной Зарипа ходила испепеленная, как обгорелое при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурными волосами и полопавшимися в кровь черными губами, сейчас же она была неузнаваема. Черноглазая, с сияющим взором, открытым, по-азиатски гладким, чистым лицом, сегодня она была прекрасна. Ее настроение лучше всего передавали четкие подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмураясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталип, раскачиваясь из стороны в сторону:

...Как след от подпруги на боку иноходца,
дни ушедшей любви не сотрутся из памяти...

А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша легко и свободно, по снегам сарозеков в этой своей сиреневой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг, и, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандолина, но, вспомнив, что и на боранлинском разъезде есть люди и что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющей за столом...

Потом Абуталип показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип пел задорную сербскую песенку, и все они танцевали в кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая: «Опля, опля...»

Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравляли с Новым годом, кто-то уходил, кто-то приходил... Начальник разезда и его беременная жена ушли еще до танцев. И так протекала ночь.

Зарипа вышла подышать, следом и Абуталип. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окликнула Укубала:

— Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь!

— Я сейчас. — Едигей вышел за порог в холодную ясность полночи. — Абуталип, Зарипа! — позвал он, оглядываясь по сторонам.

Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. И остановился в нерешительности, не зная, как поступить: то ли уйти, то ли, наоборот, подойти к ним и увести домой. Что-то происходило между ними.

— Я не хотела, чтобы ты видел, — всхлипывала Зарипа. — Прости. Просто мне стало тяжело. Прости, пожалуйста.

— Я понимаю, — успокаивал ее Абуталип. — Я все понимаю. Но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня. Боже мой, одной жизнью больше, другой меньше. Можно было бы и не цепляться так отчаянно. — Они помолчали, и потом он сказал: — Дети наши избавятся... И на это вся надежда...

Недопонимая, в чем дело, Едигей осторожно отступил, передергивая плечами от холода, и неслышно вернулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело и праздник исчерпался. Новый год Новым годом, но пора и честь знать.

5 января 1953 года в десять часов утра на разезде Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты, и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне до-

статочно. Трое — все в черных хромовых сапогах одинакового фасона — сошли с подножки одного из вагонов и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующую их, да глянули на дурацкий малахай, старый, облезлый казангаповский малахай, напяленный на голову бабы. И с тем прошли в дежурку.

Через некоторое время из дверей выскочил начальник разезда Абилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побежал, чего с ним никогда не бывало. Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абуталипа Куттыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они направились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая Абуталипа, неся какие-то бумаги, взятые в его доме.

Потом все стихло. Никто не выходил и не входил в дежурное помещение.

Едигей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Едигея в сторону:

— Абуталипа допрашивают.

— Кто допрашивает?

— Не знаю. Какие-то приезжие. Абилов велел передать, что если не будут допытываться, то не говорить, что на Новый год были вместе с Абуталипом и Зарипой.

— А что тут такого?

— Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе к двум часам быть на месте. У тебя тоже хотят что-то спросить, узнать насчет Абуталипа.

— А что узнавать?

— Откуда я знаю. Пришел перепуганный Абилов и говорит — так и так. А я к тебе.

К двум часам и без того ходил Едигей домой обедать. По пути да и дома все пытался взять в толк, что случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен? Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно, плохо

стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отставил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз велели в два, значит, в два. Вышел из дома. Возле дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный.

— Что случилось?

— Беда, беда, Едике, — заговорил Абилов, робко поглядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали. — Куттыбаева засадили.

— А за что?

— Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот дописался.

— Так это он для детей своих.

— Не знаю, не знаю, для кого. Я ничего не знаю. Иди, тебя ждут.

В комнатушке начальника разезда, именуемой кабинетом, его ждал человек примерно одного возраста с ним или помоложе немного, лет тридцати, плотный, большеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то читал. Он вытер нос платком, хмуря тяжелый высокий лоб. И потом на протяжении всего их разговора он то и дело обтирал постоянно припотевавший нос. Он достал из лежащей на столе пачки «Казбека» длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едигея, стоявшего в дверях, ясные, как у кречета, желтоватые глаза, сказал коротко:

— Садись.

Едигей сел на табурет перед столом.

— Что ж, чтоб не было никаких сомнений, — произнес кречетоглазый, достал из нагрудного кармана гражданского кителя какую-то коричневую корочку, распахнул ее и тут же убрал, буркнув при этом что-то, то ли «Тансыкбаев», то ли «Тысыкбаев». Едигей так и не запомнил толком его фамилию.

— Понятно? — спросил кречетоглазый.

— Понятно, — вынужден был ответить Едигей.

— Ну, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг-товарищ Куттыбаева?

— Может быть, и так, а что?

— Может быть, и так, — повторил кречетоглазый, затягиваясь «казбечиной» и как бы уясняя услышанное. — Может быть, и так. Допустим. Ясно. — И бросил вдруг с неожиданной усмешкой, с радостным, предвкушаемым

удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло, глазах: — Ну что, друг любезный, пописываем?

— Что пописываем? — смутился Едигей.

— Это я хочу узнать.

— Я не понимаю, о чем речь.

— Неужто? А? Ну-ка подумай!

— Не понимаю, о чем речь.

— А что пишет Куттыбаев?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

— Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда мне знать. Какое мне дело? Охота человеку писать — пусть себе пишет. Кому какое дело?

— То есть как кому какое дело? — удивленно встретился кречетоглазый, устремляя в него пронзительные, как пули, зрачки. — Значит, кто что хочет, то пусть и пишет? Это он тебя убедил?

— Ничего он меня не убеждал.

Но кречетоглазый не обратил внимания на его ответ. Он был возмущен:

— Вот она, вражеская агитация! А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет? А потом любой и каждый начнет высказывать, что ему в голову взбредет! Так, что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет!

Едигей молчал, подавленный и удрученный обрушениями на него словами. И очень удивился, что ничего вокруг не изменилось. Как будто бы ничего не происходило. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкентский поезд, и представил себе на секунду: едут люди в вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку, ведут свои разговоры и никому нет дела, что в это время на разъезде Боранлы-Буранный сидит он перед невесть откуда свалившимся на голову кречетоглазым; и до саднящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки, догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край света, только бы не находиться сейчас здесь.

— Ну что? Доходит до тебя суть вопроса? — продолжал кречетоглазый.

— Доходит, доходит, — ответил Едигей. — Только одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел воспоминания описать. Как, что было с ним, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Что тут плохого?

— Для детей! — воскликнул тот. — Да кто этому поверит! Кто пишет для детей своих, которым без году неделя! Сказки! Вот как действует опытный враг! Упратался в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспоминания!

— Ну, захотелось так человеку, — возразил Едигей. — Захотелось ему, наверно, свое личное слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети его, почитали, когда вырастут.

— Какое еще личное слово! Это еще что такое? — укоризненно качая головой, вздохнул кречетоглазый. — Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Личное воззрение, так, что ли? Особое, личное мнение, что ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, того не вырубить топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они, его так называемые «Партизанские тетради», вот в подзаголовке — «Дни и ночи в Югославии», вот они! — Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых переплетках. — Безобразие! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля. А мы его изобличили!

— В чем вы его изобличили?

Кречетоглазый дернулся на стуле и опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз:

— Ну это позволю уж нам знать, в чем мы его изобличили. — Смакуя каждое слово, произнес, упиваясь производным эффектом: — Это наше дело. Докладывать каждому не стану.

— Ну что ж, если так, — растерянно промолвил Едигей.

— Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром, — заметил кречетоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая: — Я думал, что ты поумней, что ты наш человек. Передовой рабочий. Бывший фронтовик. Поможешь нам разоблачить врага.

Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений:

— Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю.

Кречетоглазый вскинул уничтожающий взгляд.

— А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, то делу шик? Ошибаешься. У нас

достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи.

Едигей умолок, чувствуя униженность, жгучую опустошенность. Одновременно росло, как волна на Аральском море, возмущение, негодование, несогласие с происходящим. Ему вдруг захотелось придушить этого кречетоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы это сделать. Уж какая жилистая и крепкая была шея у того фашиста, которого ему пришлось удавить собственными руками. Другого выхода не было. Они столкнулись с ним неожиданно лицом к лицу в траншее, когда выбивали с позиции противника. Зашли с фланга, забрасывая траншеею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились с боем дальше, когда вдруг сшиблись с ним в упор. Видимо, то был пулеметчик, стрелявший до последнего патрона. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Едигея. Но тот успел занести нож над головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Едигей ожидал, что вонзится нож ему в спину, и поэтому с неослабевающим, нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал, рыча, хрящастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутью в глазах. Об этом он никому не рассказал ни тогда, ни после. Кошмар этот снился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось... Об этом вспомнил Едигей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело за живое. Пока тот писал, Едигей пытался найти слабину в доводах кречетоглазого. Из сказанного кречетоглазым одна мысль поразила Едигея своей алогичностью, каким-то дьявольским несоответствием: как это можно обвинять кого-либо во «враждебных воспоминаниях»? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными, ведь воспоминания — это то, что было когда-то в прошлом, это то, чего уже нет, что было в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том, как то было в действительности.

— Я хочу знать, — промолвил Едигей, чувствуя, как

пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень спокойно. — Вот ты говоришь... — Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше сарозеков гнать его некуда. — Вот ты говоришь, — повторил он, — враждебные воспоминания. Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или, выходит, если хорошее — вспоминай, а если плохое — не вспоминай, забудь? Такого вроде никогда и не было. Или, выходит, если какой сон приснится и о нем, о сне, надо вспоминать? А если сон страшный, неуютный кому?..

— Вот ты какой! Хм, черт возьми! — подивился кречетоглазый. — Порассуждать любишь, поспорить захотел. Ты тут никак местный философ. Что ж, давай. — Он сделал паузу. И как бы примерился, изготовился и изрек: — В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было! Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие.

— Я не согласен, — сказал Едигей. — Такого не может быть.

— А никто и не нуждается в твоём согласии. Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры. Ну, хорошо, давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Куттыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе, за выпивкой, допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена?

— А зачем это? — искренне изумился Едигей.

— А вот зачем. — Кречетоглазый открыл одну из «Партизанских тетрадей» Абуталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место: «27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия — полковник и два майора. Мы прошлись перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек иностранных партизан среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчи-

ка, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, providение, помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелей, а возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов» — и так далее. — Закончив цитировать, кречетоглазый отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну «казбечину» и, помолчав, попылавая дымом, продолжал: — Выходит, Куттыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал! Это до тебя доходит?

— А может быть, он говорил об этом, — Едигей пытался защитить Абуталипа, — да просто забыл написать.

— А где об этом сказано? Не докажешь! Больше того, мы сверились с показаниями Куттыбаева в сорок пятом году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращении из югославского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался. Значит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он не был связан с английской разведкой!

Опять Едигею стало тяжело и больно. Не понимал он, что тут к чему и куда клонит кречетоглазый.

— Куттыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай, не называл имен английских? Нам важно знать, кто были эти, из английской миссии.

— А какие имена у них бывают?

— Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек...

— Сроду таких не слышал.

Кречетоглазый задумался, помрачнел, не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкрадчиво:

— Он что тут, школу какую-то открывал, детей учил?

— Да какая там школа! — невольно рассмеялся Едигей. — Двое у него детишек. И у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Дети откуда у нас деваются, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учителя — и он и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать. Вот и вся школа.

- Какие песенки они пели?
- Да всякие. Детские. Я и не помню.
- А чему он их учил? Что они писали?
- Буквы. Слова какие-то обычные.
- Какие, например, слова?
- Ну какие! Я не помню.

— Вот эти! — Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. — Вот это первые слова. — На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». — Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, — «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас ну-ка, подумай, что? Должно быть — «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.

Едигей замылся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:

— Если уж так, то надо бы первым долгом писать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.

Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатушке.

— Мы говорим — Сталин, подразумеваем — Ленин! — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно: — Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.

Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.

— У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?

— Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? — поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.

Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого:

— Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведения, какие сведения — это наша забота. И мы ни перед

кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?

— Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться — беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына и в отдалении он постоянно...

— Ну хорошо, — перебил его кречетоглазый. — А что сказал Кутыбаев при этом?

— Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чувствует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный — и для него и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно...

— Это потом, — остановил его кречетоглазый. — Значит, он говорил, что советский интернат — это плохо?

— Он не говорил «советский». Он просто говорил — интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».

— Ну, это неважно. Кумбель в Советском Союзе.

— Как неважно! — вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. — Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..

— Думай, думай! — проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: — Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?

— Ничего он не против! — не утерпел Едигей. — Зачем напраслину возводить! Как так можно?

— Не надо, не надо, прекрати, — отмахнулся крече-

тоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. — А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?

— Так точно, — оживился Едигей. — Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом...

— Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, — сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: — Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческого именов. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся.. А этот тут писаниной занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? — Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.

— А что это? — не понял Едигей.

— Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдилхану».

— Ну верно, это тоже легенда, — начал Едигей. — Это был. Старые люди знают эту историю...

— Не беспокойся, я тоже знаю, — перебил его кречетоглазый. — Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.

Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:

— Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.

— Ладно, ладно, успокойся, — ответил кречетоглазый. — Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прики-

дывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.

Едигей встал. Замялся, надевая шапку.

— Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?

Кречетоглазый резко привстал из-за стола.

— Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его — это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!

В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.

Ожидая впотьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы — Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозексов. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками.

Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.

Ветер гвал поземку с шорохом и едва различимым пошвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрыгалась стывшая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.

Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, который она собиралась передать мужу. Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи Укубалы. Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал, он тревожно молчал, прижавшись к тете Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, кото-

рого, заслоняя собой от ветра, держал на руках Едигей. Этот малыш ничего не подозревал.

— Папика, папика! — звал он отца. — Иди сюда, к нам. Мы тоже поедem с тобой!

Абуталип вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал:

— Не стойте здесь! Слышите? Идите отсюда, потом подойдете.

Пришлось отступить подальше.

Но вот показались издали огни паровоза, и все зашевелились, задвигались на месте. Зарипа не удержалась, всхлипнула громче. И вместе с ней заплакала Укубала. Поезд нес с собой разлуку. Пробивая лобовым светом толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной грохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза, все различной крутилась в полосе света мятущаяся поземка между рельсами, все слышней и тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда.

— Папика, папика! Смотри, поезд идет! — кричал Эрмек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается. И снова пытался обратить его внимание: — Папика, папика!

Суетившийся возле начальник разъезда Абилов подошел к тем трoим:

— Почтовый вагон будет в голове состава. Прошу, подойдите, пожалуйста, вперед. Вот туда.

Все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом, поезд уже нагонял. Впереди не оглядываясь шел кречетоглазый с портфелем, за ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников и на некотором расстоянии от них поспешали следом Зарипа, за ней Укубала, ведя за руку Даула. Едигей шел сбоку и чуть позади с Эрмеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при женщинах и детях. И пока они шли, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком.

— Ты умный мальчик, Эрмек. Ты умный, да? Ты умный, ты не будешь плакать, хорошо? — бессвязно бормотал он, прижимая к себе малыша.

А поезд тем временем, замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрог-

нул, когда паровоз, равняясь с ними и еще продвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора.

— Не бойся, не бойся, — сказал Едигей. — Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой.

Поезд остановился с долгим, тяжким скрежетом, закуржавелые от изморози и снежной пыли, подслеповатые от наледи на стеклах вагоны застыли на месте. И стало тихо. Но паровоз тут же с шипением спустил пар, готовясь снова тропуться в путь. Почтовый вагон был следующим после багажного от паровоза. Окна почтового вагона были зарешечены, а двустворчатые двери располагались посередине. Двери открылись изнутри. Выглянули мужчина и женщина в форменных почтовых фуражках, в ватных штанах и телогрейках. Женщина с фонарем была, видимо, старшей. Она была грузная и широкогрудая.

— Это вы? — сказала она, держа фонарь у головы так, чтобы всех осветить. — Ждем вас. Место готово.

Первым поднялся кречетоглазый с большим портфелем.

— Ну давайте, давайте, не задерживайте! — заторопили сразу те двое.

— Я скоро вернусь! Это какое-то недоразумение! — торопливо говорил Абуталип. — Скоро вернусь, ждите!

Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абуталип стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил прижимал к себе, целовал и что-то говорил им, испуганным и ничего не понимающим. А паровоз был уже под парами. Все это происходило при свете ручного фонаря. И тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, свербящий душу свисток.

— Ну все, давай-давай, садись! — потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона.

Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокрыми щетинистыми щеками.

— Рассказывай им про море! — шепнул Абуталип.

То были его последние слова. Едигей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море.

— Ну хватит тут, давай, а ну давай, садись давай! — растолкали их.

Подпирая сзади плечами, те двое втолкнули Абуталип-

па в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они заплакали в голос, закричали:

— Папика! Папа! Папика! Папа!

И рванулся Едигей с Эрмеком на руках к вагону.

— Ты куда? Ты куда? Бог с тобой! — яростно отталкивала его в грудь женщина с фонарем, заслоняя тяжелыми плечами проход к дверям.

Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов был, если бы на то пошло, сам уехать вместо Абуталипа, чтобы по дороге придушить кречетоглазого собственными руками, так стало ему невыносимо больно, когда закричали ребята.

— Не стойте здесь! Уходите отсюда, уходите! — орала женщина с фонарем. И пар из ее крепко прокуренного рта ударил луковым духом в лицо Едигея.

Зарипа вспомнила про узелок.

— Нате, передайте, это еда! — кинула она узелок в вагон.

И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло. Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скрипуче раскручивая колеса, медленно набирая ход по морозу.

Боранлинцы невольно потянулись за отходящим поездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первой опомнилась Укубала. Она схватила Зарипу, прижала ее к груди и не отпустила.

— Даул, не уходи! Стой, стой здесь! Держи маму за руку! — громко велела она, пересиливая перестук все убыстряющихся, пробегающих мимо колес.

А Едигей с Эрмеком на руках еще пробежал по ходу поезда и, лишь когда промелькнул последний вагон, остановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум движения и рдеющие угасающие огни... Послышался последний протяжный гудок...

Едигей повернул назад. И долго не мог успокоить плачущего мальчика...

Уже дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове. Едигей тихо поднялся, стал одеваться. Укубала сразу догадалась.

— Ты куда? — схватила она мужа. — Не тронь его, пальцем даже не смей трогать! У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь?

— Не беспокойся, — спокойно ответил Едигей. — Я его не трону, но он должен знать, что ему лучше перебраться в другое место. Я тебе обещаю — даже волоска

не упадет с его головы. Поверь мне! — он выдернул руку и вышел из дома.

Окна Абиловых еще светились. Значит, не спали.

Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыл Абилов.

— А, Едике, заходи, заходи, — испуганно проговорил он и, бледнее, попятился назад.

Едигей молча вошел вместе с клубами морозного пара. Остановился на пороге, прикрыл за собой дверь.

— Ты зачем осиротил этих несчастных? — сказал он, стараясь быть как можно сдержанней.

Абилов упал на колени и буквально пополз, хватаясь за полы Едигеева полушубка.

— Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не разродиться! — страшно поклялся он, оборачиваясь к замершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь и сбиваясь: — Ей-богу, не я, Едике. Как я мог! Это тот самый ревизор! Вспомни. Это он все допытывался да расспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет. Это он, тот ревизор. Как я мог! Вот чтобы ей не разродиться! Да я давеча у поезда не знал, куда себя деть, готов был провалиться, чтобы не видеть! Этот ревизор все в душу лез с разговорами и все расспрашивал обо всем, откуда мне было знать... Да если бы я знал...

— Ну ладно, — прервал его Едигей. — Встань, поговорим как люди. Вот при жене твоей. Пусть благополучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты и не виноват. Но ведь тебе все равно где жить. А нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так ты подумай. Наверно, стоит тебе со временем перебраться на другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к этому разговору не вернемся. Только это и хотел сказать и больше ничего...

С тем Едигей вышел, закрыв за собой дверь.

IX

На Тихом океане, южнее Алеутов было далеко за полдень. Все так же штормило вполсилы, все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядками волны одна вслед за другой, являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту. Авганосец «Конвенция» слегка покачивался на волнах. Он находился на прежнем месте, на строго одинако-

вом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. Все службы судна международной научной программы находились в напряжении, в полной готовности к действиям.

К этому времени на борту авианосца завершалось экстренное заседание особоуполномоченных комиссий по расследованию чрезвычайного положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе светила Держатель. Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет-космонавты 2-1 и 1-2 все еще находились на планете Лесная Грудь, трижды предупрежденные Обценупром через радиосвязь орбитальной станции «Паритет» — ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний Обценупра.

Эти категорические требования Обценупра отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию, тот накал разногласий в отношениях сторон, которые грозили полным разрывом сотрудничества и более того — открытой конфронтацией. То, что недавно сближало стороны в интересах интегрированной научно-технической мощи ведущих держав, — программа «Демидург» сама собой отошла на второй план и сразу утратила свое бывшее значение перед лицом суперпроблемы, неожиданно возникшей с обнаружением внеземной цивилизации. Члены комиссий отчетливо понимали одно: что это небывалое, ни с чем не сопоставимое открытие подвергало кардинальному испытанию сами основы современного мирового сообщества, все то, что проповедовалось, культивировалось, вырабатывалось в сознании поколений из века в век, — всю совокупность правил его существования. Мог ли кто отважиться на такой рискованный шаг, не говоря уж о соображениях тотальной безопасности земного мира?

И тут снова, как всегда в кризисные моменты истории, обнажились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле.

Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Разность взглядов, разность подходов все больше принимала характер непримиримых позиций. Дело стремительно катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы были неминуемо вылиться в мировую войну. Каждая сторона поэтому пыталась воздержаться от крайностей перед

общей опасностью подобного рода развития событий, но еще большим сдерживающим фактором служила нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земного сознания, что могло стихийно произойти, если бы весть о внеземной цивилизации стала фактом общей гласности... Никто не мог поручиться за последствия такого исхода дела...

И наконец стороны пришли к компромиссу — вынужденному и опять же на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиограмму Обценупра следующего содержания:

«Космонавтам-контролерам 1-2, 2-1. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем «Паритета» с паритет-космонавтами 1-2, 2-1, находящимися в засолнечной Галактике, в так называемой системе светила «Держатель», на планете Лесная Грудь. Необходимо срочно поставить их в известность, что на основании заключений двусторонних комиссий, изучивших информацию о внеземной цивилизации, открытой паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, Обценупр принимает решение, не подлежащее пересмотру:

а) не допускать возвращения бывших паритет-космонавтов 1-2 и 2-1 на орбитальную станцию «Паритет» и тем самым на Землю как лиц, нежелательных для земной цивилизации;

б) объявить обитателям планеты, именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле;

в) предупредить бывших паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались установить связь с землянами ни тем более проникать в околоземные сферы, как это имело место в случае посещения инопланетянами орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин»;

г) в целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Обценупр объявляет установление в срочном порядке Чрезвычайного транс-космического режима под названием операция «Обруч», запрограммировав серию барражирующих по заданным орбитам боевых ракет-роботов, рассчитанных на уничто-

жение ядерно-лазерным излучением любых предметов, приблизившихся в космосе к земному шару;

д) довести до сведения бывших паритет-космонавтов, самовольно вступивших в контакт с инопланетными существами, что в целях безопасности, сохранения сложившейся стабильности геополитической структуры землян исключается какая-либо возможность связи с ними. А потом будут предприняты все меры строжайшего засекречивания события, имевшего место, и меры по недопущению возобновления контактов. С этой целью орбита станции «Паритет» будет немедленно изменена, а каналы радиосвязи станции будут наново закодированы;

е) еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам «Обруча» вокруг земного шара.

Общепупр. Борт авианосца «Конвенция».

Прибегая к этим оградительным мерам, Общепупр вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу «Демидург» по освоению планеты Икс. Орбитальную станцию «Паритет» предстояло перевести на другие параметры вращения и использовать ее для текущих космических наблюдений. Кооперативный научно-исследовательский авианосец «Конвенция» было решено передать на сохранение нейтральной Финляндии. После запуска в дальний космос системы «Обруч» всем паритетным службам, всем научным и административным работникам, всей подсобной службе предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности Общепупра.

Для широкой общественности предполагалось объявить, что работы по программе «Демидург» приостанавливаются на неопределенное время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете Икс.

Все было тщательно продумано. И всему этому предстояло быть сразу же после экстренного вывода «Обруча» вокруг земного шара.

Перед этим, непосредственно после окончания заседания комиссий, все документы, все шифровки, вся информация бывших паритет-космонавтов, все протоколы, все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к этой печальной истории, были уничтожены.

На Тихом океане, южнее Алеутов, время клонилось к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно

сносная. Но все-таки волнение океана постепенно усиливалось. И уже слышен был рокот вскипающих повсюду волн.

Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала момента выхода членов особоуполномоченных комиссий к самолетам по завершении заседания. Но вот они вышли все. Распрощались. Одни пошли на посадку к одному самолету, другие — к другому.

Взлет прошел отлично, несмотря на качку. Один из лайнеров взял курс на Сан-Франциско, другой в противоположную сторону — на Владивосток.

Омываемая вышними ветрами, плыла Земля по вечным кругам своим. Плыла Земля... То была маленькая песчинка в неизмеримой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в мире было великое множество. Но только на ней, на планете Земля, жили-были люди. Жили как могли и как умели и иногда, обуреваемые любознательностью, пытались выяснить для себя, нет ли еще где в других местах подобных им существ. Спорили, строили гипотезы, высаживались на Луну, засылали автоматические устройства на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горечью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет никого и ничего похожего на них, как и вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали, не до того было, не так-то просто удавалось им жить и ладить между собой, да и хлеб насущный добывать стоило трудов... Многие вообще считали, что не их это дело. И плыла Земля сама по себе...

Весь тот январь был очень морозным и мглистым. И откуда столько холода нагоняло в сарозеки! Поезда шли со смерзшимися буксами, добела прокаленные ледяной стужей. Странно было видеть — черные нефтеналивные цистерны остапавливались на разъезде сплошь белой, завьюженной, в изморози чередой. А стронуться с места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдергивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса. И эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе далеко вокруг лязгающим железным громыханием. По ночам дети боранлинцев испуганно просыпались от этого грохота.

А тут еще и запасы начались на путях. Одно к другому. Ветры ошалели. В сарозеках им был полный про-

стор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И казалось боранлинцам, ветер так и норовил наметать сугробы именно на железной дороге. Только и высматривал любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, завалить пути тяжким свеем.

Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только и знали что из конца в конец перегона расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выручали верблюжьими волокуши. Весь тяжелый верхний слой заноса вывозили на обочину дороги волокушей, а остальное приходилось довершать вручную, Едигей не жалел Каранара и был доволен возможностью измотать его, усмирить в нем буйную силу, впряг в пару с другим, под стать ему по тяге верблюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы поперечной доской с противовесом позади, на котором сам стоял, придавливая волокушу собственной тяжестью. Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что вышли уже с заводов специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в скором времени прислать такие машины, но пока обещания оставались на словах.

Если летом месяца два припекало до умопомрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно — казалось, легкие разорвутся. И все равно поезда шли и дело требовалось делать. Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавшей поблескивать кое-где сединками, глаза вспухали от недосыпания, лицо — в зеркало глянуть отвратно: как чугун стало. Из полушубка не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном. На ногах валенки.

Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история Абуталипа Куттыбаева. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думали-гадали они с Казангапом — как же все это приключилось и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем. А однажды сказал:

— Всегда так бывало. Пока еще разберутся... В давние дни не зря говорили: «Хан не бог. Он не всегда знает, что делают те, что при нем, а те, что при нем, не знают о тех, кто на базарах поборы собирает». Всегда было так.

— Да что ты, слушай! Тоже мне мудрец, — недовольно высмеял его Едигей. — Когда им дали по шапке, ханам всяким! Да разве дело в этом!

— А в чем? — резонно спросил Казангап.

— В чем, в чем! — раздраженно проворчал Едигей, но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа.

Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Куттыбаевых — Даул. Свалился в жару и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина. Лечила его всякими таблетками. Но при детях находиться неотлучно она не могла: работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то днем выходила на дежурство. Пришлось Укубале взять на себя эти заботы. Своих двое да ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа. И Едигей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика и, если успевал, растапливал печь. Каменный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засыпал сразу ведра полтора угля, чтобы целый день тепло держалось для детей. Воду из цистерны на тупиковой линии тоже сам приносил, дрова колол на растопку. Что стоило ему сделать то, сделать это, дров наколоть, воды принести и прочее... Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза Абуталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал большой, он был по характеру сдержанным малым, но младший, Эрмек, тот в мать, живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый, с ним трудно приходилось. Когда Едигей заносил поутру уголь и растапливал печь, то старался не разбудить ребят. Однако редко когда удавалось уйти незамеченным. Кудрявый, черноголовый Эрмек сразу просыпался. И первый его вопрос, как только открывал глаза, был:

— Дядя Едигей, а папика приедет сегодня?

Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистребимой надеждой в глазах, что стоит Едигею сказать «да» — и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едигей сгребал его в охапку, худенького, теплого, и снова укладывал в постель. Разговаривал как со взрослым:

— Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет твой папика, но со станции нам должны сообщить по связи, каким поездом он вернется. Ведь у нас пассажирские поезда не останавливаются, сам знаешь. Только по приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на днях должны передать. И тогда мы с тобой и с Даулом,

вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду и встретим.

— Мы скажем: папика, а вот и мы!

— Ну конечно! Мы так и скажем, — бодрым тоном поддерживал Едигей.

Но сообразительного малыша не так-то просто было провести.

— Дядя Едигей, а давай, как тогда, сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру. И скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на котором приедет папика.

Приходилось выкручиваться.

— Но ведь тогда было лето, тепло. А сейчас на товарном поезде как поедешь? Холодно очень. Ветрище. Вон видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем, застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно.

Мальчик примолкал грустно.

— Ты полежи пока, а я посмотрю Даула, — находил причину Едигей, подходил к постели большого, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка... Тот с трудом приоткрывал глаза, слабо улыбался спекшимися от жара губами. Жар все еще держался. — Ты не раскрывайся. Ты потный. Слышишь, Даул? Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь? Чтобы он не вставал. Скоро ваша мама придет с дежурства. А тетя Укубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам, играть с Сауле и Шарапат. Мне на работу пора, а то ведь снег какой большой, поезда остановятся, — заговаривал Едигей ребят перед уходом.

Но Эрмек был неумолим.

— Дядя Едигей, — говорил он ему, стоящему уже на пороге. — Если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У меня есть лопатка.

Едигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Саднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет. И вымещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе. Работал как зверь, точно бы один мог остановить всю сарозекскую пургу...

А дни шли как капли, падающие с неотвратимой размеренностью одна за другой. Вот и январь миновал, и холода начали слегка сдавать. От Абуталипа Куттыбаева не было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и

Казангап — по-всякому думали, судили мужики. И тому и другому казалось, что должны его отпустить вскорости, что уж там такого страшного — писал что-то для себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и эту надежду внушали они как могли Зарипе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, на сколько хватило бы ее выдержки.

Бурапный Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь взглянуть, как гурт верблюжий пасется и, главное, как ведет себя Каранар. Не покалечил ли кого в стаде? Перебесился ли, пора уж. Пошел на лыжах, это было неподалеку. Вернулся вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке. Пасутся животные в Лисохвостовой ложине, снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой лыжи оставить. Старшая дочка Сауле выглянула из двери испуганная:

— Папа, мама плачет! — И скрылась.

Едигей бросил лыжи, встревоженный, поспешил в дом. Укубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание.

— Что? Что случилось?

— Будь проклято все в этом проклятом мире! — запричитала, захлебываясь, Укубала.

Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. Укубала была крепкой, трезвой женщиной.

— Это ты, ты во всем виноват!

— В чем? В чем я виноват? — поразился Едигей.

— Наговорил с целый короб несчастным детишкам.

А давеча, вот только что, останавливался пассажирский, встречный у него был впереди. Остановился пропустить его. И откуда только они сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Папа! Папика! Папика приехал!» И к поезду! Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папа, папика! Где наш папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась. А они бегут. Длинный глухой состав. А они бегут! И пока догнала я, пока ухватила этого, младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся и пошел. А они вырываются: «Там папика паш, не успел сойти с поезда!» — и такой

рев подняли. Сердце мое зашлось, думала, с ума сойду, так кричали и плакали они. С Эрмеком плохо! Иди успокой ребенка! Иди! Это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился! Если бы ты видел! И зачем только так устроено в жизни, зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дите к отцу? Зачем такие страдания?

Едигей шел к ним как на казнь. И только об одном молил бога: чтобы снизошел он и простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ. Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как держать ответ?

При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд...

— Сагындым *, папикамды! Сагындым, сагындым! — кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием, надеждой, горем.

— Сейчас я все узнаю. Тише, тише, не плачьте, — пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить зашедшихся в реве ребят. И еще труднее было самому выстоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети не увидели в нем слабого, беспомощного человека. — Вот сейчас мы пойдем, мы пойдем! «Куда пойдем? Куда? К кому пойдем? Что делать? Как быть?» — думал он при этом. — Вот мы сейчас выйдем и там подумаем, поговорим, — обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал что-то бессвязное.

Он подошел к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку.

— Зарипа, Зарипа! — тронул ее за плечо Едигей.

Но она даже не подняла головы.

— Мы пойдем сейчас походим, побродим пемного вокруг, а потом заглянем к нам, — сказал он ей. — Я пойду с ребятами.

Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому собраться с мыслями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги. Никогда еще не испытывал Буранный Едигей такого со-

* Сагындым — истосковался, измучился в тоске.

страдания к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему в затылок. Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое существо так доверчиво прикикло к нему, так доверчиво ухватило за его плечи, а второе такое же существо так доверчиво держалось за его руку, что Едигею было хоть криком кричать от боли и жалости к ним.

Так шли они вдоль железной дороги среди пустынных сарозеков, и лишь поезда проходили, грохоча, то в одну, то в другую сторону... Приходили и уходили...

И опять вынужден был Едигей сказать детям неправду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, который случайно остановился на их разъезде, шел в другую сторону, а их папика должен прибыть с другой стороны. Но вернется он, наверное, не так скоро. Оказывается, его послали на какое-то море матросом, и как только корабль приплывет из того далекого путешествия, он придет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, эта неправда должна была помочь им пока держаться, пока неправда сбудется правдой. Едигей не сомневался, что Абуталип Куттыбаев вернется. Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется, ни одной секунды не задержится, как только его освободят. Отец, так любящий детей своих, не промедлит ни секунды... И потому Едигей говорил неправду... Достаточно хорошо зная Абуталипа, Едигей лучше, чем кто-либо, представлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей. Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тяжело переживал бы временную отлучку, пусть и не по своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой. А для Абуталипа, Едигей в этом не сомневался, то было равносильно высшей мере наказания. И боялся Едигей за него. Выдержит ли, дождется ли, пока будут вершить суд да дело...

Зарипа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующие учреждения с запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свидание. Пока никакого ответа не было. Казангап и Едигей тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разъезд Боранлы-Буранный не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг... А такой способ связи, как известно, не всегда самый быстрый.

Так оно и случилось однажды...

В самых последних числах февраля ездил Казангап в Кумбель проведать Сабитжана в интернате. Ездил верхом на верблюде. В проходящих товарняках зимой слишком уж холодно было добираться. В вагоны не залезешь, запрещено, а на открытых площадках ветер невыносимый. На верблюде же, тепло одевшись, можно при хорошем ходе спокойно за день съездить туда и обратно и дела успеешь сделать.

Казангап вернулся в тот день к вечеру. Пока он спешивался, Едигей еще подумал — что-то не в духе Казангап, что-то уж очень мрачен, сын, паверно, нашкодил в интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом туда-сюда.

— Ну, как съездил? — подал голос Едигей.

— Да ничего, — глухо отозвался Казангап, занятый своей поклажей. Потом обернулся и, подумав, сказал: — Ты сейчас дома будешь?

— Дома.

— Дело есть. Я сейчас зайду к тебе.

— Заходи.

Казангап не заставил себя ждать. Пришел вместе со своей Букей. Сам впереди, жена следом. Оба они были чем-то очень озабочены. У Казангапа был усталый вид, шея еще больше вытянулась, плечи обвисли, усы поникли. Толстая Букей одышливо дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть.

— Вы что такие, вы, часом, не поругались? — поспеялась Укубала. — Мириться пришли. Садитесь.

— Если бы поругались, — набрякшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша.

Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался:

— А девчухи ваши где?

— У Зарины играют с ребятами, — ответил Едигей. — А зачем они тебе?

— Вести у меня плохие, — промолвил Казангап, глянув на Едигея и Укубалу. — Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип!

— Да ты что?! — подскочил Едигей, а Укубала, коротко вскрикнув, зажала ладонью рот и побелела, как стена.

— Умер! Умер! Несчастные дети, несчастные сироты! — полухрипом-полушепотом запричитала Букей.

— Как умер? — все еще не веря услышанному, испуганно придвинулся Едигей к Казангапу.

— Бумага такая пришла на станцию.

И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга.

— Ой, горе! Ой, горе! — схватилась за голову Укубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону...

— Где эта бумага? — спросил наконец Едигей.

— Бумага на месте, на станции, — стал рассказывать Казангап. — Ну, побывал я в интернате и дай, думаю, загляну на вокзал в магазинчик тот самый в зале ожидания, Букей мыла просила купить. Только я к двери, а навстречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит: «Вот кстати попался на глаза, зайдём ко мне в кабинет, письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с печатными буквами. «Абуталип Куттыбаев, говорит, у вас работал на разъезде?» У нас, говорю, а что такое? «Да вот третьего дня прибыла эта бумага, а передать не с кем было на Боранлы-Буранный. На, передай его жене. Тут ответ на ее запросы. Умер он, как тут написано», — и сказал какое-то непонятное мне слово. «От инфаркта, говорит». А это что такое — инфаркт, говорю я. А он отвечает — «от разрыва сердца». Вот оно как — лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале. Взял в руки ту бумагу. Там сказано: начальнику станции Кумбель сообщить на разъезд Боранлы-Буранный официальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос — и дальше о том, что последственный Абуталип Куттыбаев, так и так, умер от приступа. Так и сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. «Вот какие дела, — говорит Чернов и разводит руками. — Возьми, передай ей». Я говорю — нет, у нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые, как я посмею их сокрушить, нет, говорю. Мы, говорю, боранлинцы, вначале там у себя посоветуемся и потом решим. Или кто из нас приедет специально за этой бумагой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую весть, не воробей же погиб, человек, или скорей всего жена его, Зарипа Куттыбаева, сама приедет и получит из ваших рук. И вы уж сами объясните да расскажете, как все произошло. А он мне: «Дело, говорит, твое, как хочешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать. Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело передать эту бумагу по назначению, вот и все». Ну, я говорю, извините, но пусть пока бумага побудет у вас, а на

словах я передать передам, и мы посоветуемся там у себя, на месте. «Ну, смотри, говорит, тебе виднее». С тем я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и сердцем изболевая: как же нам быть? У кого из нас хватит духу сказать им такое?..

Казангап замолчал. Едигей пригнулся так, как будто гора налегла на плечи.

— Что теперь будет? — промолвил Казангап, но ему никто не ответил.

— Я так и знал, — горестно покачал головой Едигей. — Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я больше всего боялся. Не вынес разлуки. А тоска — это вещь страшная. Вот детишки его так тоскуют по отцу — смотреть на них нет сил. А был бы он другим человеком, ну пусть, скажем, осудили бы его не знаю за что, ну пусть бы осудили его. Ну отсидел бы год, два или сколько и вернулся бы. Ведь он в немецком плену, в концлагерях сколько натерпелся, в партизанах тоже несладко приходилось, и все эти годы воевал в чужих краях и не сломился, потому что тогда он был один, сам по себе, тогда семьи у него не было. А сейчас его, что называется, с живым мясом отодрали от живого, от самого дорогого для него, от детей. Вот и случилась беда...

— Да-а, я тоже так думаю, — отозвался Казангап. — Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не то, совсем молодой ведь, и умный, и грамотный, дождался бы, когда разберутся да освободят. Не виноват ведь ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце, выходит, не выдержало...

Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой весте Зарипу, но как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином к одному — семья лишилась отца, дети осиротели, Зарипа овдовела, и к этому ничего ни прибавить, ни убавить. Однако самое разумное предложение высказала все-таки Укубала:

— Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции. Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей. И пусть решит — там, на станции, и по пути назад будет у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об этом или пока не стоит. Может, решит подождать, пока они чуточку подрастут да позабудут хоть немного отца. Трудно ведь сказать...

— Ты верно говоришь, — поддержал ее Едигей. — Она мать, пусть сама решает, скажет или не скажет ре-

бятam о смерти Абуталипа. Я лично не могу... — И дальше Едигей не смог выговорить, язык не подчинился, он закашлялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувший его горло.

И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к общему мнению.

— Надо, Казаке, — посоветовала она Казангапу, — чтобы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы. Но просили прибыть ее лично, так, мол, надо. А во вторых, — продолжала она, — нельзя Зарипу отправлять туда одну в такой день. У них тут ни родных, ни близких. А самое страшное в горе — это одиночество. Ты, Едигей, поезжай вместе с ней, будь рядом в этот час. Мало ли что может случиться при таком несчастье. Скажи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вместе. А дети побудут у нас.

— Хорошо, — согласился Едигей с доводами жены. — Завтра я скажу Абилову, что Зарипу требуется повезти в больницу на станцию. Пусть приостановит на минуту проходящий поезд.

На том порешили. Но выехать в Кумбель им удалось лишь через два дня на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе начальника разъезда. То было 5 марта. Буранный Едигей навсегда запомнил тот день.

Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось полно, с семьями, с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами до очумелости и бабьими полуприглушенными исповедями друг другу о нелегком житье-бытье, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах... Люди ехали далеко. И им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь... К ним со своей бедой и горем прикнули ненадолго Зарипа и сопровождавший ее Буранный Едигей.

Конечно, Зарипе было не по себе. Сумрачная, встревоженная, она всю дорогу молчала, раздумывая, должно быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. Едигей тоже больше помалкивал.

Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, замечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком. Когда Зарипа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидевшая на лавке против Едигей, сказала, глянув добрыми, когда-

то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами:

— Что, сынок, жена-то у тебя больная?

Едигей даже вздрогнул.

— Не жена, а сестра она мне, мамаша. В больницу везу.

— То-то, гляжу, мается бедняжка. И очень ей худо. Глаза в горести беспросветные. Боится небось в душе-то. Боится, как бы в больнице болезнь какую страшную не отыскали. Эх, жите наше бытье! Не родишься — свет не увидишь, а родишься — маеты не оберешься. Так-то оно. Да господь милостив, молодая еще, обойдется, чай, — приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту смятенность и печаль, которые переполняли Зарицу все сильнее с приближением к стапции.

Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам поезда было безразлично, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие сарозеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернели оттаявшие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, и повсеместно снег начал оседать от влажного, оттепельного ветра, пробудившегося в степи с приходом марта. Однако солнце еще затворялось в сплошных низких тучах, серых и водянистых даже с виду. Жива была еще зима — мокрый снег мог повалить, а то и метель напоследок могла завяяться...

Поглядывая в окно, Едигей оставался на своем месте, напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая с ней, но к Зарипе не стал подходить. Пусть, думал он, одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает свое положение. Может быть, какое-то внутреннее предчувствие подскажет ей что-то. Возможно, припомнится ей та поездка в начале осени прошлого года, когда они все вместе, обе семьи со всей ребятней забрались в попутный товарняк и поехали в Кумбель за дынями и арбузами и были очень счастливы, а для детей то было незабываемым праздником. Совсем недавно, казалось бы, все это происходило. Сидели они тогда, Едигей и Абуталип, у приоткрытых дверей вагона на ветерке и разговоры вели всякие, крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены, Зарипа и Укубала, тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом

ходили по магазинам и по станционному скверу, в кино побывали, в парикмахерской. Мороженое ели ребята. Но самое трагикомичное было, когда они так и не смогли все вместе уговорить Эрмека подстричься. Боялся он почему-то прикосновения машинки к голове. И вспомнилось Едигею, как появился в тот момент в дверях парикмахерской Абуталип и как сынишка кинулся к нему, а тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защищая от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и сделают это в следующий раз, а пока потерпит. Чернокудрый Эрмечик растет и поныне не стриженный от рождения, но теперь без отца...

И снова, уже в который раз пытался Буранный Едигей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталип Куттыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению — только безысходная тоска по детям надорвала ему сердце. Только разлука, тяжесть которой дано далеко не всем постичь, только горестное сознание того, что сыновья, а без них он не представлял себе не то что жизни — дыхания, без которого мгновенно прерывается самая жизнь, остались оторванными, брошенными на произвол судьбы на каком-то разъезде, в безлюдных, безводных сарозеках, только это убило его...

Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке в пристанционном скверике, поджидая Зарипу. Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции.

Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое, облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то изредка падало — то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи волглый, пахнущий уже тропутыми таяньем лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едигею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей в станционной суете и сутолоке, сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен, а тут поезда поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шныряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино: вот оно есть — прибыл поезд, и вот его не станет — убыл поезд.

В этот раз все это не интересовало его. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга... К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно

хрипящему на всю пристанционную площадь, вызывала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Что за музыка? Вот заладили. И что-то не слышно было величественно-напыщенных голосов дикторов. Заладили одну музыку!..

Прошло уже минут двадцать, а то и больше, как Зарипа скрылась в вокзальном помещении. Едигей стал беспокоиться, и, хотя они твердо договорились, что он будет ждать ее на этой скамейке, на этой именно, где в прошлый раз с детьми и Абуталипом сидели они и ели мороженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть, что там.

И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, и она шла, никуда не глядя, как во сне, ни на кого и ни на что не натываясь, точно бы ничего вокруг не существовало, шла как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. Едигей встал при ее приближении. Она подходила, казалось, очень долго, опять же как во сне, настолько страшно, отстраненно было ее медленное приближение с опустевшими глазами. Минула, быть может, целая вечность, бездна холодной, темной протяженности невыносимого ожидания, покуда она подошла вплотную, держа в руках ту самую бумагу в плотном конверте с напечатанными, как выразился Казангап, буквами, и, подойдя, сказала, разомкнув губы:

— Ты знал?

Он медленно склонил голову.

Зарипа опустилась на скамейку и, закрыв лицо руками, крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату. Она плакала, собравшись в мучительный содрогающийся комок, уходила, утупала, проваливалась все глубже в себя, в свое безмерное страдание, а он сидел рядом и готов был, как тогда, когда увозили Абуталипа, оказаться вместо него, на его месте и принять на себя, не задумываясь, любые муки, только бы защитить, избавить эту женщину от удара. Он понимал при этом, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды.

И так они сидели на скамейке пристанционного скверика. Зарипа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-

то момент не глядя отшвырнула прочь скомканный конверт со злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь, та бумага, коли самого в живых не было? Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил Зарипу утереть слезы. Но это не помогло.

А музыка лилась по радио над станцией, как знаючи, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серо и влажно нависало над головой, ветер донимал душу порывами. Прохожие же косились на эту пару, на Зарипу и Едигея, думали, конечно, про себя: вот, мол, поскандалили людишки. Обидел он ее, наверно, крепко... Но, оказывается, не все так думали.

— Плачьте, добрые люди... Плачьте, — раздался рядом соболезнующий голос. — Лишились мы родимого отца! Как-то теперь будет?

Едигей поднял голову и увидел проходящую мимо женщину в старой шинели, на костылях. Одну ногу у нее отняли по самое бедро. Он ее знал. Бывшая фронтовичка, работала в билетной кассе на станции. Кассирша была сильно заплаканна и, плача, шла, приговаривая: «Плачьте. Плачьте. Как-то теперь будет?» И, плача, прошла дальше, привычно переставляя с тупым перестуком костыли под неестественно приподнятыми плечами, шаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающей старый солдатский сапог...

Смысл ее слов дошел до Едигея, когда он увидел, как столпились вдруг люди перед входом на станцию. Задрав головы, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали высоко над дверью большой военный портрет Сталина в черном, траурном обрамлении.

Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала. В другое время он тоже поднялся бы, и постоял среди людей, и разузнал бы, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращения мира, но сейчас своего горя хватало. Он не проронил ни слова. И Зарипе было ни до кого и ни до чего...

А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни произошло на свете. Через полчаса должен был проходить по линии поезд дальнего следования под номером семнадцать. Как и все пассажирские, он не останавливался на таких разъездах, как Боранлы-Буранный. С тем расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло прийт-

ти в голову, что на этот раз придется семнадцатому остановиться на Бораилы-Буранном. Так решил про себя, причем твердо и спокойно, Едигей. Он сказал Зарипе:

— Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полчаса. Ты должна сейчас продумать как следует, как быть — скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь. Я не буду тебя успокаивать и что-то подсказывать, ты сама себе голова. Теперь ты им и вместо отца и вместо матери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути. Если ты решишь пока не говорить ребятам, то бери себя в руки. При них ты не должна лить слезы. Сможешь ли, хватит ли сил у тебя? И мы должны знать, как вести себя при них. Понимаешь? Вот ведь какой вопрос.

— Хорошо, я все понимаю, — ответила сквозь слезы Зарипа. — И пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я сейчас, я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас...

В поезде на обратном пути было все так же. Люди ехали скопом, в табачном дыму, все так же бороздя великую страну из края в край.

Зарипа и Едигей попали в купированный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна, с самого края, чтобы не мешать другим и погворить о своих делах. Едигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предлагал ей свое место.

— Так мне будет лучше, — сказала она.

И теперь, все еще паредка всхлипывая, преодолая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое — вдовье — житье-бытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталип, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, и снова будут они вместе всей семьей, а все остальное образуется — нашли бы способ, как ни трудно, выжить, выстоять и сыновей воспитать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думать думать...

О том же думал и Буранный Едигей, поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог. Так уж оно получилось. Однако он считал, что сейчас больше чем когда-либо должен быть сдержанным и спокойным и тем самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не то-

ропил ее. И правильно сделал. Наплакавшись, она сама начала разговор.

— Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет, — проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоня в себя плач. — Не могу сейчас. Особенно Эрмек... Зачем такая привязанность, это страшно... Как лишить их мечты? Что с ними будет? Ведь они только этим и живут... Ждут, ждут изо дня в день, каждую минуту... Надо будет со временем выбраться отсюда, переменить место... Пусть подрастут немного. За Эрмека очень боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет... И тогда скажу, да и сами догадаются понемногу... А сейчас нет, не в силах... Пусть уж я сама... Напишу письма братьям и сестрам, своим и его. Теперь-то что им бояться нас? Откликнутся, надеюсь, помогут уехать... А там видно будет... Мне теперь только бы детей Абуталипа вырастить, раз уж самого нет...

Так рассуждала она, а Буранный Едигей молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это лишь самая малая толика, самая поверхностная часть того, что, как смерч, пронеслось и пронесится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях... Потому он сказал, стараясь нисколько не расширить границ разговора:

— Пожалуй, ты права, Зарипа... Если бы я не знал этих ребят, сомневался бы. Но на твоём месте я тоже не посмел бы сказать такое. Немножко надо подождать. А пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни в чем, что касается нас. Как были, так и будем держаться. Работай, как и прежде, дети будут у нас вместе с нашими. Сама знаешь, Укубала любит их как своих. А остальное видно станет...

И еще сказала в этом разговоре Зарипа с тяжелым вздохом:

— Вот ведь как устроено, оказывается, в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязанно. Конец, начало, продолжение... Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня. И в этом спасение, и в этом продолжение. Горькое, тяжкое, но продолжение... И думаю я сейчас со страхом не о том даже, когда они узнают правду, от этого никуда не денешься, а о том, что будет дальше. Это всегда будет в них кровоточить, то, что случилось с их отцом. В любом случае, будут ли они по-

ступать на учебу, на работу, предстоит ли им проявить себя в чем-то в глазах общества, с этой фамилией им нигде ходу не будет... И когда я думаю об этом, мне кажется, что существует какая-то всеильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Я его щадила, он меня. С ним, я была в том уверена, наши сыновья выросли бы полноценными людьми... И это нас оберегало от разрушений, от невзгод... А теперь я не знаю... Я не смогу заменить им его... Потому что он — это был он... Он бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, перевоплотиться в своих детей. Потому он и умер, оттого, что его оторвали от них...

Едигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа высказала эти сокровенные мысли ему как наиболее близкому человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то отозваться, оградить, помочь, но сознание своего бессилия угнетало его, вызывало глухое, подспудное раздражение.

Они уже приближались к разъезду Боранлы-Буранному. По знакомым местам, по перегону, на котором Буранный Едигей сам работал многие лета и зимы...

— Ты приготовься, — сказал он Зарипе. — Прибываем уже. Значит, так и порешили — детям пока ни слова. Хорошо, так и будем знать. Ты, Зарипа, сделай так, чтобы не выдать себя. А сейчас приведи себя в порядок. И иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем.

— Что ты хочешь сделать?

— Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти с поезда.

Как всегда, пассажирский поезд номер семнадцать шел напролет через разъезд, правда сбавляя скорость у семафора. Именно в этот момент, при въезде на Боранлы-Буранный, поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакали с мест. Раздались выкрики, свистки по всему поезду.

— Что такое?

— Стоп-кран сорвали?

— Кто?

— Где?

— В купированном!

Едигей тем временем открыл дверь Зарипе, и она сошла с поезда. А сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор.

— Стой! Кто сорвал стоп-кран?

— Я, — ответил Буранный Едигей.

— Кто такой? По какому праву?

— Надо было.

— Как надо было? Ты что, под суд захотел?

— А ничего. Запишите в своем акте, который вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангельдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Боранлы-Буранный в знак траура в день смерти товарища Сталина.

— Как? Разве Сталин умер?

— Да, по радио объявили. Слушать надо.

— Ну тогда другое дело, — онешили те и не стали задерживать Едигея. — Тогда иди, раз такое дело.

Через несколько минут поезд номер семнадцать продолжил свой путь...

И снова шли поезда с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали все те же, испокон нетронутые пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Космодрома Сары-Озек-1 тогда еще не было и в помине в этих пределах. Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов космических полетов.

А поезда все так же шли с востока на запад и с запада на восток...

Лето и осень пятьдесят третьего года были самыми мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого, ни после никогда никакие снежные заносы на путях, никакие сарозекские зной и безводье, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Едигею стольких страданий, как те дни...

Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному Едигею, отчего происходят оползни, эти неотвратимые сдвиги, когда обвалываются, трогаясь с места, целые склоны, а то и вся гора заваливается набок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди — какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том, что катастрофа назревает незаметно, изо дня в день, ибо

грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород — и достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапно и разом. Оползень же идет грозно, и нет никаких сил, которые могли бы его приостановить...

Нечто подобное может произойти и с человеком, когда остается он один на один со своими неодолимыми противоречиями и мечется, сокрушаясь духом, не смея поведать о том никому, ибо никто на свете не в состоянии ни помочь ему, ни понять. Он об этом знает, это страшит его. И это надвигается на него...

Первый раз Едигей почувствовал в себе такой сдвиг и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки с Зарипой в Кумбель снова поехал туда по делам. Он обещал Зарипе заглянуть на почту, узнать, есть ли письма для нее, и, если нет, послать три телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила. До сих пор ни на одно свое письмо она не получила ответа от родственников. И теперь она хотела просто знать, получили ли эти письма или нет, в телеграммах она так и писала — убедительная просьба сообщить, получены ли вами письма, только да или нет, ответ на письма необязателен. Выходило, братья и сестры не желали даже по почте связываться с семьей Абуталипа.

Едигей выехал на своем Буранном Каранаре поутру, с тем чтобы к вечеру уже обернуться. Конечно, когда он отправлялся один, без поклажи, любой знакомый машинист с радостью прихватывал его с собой, а там через полтора часа и Кумбель. Однако он стал остерегаться таких поездок на проходящих поездах из-за Абуталиповых ребят. Оба они, и старший и младший, все так же изо дня в день ждали у железной дороги возвращения отца. В их играх, разговорах, загадках, рисунках, во всем их немудреном ребяческом бытии ожидание отца было сутью жизни. И, несомненно, самой авторитетной фигурой для них в тот период был дядя Едигей, который, по их убеждениям, должен был все знать и помочь им.

Едигей и сам понимал, что без него на разъезде ребятам будет еще тягостней и сиротливей, и поэтому почти все свободное время пытался чем-то занять их, отвлечь постепенно от напрасных ожиданий. Памятуя о завещании Абуталипа рассказывать мальчишкам о море, он вспоминал все новые и новые подробности своего детства и рыбацкой молодости, всякие были и небыли Аральского

моря. Как умел приспособлявал эти рассказы для малышей, но всякий раз удивлялся их способности — смысленности, впечатлительности, памяти. И очень был доволен тем — сказывалось в них отцовское воспитание. Рассказывая, Едигей ориентировался прежде всего на младшего, Эрмека. Однако младший вовсе не уступал старшему и среди всех четырех его слушателей — детей обоих домов — был он для Едигея самым близким, хотя Едигей старался не выделять его. Эрмек оказался наиболее заинтересованным слушателем и самым лучшим истолкователем его рассказов. О чем бы ни шла речь, любое событие, любой интересный поворот в действии он связывал с отцом. Отец для него присутствовал во всем и всюду. Идет, например, такой разговор:

— А на Аральском море есть такие озера у берегов, где растут густые камыши. А в тех камышах прячутся охотники с ружьями. И вот утки летят весной на Аральское море. Зимой они жили на других морях, где теплее было, а как стаяли льды на Арале, летят побыстрее и днем и ночью, потому что очень соскучились по здешним местам. Летят они большой стаей, хотят поплавать в воде, искупаться, покувыркаться, все ниже и ниже подлетают к берегу, а тут дым и огонь из камышей, пах-пах! То палят охотники. Утки с криком падают в воду. А другие в испуге улетают на середину моря и не знают, как быть, где теперь жить. И кружатся там над волнами, кричат. Ведь они привыкли плавать у берегов. А к берегам приближаться боятся.

— Дядя Едигей, по ведь одна утка сразу улетела назад, туда, откуда она прилетела.

— А зачем она туда улетела?

— Ну как же, ведь мой папика там матрос, он плавает там на большом корабле. Ты ведь сам говорил, дядя Едигей.

— Да, правильно, а как же, — вспоминает Едигей, понав впросак. — Ну и что потом?

— А эта утка прилетела и сказала моему папике, что охотники спрятались в камышах и стреляли в них. И что им негде жить!

— Да, да, это ты верно.

— А папика сказал той утке, что скоро он приедет, что на разезде у него два мальчика — Даул и Эрмек, и еще есть дядя Едигей. И когда он приедет, мы все соберемся и пойдем на Аральское море и прогоним из камышей охотников, которые стреляют в уток. И снова

уткам будет хорошо на Аральском море... Будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову...

Когда рассказы истощались, Буранный Едигей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе сорок один камушек величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию. Когда Едигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталип, где он, и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него, и что на душе, ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шебаршение, тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. То были Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их как умел, он при этом каждый камушек подносил ко лбу и к губам и каждый заверял:

— И тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори честно и прямо, так же как говорят камушки дяди Едигея. — Потом он принялся истолковывать старшему брату значение расклада, в точности повторяя сказ Едигея. — Вот видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот это дорога. Дорога немного затуманена. Туман какой-то стоит. Но это ничего. Дядя Едигей говорит, это дорожные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время собирается в путь. Он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута. Ее надо подтянуть покрепче. Значит, что-то еще задерживает отца, Даул. Придется подождать. А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целы. Это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о пас, Даул. На сердце, вот видишь этот камушек, на сердце боль и тоска — очень он соскучился по дому. Скоро ли в путь? Скоро. Но одна подкова на заднем копыте коня болтается. Значит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в переметных сумах? О, в сумах покупки с базара! А теперь — будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, эта звезда — Золотая коновязь. А от нее пошли следы. Они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь...

Буранный Едигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гадания на камнях...

Но дети детьми, их можно было еще как-то утешить, обнадежить, а если на то пошло, взять на себя такой грех — обмануть до поры до времени. Но еще одна кручина-дума поселилась в душе Буранного Едигея. В тех обстоятельствах и в той цепи событий она должна была возникнуть, она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места, и остановить ее он не смог...

Очень он переживал за нее, за Зарипу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров, помимо обычных житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, Едигей постоянно думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый, не просто сострадал ей оттого, что все видел и знал, какие беды обступали ее, тогда не стоило бы и речи заводить. Он думал о ней с любовью, с неотступной мыслью о ней и внутренней готовностью стать для нее человеком, на которого она могла бы положиться во всем, что касалось ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она, допустим, так и полагает, что именно он, Буранный Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете.

То было мучительно — делать вид, что ничего особенного он к ней не испытывает, что между ними ничего не может и не должно быть!..

По пути в Кумбель всю дорогу он был занят этими размышлениями. Изводился. По-разному думалось. Испытывал странное, переменное состояние духа как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что снова он находится на море. На море человек всегда чувствует себя по-другому, не как на земле, даже если все спокойно вокруг и, казалось бы, ничего не грозит. Как ни раздольно, как ни отраднo подчас бороздить по волнам, пусть и занимаясь нужным делом на плаву, как ни красивы отражения закатов и зорь на водной глади, но все равно надо было возвращаться к берегу, к тому или иному, но к берегу. Вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет совсем иная жизнь. Море — временно, суша постоянна. Или, если страшно приставать к берегу, надо найти остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место и здесь ты должен быть всегда. И ему даже представилось: нашелся бы такой остров, забрал бы он Зарипу с детишками и жил бы там. И к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуясь. Только бы

знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным человеком...

Но тут же становилось стыдно перед собой от таких желаний — он почувствовал, как в краску кинуло, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было. Размечтался, как мальчишка, на остров захотелось, а с чего бы, спрашивается, с какой стати? И это он смеет так грезить, он, повязанный по рукам и погам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, наконец, сарозеками, к которым прирос, сам того не замечая, душой и телом... Да и нужен ли он Зарипе, пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое, почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не сомневался — оп в них души не чаял, и они тянулись к нему. А с чего Зарипа стала бы того желать?! Да и имеет ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно поставила его крепко-накрепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней...

Бурачный Каранар шел знакомой тропой, много раз хоженной, и, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина трусил ходкой пробежкой, покрикивая и тяжело постанывая на бегу, покрывая резвым шагом немеренные сарозекские расстояния, по весенним увалам, логам, мимо иссохшего некогда соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, занятый собою... И настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил он себе места и душа его не находила приюта в немеренных пространствах Сары-Озеков... Так непосильно было ему...

С этими настроениями прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила наконец ответы на свои письма от родственников, но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увезти ее в свои края или вызвать к себе, Едигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему опять ответили, что никаких писем для Зарипы Куттыбаевой не прибывало. И он неожиданно для себя обрадовался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая мысль против совести: «Вот и хорошо, что нет». Потом он добросовестно выполнил ее поручение — отправил три телеграммы по трем адресам. С тем вернулся к вечеру...

Весна тем временем сменялась летом. Уже пожухли, повыгорели сарозеки. Отошла трава-мурава, как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух, день ото дня приближалась жаркая пора. А от родствен-

ников Куттыбаевых все так же не было ни слуху ни духу. Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграммы. А поезда катились через Боранлы-Буранный, и жизнь текла своим чередом...

Зарипа уже и не ждала ответов, поняла, что нечего рассчитывать на помощь родных, что не стоит обременять их больше письмами и призывами о помощи... И, убеждаясь в этом, женщина впадала в молчаливое отчаяние — куда было двинуться теперь, как быть?.. Как сказать детям об их отце, с чего начинать, как перестраивать сокрушенную жизнь? Ответа пока не находила.

Быть может, не меньше, чем сама Зарипа, переживал за них Едигей. За них переживали все боранлинцы, но Едигею-то было ведомо, как обернулась трагедия этой семьи лично для него. Он уже не мог отделить себя от них. Изю дня в день он жил теперь судьбой этих ребят и Зарипы. И тоже был в напряженном ожидании — что теперь будет с ними, и тоже был в молчаливом отчаянии — как теперь быть им, по ко всему этому он еще постоянно думал, все время мучительно думал: а как быть самому, как сладить с собой, как заглушить в себе голос, зовущий к ней? Нет, и он не находил никакого ответа... Не предполагал он никогда, что придется столкнуться в жизни и с таким делом...

Много раз намеревался Едигей признаться ей, сказать откровенно и прямо, как любит ее и что готов все тяготы ее взять на себя, потому что не мыслит себя отдельно от них, но как было это сделать? Каким образом? Да и поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого, когда такие беды обрушились на ее одинокую голову, а он, видите ли, полезет со своими чувствами! Куда это годится? Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся, ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало быть на людях.

Однажды он все же сделал такой намек. Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что Зарипа пошла с ведрами к цистерне за водой. Его толкнуло к ней. И он пошел. Не потому, что был удобный случай, вроде бы ведра поднести. Почти через день, а то и ежедневно работали они вместе на путях, разговаривать могли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал Едигей неодолимость желания подойти к ней несмеленно и сказать то, что не мог больше скрывать. Он подумал даже сгоряча, что это к лучшему — пусть не пой-

мет, пусть отвергнет, но зато остынет, успокоится душа... Она не видела и не слышала его приближения. Стояла спиной, отвернув кран цистерны. Одно ведро было уже наполнено и отставлено в сторону, а под струей стояло второе, из которого вода уже переливалась через край. Кран был открыт до отказа. Вода пузырилась, выплескивалась, натекала вокруг лужей, а она точно бы не замечала ничего, стояла поцуро, прислонившись плечом к цистерне. Зарипа была в ситцевом платице, в котором прошлым летом встречала большой ливень. Едигей разглядел пряди вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Эрмек был кудрявым в нее, осунувшееся лицо, истончившуюся шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли воды заворожил ее, напомнив горные речки и арыки Семиречья, или просто ушла в себя, застигнутая в ту минуту горьким раздумьем? Бог знает. Но только Едигею стало невыносимо тесно в груди при виде ее оттого, что все в ней было до бесконечности родным, от желания немедленно приласкать ее, оберечь, защитить от всего, что угнетало. Но делать этого нельзя было. Он лишь молча закрытил вентиль крана, остановил льющуюся воду. Она глянула на него без удивления, отрешенным взором, как будто он находился не возле, а где-то очень далеко от нее.

— Ты чего? Что с тобой? — молвил он участливо.

Она ничего не сказала, усмехнулась только углами губ и неопределенно приподняла брови над проясняющимися глазами, говоря этим: ничего, мол, так себе...

— Тебе худо? — снова спросил Едигей.

— Худо, — призналась она, тяжело вздохнув.

Едигей растерянно подвигал плечами.

— Зачем ты так изводишься? — упрекнул он ее, хотя собирался говорить не об этом. — Сколько можно? Ведь этим не поможешь. И нам тяжко (он хотел сказать — и мне) смотреть на тебя, и детям трудно. Пойми. Не надо так. Надо что-то делать, — говорил он, стремясь подобрать слова, которые, как того хотел он, должны были бы сказать ей, что именно он больше, чем кто-либо на свете, переживает и любит ее. — Ты вот сама подумай. Ну не отвечают на письма, так бог с ними, не пропадем. Ведь с тобой (он хотел сказать — я) мы все тут как свои. Ты только не падай духом. Работай, держись. А ребята поднимутся и здесь, среди нас (он хотел сказать — со мной). И все образуется понемногу. Зачем тебе куда-то уезжать? Мы все здесь как свои. А я, ты сама знаешь,

без детишек твоих дня не бываю. — И остановился, потому что раскрылся настолько, насколько позволяло его положение.

— Я все понимаю, Едике, — ответила Зарипа. — Спасибо, конечно. Я знаю, в беде не останемся. Но нам надо выбираться отсюда. Чтобы позабыли дети все, что и как тут было. И тогда я должна буду сказать им правду. Сам понимаешь, так долго не может продолжаться... Вот и думаю, как быть...

— Так-то оно так, — вынужден был согласиться Едигей. — Только ты не спеши. Подумай еще. Ну куда ты с этими малолетками, где и как придется? А я как подумаю, мне страшно, как я тут без вас буду...

И действительно, очень страшился за них, за нее и за ребят, и оттого не пытался заглянуть дальше чем в завтрашний день, хотя тоже понимал, что долго так продолжаться не могло. А через несколько дней после этого разговора был еще случай, когда он выдал себя с головой и долго каялся, мучился после этого, не находя себе оправдания.

С той памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, испугавшись парикмахера, не дал себя подстричь, прошло много месяцев. Мальчик так и ходил нестриженный, весь в черных кудряшках, и хотя вольные кудри украшали его, но подстричь упрямого трусишку давно было пора. Едигей при случае то и дело утыкался носом в пушистое темя мальчонки, целуя его и вдыхая запах детской головы. Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и мешали ему в играх и беготне. Как, должно быть, непривычна, чужда и непонятна была для малыша сама необходимость эта. Потому он не давался никому, а Казангап, видя такое дело, сумел уговорить его. Припугнул даже немного — что, мол, козлята не любят длинноволосых, бодать будут.

Потом Зарипа рассказывала, как стригли Эрмека. Пришлось Казангапу по-настоящему силу применить. Зажал его между ног и обработал машинкой. Рев стоял на весь разезд. А когда закончилась стрижка, добрая Букей, чтобы успокоить ребенка, сунула ему зеркало. На, мол, посмотри, какой ты хорошенький стал. Мальчик глянул, не узнал себя и еще больше заорал. Таким, ревающим во всю мочь, уводила его Зарипа с Казангапова двора, когда повстречался на тропинке Едигей.

Наголо остриженный Эрмек, совершенно непохожий на себя, с оголившейся тонкой шеей, с оттопыренными

ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едигею с плачем:

— Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со мной!

И если бы прежде сказали Буранному Едигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он подхватил малыша на руки и, прижимая его к себе, всем существом своим воспринял его беду, его незащитность, его жалобу и доверие, как будто все это произошло с ним самим, он стал целовать его и приговаривал срывающимся от горечи и нежности голосом, не понимая толком смысла своих слов:

— Успокойся, родной мой! Не плачь. Я никому не дам тебя в обиду, я буду тебе как отец! Я буду любить тебя как отец, только ты не плачь! — И, глянув на Зарипу, которая замерла перед ним сама не своя, понял, что перешагнул какую-то запретную черту, и растерялся, заспешил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча в замешательстве одни и те же слова. — Не плачь! Вот я сейчас этого Казангапа, я вот, сейчас я ему покажу! Я ему покажу, вот я сейчас этого Казангапа, я ему покажу! Вот я сейчас, я ему покажу!..

Несколько дней после этого Едигей избегал Зарипу. Да и она, как понял он, уходила от встречи с ним. Каялся Буранный Едигей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой и без этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положении — сколько боли добавил он к ее горестям! Ни прощения, ни оправдания не находил себе Едигей. И на долгие годы, быть может до последнего вздоха, запомнил он то мгновенное, когда всем существом своим ощутил приникшего к нему незащитного обиженного ребенка, и как тронулась в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него Зарипа, пораженная этой сценой, как глядела она на него с немым криком скорби в глазах.

Притих на какое-то время Буранный Едигей после этого случая и все то, что вынужден был в себе затаить, заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново, о море. То было самой любимой темой у них. О чайках, о рыбах, о перелетных птицах, об аральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже истезнувшие в других местах. Но в тех разговорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и все настойчивей собственную быль на Аральском море, единственное, что

он предпочитал не рассказывать никому. То было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, только он и Укубала, но и между собой они никогда не заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше боранлипской детворы, старше даже Казангапова Сабитжана года на два. Но не выжил. А ведь всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет долго жить, очень долго, даже трудно представить себе, как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей?..

В ту рыбацкую бытность его, в молодые годы, незадолго до войны пережили они с Укубалой удивительный случай. Такое случается, должно быть, лишь однажды и никогда не повторяется.

С тех пор как они пожелались, Едигею в море все время хотелось побыстрее вернуться домой. Он любил Укубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. Ему подчас казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье, сердцевина счастья — все остальное, внешнее лишь дополняло и обогащало их счастье, их взаимное упоение тем, что было даровано ему солнцем и морем. И когда она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание будущего первенца. То была безоблачная пора в их жизни.

Поздней осенью, уже перед началом зимы на лице Укубалы начали проступать различимые при внимательном взгляде коричневые пятна. И уже обозначился, округлился живот. Однажды она спросила его, какая из себя рыба алтып мекре. «Слышать слышала о ней, но никогда не видела». Он сказал ей, что это очень редкая рыба из осетровых, глубоководная, довольно крупная, но достоинство ее больше в красоте — сама рыба синева-красчатая, а темя, плавники и хрящевой гребень по спине — от головы до кончика хвоста — как из чистого золота, дивно как светится золотым блеском... Оттого и называется алтын мекре, золотой мекре.

В следующий раз Укубала сказала, что ей приснился во сне золотой мекре. Рыба будто бы плавала вокруг нее, а она пыталась ее изловить. Ей очень хотелось

поймать ту рыбу, а затем отпустить. Но обязательно поддержать ту рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть. Ей до того хотелось потискать ту рыбину, что во сне она погналась за ней. А рыбина не давалась, и, проснувшись, Укубала долго не могла успокоиться, испытывая странную досаду, будто и в самом деле не удалось ей достигнуть какой-то важной цели. Укубала посмеялась над собой, но и наяву ей все так же нестерпимо хотелось изловить золотого мекре.

А Едигей это понял, думал об этом, выгребая сети из моря, и, как оказалось потом, правильно истолковал значение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего в яви. Он понял так, что ему предстоит во что бы то ни стало добыть золотого мекре, ибо то, что испытывала беременная Укубала, было ее талгаком*. Многие женщины на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их талгак проявляется в том, что они хотят съесть чего-то кислого, соленого, очень острого или горького, а иные страсть как хотят жареного мяса какого-нибудь дикого зверя или птицы. Едигей не удивился талгаку жены. Жена промыслового рыбака и должна была пожелать то, что имело отношение к занятию мужа. Ей сам бог велел захотеть увидеть воочию и ощутить в руках золото той большой рыбы. Понаслышке Едигей знал, что если талгак беременной женщины останется неутоленным, то это может привести к вредным последствиям для ребенка в утробе.

Талгак же Укубалы оказался настолько необыкновенным, что она сама не посмела признаться в этом вслух, а Едигей не стал уточнять, не стал допытываться, потому что неизвестно было, сможет ли он добыть такую редкую рыбу. Решил вначале поймать ее, а уж потом выяснить, это ли было ее страстью.

К тому времени большой сезон рыболовства на Аральском море был уже на исходе — разгар сезона от июля по ноябрь. Зима дышала уже в лицо. Артель готовилась к зимнему промыслу, подледному лову, когда море на всем своем полуторатысячекилометровом по кругу пространстве покроется крепким льдом и придется бить огромные проруби, запускать туда обгруженные сети и тянуть их со дна морского воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих неза-

* Талгак — потребность беременной женщины в особой на вкус еде, утоление некоего желания.

менимых степных тягачей... И ветер будет выюжить, а рыба, что попадает в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпростают паверх, закаменеет сразу, покроется ледяным панцирем на открытом аральском холоде... Но сколько ни приходилось Едигею зимой и летом ловить с артелью рыбу и ценных и малоценных пород, однако не помнил, чтобы золотой мекре когда-нибудь попадался в сети. Эту рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и то было событием для рыбаков. Об этом говорили потом, что такому-то повезло — вытащил золотого мекре.

В то раннее утро он отправился в море, сказав жене, что порыбачит для дома, пока еще лед не стал. Укубала отговаривала его накануне:

— Дома ведь полно всякой рыбы. Стоит ли выходить? Холодно уже.

Но Едигей настоял на своем.

— Что дома, то дома, — сказал он. — Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горячей свежей ухой, усачовой или жереховой. Самое первое средство. А кто ей, старой, наловит рыбы?

Под этим предлогом и двинулся с утра пораньше Едигей на добычу золотого мекре. Все снасти, все необходимые приспособления он тщательно продумал и приготовил заранее. Все это было уложено на носу лодки. И сам поплотней оделся, поверх всего плащ дождевой с капюшоном натянул и поплыл.

День был неясный, неустойчивый, между осенью и зимой. Преодолевая под косым углом накат воды, Едигей направлял лодку веслами в открытое море, где, как он предполагал, должны быть места пастьбы золотого мекре. Все, конечно, зависело от везения, ибо нет ничего малопостижимее в охотничьем предприятии, нежели ловля морской рыбы на крючок. На суше, как бы то ни было, человек и его добыча находятся в одной среде, ловец может преследовать зверя, приближаясь, подкрадываясь, выжидая и нападая. Под водой ничего этого ловцу не дано. Опустив снасти, он вынужден ждать, появится ли рыба, и если появится, то накинется ли на приманку.

В душе Едигей очень надеялся, что должно ему повезти, ибо вышел он в море не ради промысла, как бывало всегда, а ради вещего желанья беременной жены.

Крепок и силен был молодой Едигей на веслах. Неутомимо, равномерно отталкиваясь от зыбкой текучей воды, выводил он лодку в море по извилистым, шатким

волнам. Такие волны аральские рыбаки называют ийрек толкун — кривобокие волны. Ийрек толкуны — ранние предвестники грядущего шторма. Но сами по себе они неопасны, и можно было не страшась плыть подалее в море.

По мере удаления от земли берег с его крутым глинистым обрывом и каменистой полосой прибоя с края воды постепенно уменьшался, становясь все менее различимым, и вскоре превратился в смутную, временами исчезающую черту. Тучи неподвижно нависли сверху, а позизу держался заметно сквозящий ветер, лижущий водную рябь.

Часа через два Едигей остановил лодку, убрал весла, заякорился и стал устраивать снасти. У него были две катушки с бечевой, с самодельным устройством, застопоряющим лесу. Одну он приладил на корме, бечева с грузилом опустилась через рогатину на глубину метров в сто, и в запасе оставалось метров двадцать. Другую установил таким же способом на носу. И затем снєва взял в руки весла, для того чтобы придерживать, подправлять лодку в нужном положении среди течений и ветра. И главное, чтобы не спутались лесы между собой.

И с тем стал ждать. По его предположениям, именно в таких местах могла обитать эта редкая рыба. Доказательств тому не имелось, то была чистая интуиция. И, однако, он верил, что та рыба должна появиться. Непременно, обязательно должна появиться. Без нее он не мог возвратиться домой. Она нужна ему была не ради забавы, а ради очень важного в его жизни дела.

Рыбы через некоторое время дали о себе знать. Но то были не те. Сначала поймался жерех. Когда Едигей его тянул, он знал, что это не золотой мекре. Не могло быть такого, чтобы с первого раза попался золотой мекре. Слишком просто и неинтересно стало бы жить на свете. Едигей согласен был потрудиться, подождать. Потом подценился на крючок большой усач, одна из лучших рыб на Арале, если не самая лучшая. И того, оглушив, он бросил на дно лодки. Во всяком случае, на уху для больной тетки Сагын уже было больше чем достаточно. И еще попался тран — аральский лещ. Какого черта его туда занесло? Обычно тран держится поверху. Но бог с ним, сам виноват. И после этого наступила длительная, тягостная пауза... «Нет, я дождусь, — сказал себе Едигей. — Хоть я и не говорил, но она знает, что я отпра-

вился за золотым мекре. И я должен его добыть, чтобы дите в утробе не изнывало. Это ведь дите хочет, чтобы мать увидела и подержала в руках золотого мекре. А почему оно того хочет, этого никто не знает. Мать тоже того жаждет, а я отец, и я сделаю так, чтобы желание их утолить».

Пошаливали ийрек толкуны, крутили лодку, потому они и кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Едигей от малоподвижности и все время зорко следил за катушками с бечевой — не дернется ли, не поползет ли леса, покоящаяся на рогатине. Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков. Однако Едигей не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой мекре. Только бы море потерпело малость — что-то уж больно крутят ийрек толкуны. К чему бы это? Нет, шторма не должно быть так скоро. Может, к вечеру или к ночи поднимутся штормовые волны — алабаши, нестроголовые ревуны. И тогда закипит грозный Арал от края и до края, белой пеной покроется, и никто не посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно, пока еще есть время...

Наохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едигей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь, вот ей-богу, да ты не бойся, — подумал он о рыбе. — Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, говоришь, такого? А вот представь себе — бывает. Не для еды тебя я поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома. И вот на дне лодки лежат три рыбины. Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой мекре! Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене, и с тех пор она покой потеряла, хотя и не говорит об этом, но я-то все вижу. Я не могу объяснить, почему это так, но очень надо, чтобы она увидела тебя и подержала в руках, и я даю слово, сразу же отпущу тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба. У тебя золотое тело и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые. И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя наяву, она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь, золотой мекре. Не думай, что если ты рыба, то к нам не имеешь отношения. Хотя ты и рыба, а она почему-то тоскует по тебе как по сестре, как по брату, и хочет ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дите в чреве будет довольно. Вот такое вот дело. Выручай, друг мой, золотой мекре. Подходи. Не обижу. Слово даю.

Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. На крючок, их два крючка, выбирай любой, я нацепил большой кусок мяса. Немного с запахом мяса, чтобы ты учуял издали. И ты подходи и не думай ничего плохого. Если бы я блесну подсунул тебе, тогда было бы нечестно, хотя ты скорее пошел бы на блесну. Но ведь ты же проглотишь блесну, и как ты будешь потом жить с железом в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы обманом. А я тебе честно предлагаю крючок. Немного поранятся губы, только и всего. И не беспокойся, я захватил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты полежишь пока в бурдюке с водой, а потом уплывешь. Но я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты не чувствуешь, как крепчают волны и ветер усиливается, разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой, без отца? Подумай, помоги мне...»

Уже смеркалось в сизых просторах холодного предзимнего моря. То появляясь на гребнях волн, то исчезая между волнами, лодка шла к берегу. Трудно шла, борясь с бурунами, море уже шумело, вскипало исподволь, раскачивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода и влаги.

Укубала ходила по берегу. Давно уже, охваченная тревогой, она вышла к морю и ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили ей степные сородичи-скотоводы: подумала бы, прежде чем слово дать, на тяжкую жизнь отваживаешься, выходишь замуж за море и придется не раз и не два умыться слезами у моря, мольбы к нему обращать. А она не отказала Едигею, только сказала: как муж, так и я буду...

Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с артелью, а один, и уже быстро смеркалось, и на море было шумно и беспокойно.

Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел и лодка показалась на волне. Закутанная в платок, с выпирающим уже животом, Укубала подошла к самому прибою и ждала здесь, пока причаливал Едигей. Прибой вынес мощным толчком лодку на отмель. Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку на берег, волоча ее, как бык. И когда он распрямился, весь волглый и соленый, Укубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным, одеревеневшим плащом.

— Все глаза проглядела. Почему ты так долго?

— Он не появлялся весь день и только под конец приплыл.

— Как, ты ходил за золотым мекре?

— Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него.

Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой золотого мекре. То была большая рыба. Могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку, и, широко разевавая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибора. На какую-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими безупречно круглыми и чистыми глазами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня непривычный свет ударил в голову, и увидела рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней, кромку берега и небо и в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего солнца. Задышаться начала. И рыба вскинулась. Заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. Едигей поднял золотого мекре под жабры.

— Подставляй руки, держи, — сказал он Укубале.

Укубала приняла рыбку, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди.

— Какая она упругая! — воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. — А тяжелая, как полено! И как здорово пахнет морем! И красивая какая! На, Едигей, я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Отпусти ее в воду поскорей...

Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста, и, блеснув, вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину...

А большой шторм разразился на море ночью. Ревело море за стеной, под обрывом. Еще раз убедился Едигей: неспроста возникают предвестники бури — ийрек толкунны. То была уже глубокая ночь. Прислушиваясь в полудреме к бушующему приборю, Едигей вспомнил о своем

заветном мекре. Как-то его рыбе сейчас? Хотя, должно быть, на больших глубинах море не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверно, к тому, как ходят волны поверху. Едигей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки из чрева. То давал о себе знать его будущий первенец. И этому Едигей счастливо улыбнулся и безмятежно уснул.

Знал бы, что не пройдет и года, как разразится война, и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда и только будет о нем вспоминать... Особенно когда тяжелые дни наступят...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей...

В том страшном для Буранного Едигея пятьдесят третьем году и зима легла рапшя... Никогда такого не бывало в сарезеках. В конце октября уже заснежило, холода начались. Хорошо, что успел до того картошки завезти с Кумбеля себе и Зарипе с детьми. Как знал — поторопился. Последний раз пришлось на верблюде ехать, побоялся, что в проходящем товарняке картошка померзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна. А так поехал на Буранном Каранаре, уложил на него вьюком два огромных мешка — самому не сладить было с мешками, хорошо, что люди подсобили, — один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеплил мешки кошмой, подоткнул края, чтобы ветер не задувал, сам же взгромоздился на самый верх между мешками и поехал спокойно к себе на Боранлы-Буранный. Сидел на Каранаре, как на слоне. Так думалось и самому Едигею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции первый индийский фильм. Все кумбельцы от мала до велика повалили смотреть невиданную кинокартину о невиданной стране. В фильме, кроме бесконечных песен и танцев, показывали слонов, на тигров в джунгли выезжали охотиться, сидя на слонах. Едигею тоже удалось посмотреть ту картину. Были они с начальником разъ-

езда на общепрофсоюзном собрании как делегаты от борщевиков, вот тогда по окончании собрания в клубе депо показали им индийский фильм. С того и началось. Стали выходить из кино, разговоры разные возникали, и дивились железнодорожники, как в Индии на слонах ездят. А кто-то громко сказал на это:

— И что вам дались эти слоны, едигеевский Буранный Каранар чем хуже слона? Нагрузи — так он прет, как слон!

— И то верно, — засмеялись вокруг.

— Да что слон! — откликнулся еще голос. — Слон-то только в жарких странах может жить. А попробуй у нас по сарозекам зимой. Слон твой и копыта откинет, куда ему до Каранара!

— Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы тебе не соорудить такую же будку на Каранаре, как в Индии на слонах? И будешь себе ездить, как тамошний богач!

Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья, по все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом атане...

Зато перепало Едигею той зимой, попереживал, погоревал из-за того же Каранара...

Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как! Сомкнулось небо над сарозеками сплошным мраком, ветер закрутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кружачками хлопьями. Не холодно было, но мокро и неуютно. А главное — не различить ничего вокруг из-за снега. Что было делать? В сарозеках нет попутных пристаней, где можно было бы переждать непогоду. Оставалось одно — положиться на силу и чутье Буранного Каранара. Он-то должен был привезти к дому. Едигей предоставил атану полную волю, а сам поднял воротник, нахлобучил шапку, укрылся капюшоном и терпеливо сидел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Непроглядная завеса снега, и только. А Каранар шел в той круговерти, не сбавляя шага и, должно быть, понимая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и примолк, затих на выюках и ничем уже не проявлял себя. Великой силой должен был обладать Каранар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рывкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гу-

дом и все шел неумоимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег...

Немудрено — слишком длинным показался Едигею тот путь. «Скорей бы уж добраться», — думал он и представлял себе, как зайвится и что дома наверняка беспоятся, что с ним в такую непогоду. Укубала тревожится о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто выкладывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа думает, что с ним? Конечно, думает. Но она тем более звука не проронит, старается как можно меньше попадаться ему на глаза и избегает всяческих разговоров наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал он, Едигей, повода к тому, чтобы кто-то мог подумать, будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть. Просто они, оказавшись попутчиками в жизни, словно бы оглянулись вдруг, той ли дорогой идут... И снова пошли. Вот и все. А каково приходится ему при этом, это уж его беда... Это его судьба — на роду, должно быть, так написано, что разрываться суждено как между двух огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело, как быть с самим собой, с душой своей многострадаальной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди! Не малое дитяtko он, как-нибудь разберется, сам развяжет тугой узел, который затягивался все туже по его же вине...

Это были страшные мысли, мучительные и безысходные. Вот уже зима вступила в сарозеки, а он по-прежнему не мог ни забыть Зарипу, ни отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свою, он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно, видя и зная это, не пытались торопить события, чтобы помочь ему побыстрее определиться. Внешне все обстояло как всегда — ровные отношения между женщинами, детвора обоих домов, как общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их дети на разъезде — то в том доме, то в этом... Так прешло лето и так минула осень...

Сиротливо и неприятно чувствовал себя Бурапный Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье кругом. Каранар то и дело стряхивал с головы палипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкриками. Худо было хозяину в том пути. Едигей ничего не мог поделаться с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и безусловном. Не мог начистоту открыться перед Зарипой,

не мог отречься и от Укубалы. И тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами: «Скотина! Хайван что ты, что твой верблюд! Сволочь! Собака! Дурья голова!» — и еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остановиться... Но ничто не помогало... И был он что тот оползень, струнувшийся с места... Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они безоговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем. В чем помочь, что подвезти, что приладить по дому — это он для них готов был всегда с великим удовольствием, как и сейчас картошку вез им на зиму в двух огромных мешках, навьюченных на Каранара. Топливо тоже было запасено...

Мысли о детях были прибежищем для Едигея, там он оказывался в полном ладу с самим собой. Он представлял, как доберется до Боранлы-Буранного, как выбегут мальчишки из дома, услышав его приезд, и не загонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг с громкими криками: «Дядя Едигей приехал! На Каранаре! Картошку привез!» — и то, как строго и властно прикажет он верблюду лечь ничком на землю и тогда, весь заснеженный, слезет с Каранара, отряхиваясь и успевая между делом погладить детишек по головам, и как затем начнет разгружать мешки с картошкой и поглядывать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома, он ей ничего не скажет особенного, да и она не скажет, он только посмотрит ей в лицо и будет тем доволен — и опять занедужит, закручинится, так что ж, куда от этого денешься, а ребятишки будут крутиться возле, путаться под руками, то и дело опасно подбегая к нему, боясь верблюжьего рыка, и, преодолевая страх, будут пытаться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение за все муки...

Внутренне он готовился к скорой встрече с Абуталиповыми ребятами, заранее думал: а что расскажет он им в этот раз, своим, как он их называл, ненасытным слушачам? Опять об Аральском море? Самые любимые рассказы — всякие случаи на море, которые они домысливают затем с непременною участью отца и тем самым продолжают, сами того не ведая, держать связь с ним, с памятью о нем... Только вот все, что знал и слышал Едигей о морской жизни, истощилось, все уже много раз им было сказано и пересказано, кроме разве что истории

с золотым мекре. А как поведать эту историю? Кому ее объяснить, кроме как самому себе, знающему, что стоит за давнишним тем событием.

Так проделывал он путь в тот снегопадный день. Всю дорогу не покидали его сомнения, размышления... И всю дорогу шел снег...

С того снега и зима легла в сарозеках, ранняя и студеная с первых шагов.

С началом холодов снова пришел в неистовство Буранный Каранар, снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уже ничто и никто не мог посягать на его свободу. Тут и самому хозяину в пору было отступить, не лезть на рожон...

На третий день после снегопада промело сарозеки метельным морозным ветром, и встала сразу, как пар, напращенная мгlistая стынь над степью. Далеко и отчетливо слышались по стуже скрипучие шаги, любой звук, любой шорох разносился с предельной ясностью. Поезда на перегоне слышались за многие километры. А когда на рассвете услышал Едигей спросонья трубный рев Буранного Каранара в загоне и то, как он топтался и расшатывал со скрежетом изгородь за домом, понял, какая напасть снова пожаловала ко двору. Быстро оделся, вышел впотьмах, пошел к загону и раскричался, колотуе обдирая глотку морозным вяжущим воздухом.

— Ты чего! Ты чего, опять конец света? Опять за свое? Опять кровь мою пить! Ах ты хайван! Замолчи! Заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом году решил заняться этим делом. Не насмешил бы народ!

Но напрасно он тратил слова на ветер. Обуреваемый пробудившейся страстью верблюдов не думал считаться с ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе скрипел зубами, ломал загон.

— Значит, учуял? — Хозяин сменил гнев на укоризну. — Ну ясное дело, тебе сейчас немедленно требуется бежать туда, в стадо. Учужал, что какая-то кайманча* в охоту пришла! Эх-эх! И почему только угораздило бога устроить ваше верблюжье отродье так, что в году только раз спохватываетесь о том, чем могли заниматься каждый день без шума и скандала? И кому тогда какое дело! Так нет, прямио конец света!..

Все это выговаривал Буранный Едигей больше для формы, чтобы не так обидно было, ибо он прекрасно по-

* К а й м а н ч а — молодая верблюдица.

нимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не сотрясать же воздух впустую, — открыл загон. И не успел он отодвинуть тяжеленную, в рост человека калитку из жердей, которую держал на крепкой цепи, как, едва не сшибя его с ног, Каранар ринулся вон и побежал в степь с яростным воплем и рыком, широко раскидывая цыбастые ноги и тряся тугими черными горбами. Мигом скрылся с глаз, взметая тучи снега за собой.

— Тыфу ты! — плюнул вслед хозяин и добавил в сердцах: — Беги, беги, дурак, а то опоздаешь!

Едигею с утра предстояло выходить на работу. Поэтому и пришлось смириться с бунтом Каранара. Знал бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его — ни за что, пусть хоть лопнул бы. Но кто бы без него смог управляться дома с взбесившимся атаном? Пусть проваливается куда подальше. Понадеялся Едигей, что верблюд проветрится на воле, поостынет в нем горячая кровь, поуспокоится...

А в полдень пришел Казангап и сказал ему, сочувственно усмехаясь:

— Ну, бай, худо твое дело. Только что на выпасе был. Твой Каранар пошел, как я думаю, в большой поход. Здешних кайманок ему уже маловато.

— Побежал, что ли, куда? Да ты не разыгрывай меня, скажи серьезно.

— Что тут несерьезного? Говорю тебе, потянуло его в другие стада. Что-то учуял зверюга. Ездил я глянуть, как там у нас. Только выехал за большую балку, смотрю, кто-то по степи бежит, аж земля гудит, — сам Каранар. Глаза выкатил, орет что есть мочи, слюни текут из пасти. И прет, как паровоз. Целая метель за ним. Думал, потопчет. Так он мимо меня пронесся, точно и не видит, что человек перед ним. Пошел в сторону Малакумдычапа. Там под обрывом ходят стада побольше, чем наше. Здесь ему теперь неинтересно. Для него теперь размах нужен. В самой силе скотина.

Едигей расстроился по-настоящему. Представил себе, сколько мороки будет, сколько неприятностей.

— Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хорошие атаны, они ему бой дадут, вернется восвоюся, как собака битая, куда он денется, — успокоил его Казангап.

На другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта, о боевых действиях Буранного Каранара. Картина складывалась малоутешительная. Стоило оста-

новиться поезду на Боранлы-Буранном, как машинист, или кочегар, или кондуктор наперебой рассказывали о бесчинствах и погромах Каранара, устраиваемых им в пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах. Передали, что на разъезде Малакумдычап Каранар забил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в степь четырех маток, хозяевам с трудом удалось отбить их у Каранара. Люди из ружей стреляли в воздух. В другом месте Каранар согнал с верблюдицы ехавшего верхом хозяина. Хозяин, олух небесный, ждал часа два, думал, что, позабавившись, атан с миром отпустит его верблюдицу, которая, кстати, вовсе не собиралась сама избавляться от этого нахала. Но когда человек стал приближаться к верблюдице, чтобы уехать на ней домой, Каранар кинулся на него зверь зверем и погнал его — и затоптал бы, если бы тот не успел спрыгнуть в глубокую промоину и затаиться там, как мышь, ни живой ни мертвый. Потом он пришел в себя и, выбравшись по оврагу подальше от места встречи с Буранным Каранаром, поспешил домой счастливый, что жив остался.

Поступали по устному телефону сарозекскому и другие подобные вести о свирепых похождениях Каранара, но самое тревожное и грозное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда Ак-Мойнак. Вон куда подался, чертяка, — Ак-Мойнак, за станцией Кумбель! Оттуда прислал свое послание некий Коспан. Вот что писалось в этой достопримечательной записке:

«Салем, уважаемый Едигей-ага! Хотя ты и известный человек в сарозеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Я-то думал, ты мужик покрепче. Чего ты распустил своего громилу Каранара? От тебя такого мы не ожидали. Он тут страх павел на нас великий. Покалечил наших атанов, а сам отбил трех лучших маток, к тому же прибыл он сюда не один — пригнал какую-то верблюдицу оседланную, видно, согнал по пути хозяина, а не то зачем этой верблюдице пришлой быть под седлом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степь и никого близко не подпускает — ни человека, ни скотину. Куда это годится? Один молодой атанча наш уже издох, ребра у него оказались переломаны. Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть Каранара, забрать наших маток. Куда там! Ничего он не боится. Готов загрызть, изжевать заживо кого угодно! Только бы не мешали ему заниматься его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих

маток подряд, только земля ходуном ходит. Тошно смотреть, как он это зверски делает. И орет при этом на всю степь, словно конец света наступает. Сил нет слушать! И, сдается мне, он мог бы заниматься этим делом сто лет без продыху. Я такого изверга сроду не видывал. В нашем поселке все встревожены. Женщины и дети боятся далеко уходить от домов. А потому я требую, чтобы ты прибыл незамедлительно и забрал своего Каранара. Даю срок. Если через день не появишься и не избавишь нас от этого наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное. Такими пулями медведя валят. Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях, и делу конец. А шкуру пришлю попутным товарняком. Не посмотрю, что Буранный Каранар. А на слово я крепкий человек. Приезжай, пока не поздно.

Твой ак-мойнакский ини * Коспан».

Вот такие дела закрутились. Письмецо хотя и чудачком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едигею придется немедленно отправляться на разъезд Ак-Мойнак.

Сказать просто, сделать не так легко. Надо было добраться до Ак-Мойнака, изловить Каранара в степи да вернуться назад по таким холодам, и выюга могла подняться в любой момент. Проще всего было одеться потеплее, сесть на проезжавший товарняк, а оттуда верхом. Но кто знает, как далеко ушел в степь Каранар со своим гаремом. Судя по тону письма, акмойнакцы могли быть так раздражены, что не дадут верблюда, придется в чужой стороне пешком гоняться по сугробам за Каранаром.

Утром Едигей двинулся в путь. Укубала наготовила ему еды на дорогу. Одежда он плотно. Поверх стеганых ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на ноги валенки, на голову лисий малахай-трилистник — такой, что ни с боков, ни сзади ветер не задувает, вся голова и шея в меху, — на руки теплые овчинные рукавицы. А когда оседлывал он верблюдицу, на которой собрался ехать в Ак-Мойнак, прибежали Абуталиповы ребята, оба. Даул принес ему вязанный вручную шерстяной шарф.

* Ини — младший брат, младший родич, земляк.

— Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла, — сказал он при этом.

— Шея? Скажи, горло.

Едигей принялся от радости тискать ребят, целовать их, так растрогался, что и слов других не находил. Возликовал в душе, как ребенок, — это был первый знак внимания с ее стороны.

— Скажите маме, — сказал он детям при отъезде, — что скоро я вернусь, бог даст, завтра же прибуду. Ни минуты не стану задерживаться. И мы все соберемся и будем вместе пить чай.

Как хотелось Буранному Едигею поскорее добраться до злополучного Ак-Мойнака и обернуться назад, чтобы увидеть Зарипу, глянуть в ее глаза и убедиться, что не случайным намеком был этот шерстяной шарфик, который он бережно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака. Когда уже выехал и потом, когда изрядно удалился от дома, едва удержался, чтобы не повернуть назад, бог с ним, с этим взбесившимся Каранаром, пусть пристрелит его на здоровье некий Коспан и пришлет его шкуру, в конце концов сколько можно нянчиться с диоконравным верблюдом, пусть покарает его судьба. Пусть! Поделом! Да, были такие горячие порывы! Но постыдился. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, и прежде всего в глазах Укубалы, да и самой Зарипы. И остыл. Убедил себя, что только один у него способ утолить нетерпение — поскорее добраться и поскорее вернуться.

С тем и погонял. Достаточно морозно было. Ветер тянул ровный и жесткий. На ветру иней обкладывал лицо, мех лисьего малахая намерзал пушистой куржой. И такой же белой куржой оседало дыхание бурой верблюдицы шлейфом от шеи до самой холки. Зима, знать, входила в силу. Затуманились дали. Вблизи вроде нет тумана, а посмотришь — на краю видимости стоит туманность. Эта туманность все время как бы передвигалась перед ним по мере езды. Насколько к ней приблизится путник, настолько она отступит. Нелюдимо и сурово было в зимних сарозеках, застывших в ветреной белизне.

Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом неплохо, бодро взрыхляя целину. Но для Едигея это была не та езда, не та скорость. Будь то Каранар, совсем другому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее и размах шага — не сравнить. Недаром ведь сказано еще стари:

Чем лучше копь того копия?
Превосходящим ходом лучше,
Чем лучше батыр того батыра?
Умом превосходящим лучше...

Ехать было далеко и все время в одиночестве. Порядком истомился бы в пути Едигей, если бы не шарфик, подаренный Зарипой. Всю дорогу он ощущал присутствие этой вроде бы пустяковой вещицы. Сколько прожил уже на свете, а не предполагал, что такая мелочь может так согреть сердце, если исходит от любимой жепцины. Тем и пробавлялся всю дорогу. Запуская руку за пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но потом призадумался. Как же быть, как жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть? Живой человек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой цели. А их-то и не было.

И тогда скорбным туманом заволакивался взор Буранного Едигея, как те молчаливые сарозекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигей ответа, сокрушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал себя безнадежными грезами...

И подчас становилось ему по-настоящему страшно в этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь выпала ему? Зачем он попал в сарозеки? Зачем объявилась на Боранлы-Буранном эта несчастная семья, гонимая судьбой? Не было бы всего этого — не знал бы никаких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невозможно... А тут еще этот разбушевавшийся Каранар, тоже обуза, тоже кара божья, не везет. Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни...

Прибыл Едигей на Ак-Мойнак уже почти к вечеру. Притомилась по пути верблюдица. Путь был далекий, да еще в зимнее время.

Ак-Мойнак — такой же разъезд, как Боранлы-Буранный, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет — те же сарозеки.

Подъезжая к Ак-Мойнаку, спросил Едигей у встретившегося на краю улочки малого, где, мол, тут Коспан. Тот ему сказал, что Коспан в этот час как раз на работе, дежурит по разъезду. Туда и направился Буранный Едигей. Подъехал к дежурке и собирался уже спешиться, как на крыльце появился среднего роста, бойкий, хитро ухмыляющийся мужичок в полушубке словно бы с чу-

жого плеча, в стоптанных валенках, в старом треухе на-бекрень.

— А-а, Едигей-ага! Наш дорогой Борапшы-ага! — сразу узнал он Едигея, скатываясь с крыльца. — Значит, прибыл, а мы ждем-пождем. Думаем-гадаем, то ли приедет, то ли нет.

— Попробуй тут не приехать, — усмехнулся Едигей, — когда такое грозное письмо прислали.

— А как же иначе! Ну, письмо еще полбеды, Едигей-ага. Письмо — это бумажка. А тут дела такие, что надо тебе срочно избавлять нас от своего Каранара, а то мы тут как в блокаде. В степь ходу нам нет. Завидит кого издали — бежит как бешеный, готов изувечить! Что за паразит! Страшно иметь такого атана. — Он умолк, оглядел верхового Едигея и добавил: — Только я смотрю, как ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли!

— Зачем голыми руками? Вот мое оружие. — Едигей достал из переметной сумы навернутый на кнутовище бич.

— Вот этой плеткой, что ли?

— А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против верблюда?

— Да мы тут с ружьями не смеем. Не знаю, может, конечно, признает тебя за хозяина, тогда... Только вряд ли, глаза его в дыму...

— Ну, это посмотрим, — отвечал Едигей. — Что время терять? Должно быть, ты и есть тот самый Коспан. Если так, то веди меня, покажи, где он там, а остальное оставь мне.

— Это не так близко, — сказал Коспан и стал оглядываться по сторонам, а потом посмотрел на свои часы. — Вот что, Едигей-ага, поздно уже. Пока доберемся туда, свечереет. А куда ты потом на ночь глядя? Нет, так не пойдет. Таких людей, как ты, не всегда зазовешь в гости. Будь нашим гостем. А с утра — как душе твоей угодно.

Такого оборота Едигей не ожидал. Он-то рассчитывал, если удастся изловить Каранара, сегодня же ночью добраться до Кумбеля, там заночевать возле станции у знакомых, а на рассвете двинуться пораньше домой. Видя, что Едигей хотел бы уехать, Коспан решительно запротестовал:

— Нет, Едигей-ага, так не пойдет. За письмо прости. Но другого выхода не было. Житья не стало. Только я не

отпущу тебя. Если, не дай бог, случится что ночью в безлюдной зимней степи, не хочу быть черноликим на все Сары-Озеки. Оставайся, а утром как хочешь. Вон мой домик, с краю. У меня еще полтора часа дежурства. Будь как у себя. Располагайся. Верблюдицу ставь в загон. Корм будет. Вода у нас своя, вволю.

Быстро потемнело тем зимним днем. Коспан и его семья оказались чуждыми людьми. Старуха мать, жена, мальчишка лет пяти (старшая девочка училась, оказывается, в кумбельском интернате) и сам Коспан были заняты только тем, чтобы угодить гостю. В доме было жарко натоплено, по-особому оживленно. На кухне уваривалось мясо зимнего забоя. Тем временем пили чай. Старуха мать сама наливала пиалы Буранному Едигею и все расспрашивала про семью, про детей, про житье-бытье, про погоду, да откуда, мол, родом-племенем, да сама, в свою очередь, рассказывала, когда и как прибились они на разъезд Ак-Мойнак. Едигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье масло в сарозеках редкость. Овечье, козье, верблюжье масло тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорила старуху, и она принялась рассказывать о родине своей — о яйцких* землях, о тамошних травах, лесах и реках...

Тем временем пришел начальник разъезда — Эрлепес, приглашенный Коспаном по случаю приезда Буранного Едигея. С приходом Эрлепеса начался сам собой мужской разговор о службе, о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде, тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Ак-Мойнака он сидел с конца войны, и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением.

Уже ночь стояла за окнами. Как и на Боранлы-Буранном, то и дело проходили с шумом поезда, позвякивали стекла, ветер посвистывал в оконных створках. И все-таки это было совсем другое место, хотя и по той же железной дороге в сарозеках, и Едигей был среди совсем дру-

* Я и ц к и х — от слова «Жайык» (раздольная, широкая), так казахи называли прежде реку Урал.

гих людей. Здесь он был гостем, хотя приехал из-за сумасбродного Каранара, но все равно его встретили достойно.

С приходом Эрленеса Едигей почувствовал себя тем более на своем месте. Хорошо знал казахскую старину. Разговор вскоре перешел на былые времена, на знаменитых людей, на знаменитые истории. Очень расположился в тот вечер Едигей к новым ак-мойпацким друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радужные хозяйина и хозяйки и в немалой степени хорошее угощение и выпивка. Водка была. С мороза и с дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений вяленым орочком — горбым салом молодой верблюжатины, — и благодать разлилась по телу, умилая и улаживая душу. Захмелел малость Буранный Едигей, оживился, заулыбался. Эрленес тоже позволил себе выпить в честь гостя и тоже чувствовал себя приподнято. Поэтому он и попросил Коспана:

— Сходи, ради бога, Коспан, принеси мою домбру.

— Вот это дело, — одобрил Едигей. — С малолетства завидую тем, кто на домбре играет.

— Большой игры не обещаю, Едике, но кое-что припомню в твою честь, — сказал Эрленес, скинув пиджак и засучивая заранее рукава рубашки.

В отличие от шустрого, многословного Коспана Эрленес был более сдержанным. Массивный лицом и породный, он внушал уверенность в себе. Когда он взял в руки домбру, то сосредоточился и словно отдалился на некое расстояние от повседневности. Так случается, когда человек готовится обнаружить свои сокровенные привязанности. Налаживая инструмент, Эрленес глянул на Едигея долгим, мудрым взглядом, и в его черных, навывкате, больших глазах блеснули, отражаясь, как в море, блики света. А когда он ударил по струнам и пробежал длинными цепкими пальцами вверх и вниз по высокой, на всю длину взмаха шейке домбры, успев извлечь разом целую гроздь звуков и одновременно завязывая узелки новых гроздей, которые будет затем, развивая тему, щедро срывать со струн, понял Буранный Едигей, что не легко и не просто обернется ему слушанье этой музыки. Ибо он, оказывается, всего лишь отвлекся, всего лишь забылся малость в гостях, но первые же звуки домбры снова вернули его к себе, снова кинули с головой в пучину горестей и бед. Отчего же такое возникло в нем? Выходит, давно уже было известно тем людям, которые

сочинили эту музыку, как и что произойдет с Буранным Едигеем, какие тяготы и муки предназначены ему на роду? А иначе как могли они знать, что почувствует он, когда услышит себя в том, что наигрывал Эрлепес? Встрепенулась душа Едигея, воспарила и застонала, и разом отворились для него все двери мира — радости, печали, раздумья, смутные желания и сомнения...

Действительно отменно играл Эрлепес на домбре. Давнишние переживания давнишних людей оживали в струнах, высвобождая, как сухие дрова в костре, огонь душевного горения. А Едигей думал в тот час, то и дело поглаживая дареный шарфик, спрятанный во внутреннем кармане пиджака, о том, что есть на свете женщина, которую он любит, и сама мысль о пей для него усада и мука, что жить без нее ему невоготу, и потому он будет любить ее всегда, неоглядно, неизбежно, бесконечно, чего бы то ему ни стоило. Об этом и звенела, то угасая, то возгораясь, домбра в руках Эрлепеса. Одни наигрыши сменялись другими, одни мелодии переливались в следующие, и плыла душа Едигея, словно лодка по волнам. Снова очутился он мысленно на Аральском море, припомнились незримые морские течения вдоль берегов, их направление угадывалось по длинным и густым, как женские волосы, водорослям, уплывающим по течению, вытягиваясь на одном и том же месте. Когда-то у Укубалы были такие волосы, ниже коленей. И когда она купалась, то ее волосы тяжело уплывали в сторону, как те водоросли по морскому течению. И она счастливо смеялась и была красива и смугла.

Просветлел, растрогался Буранный Едигей, так хорошо ему было слушать домбру. Только ради этого стоило проделать по зимним сарозекам дневной путь. «Вот и хорошо, что Каранар заскочил сюда, — подумалось Едигею. — Сам очутился здесь и меня завлек, просто принудил приехать. А душа моя зато хоть разок насладится домброй. Эй да молодец Эрлепес! Большой мастер, оказывается! А я-то и не знал...»

Слушая наигрыши Эрлепеса, Едигей думал о своем, пытался со стороны посмотреть на свою жизнь, подняться над ней, как кличущий корипун над степью, высоко-высоко и оттуда, в полном одиночестве паря на прямо расставленных крыльях по восходящим воздушным потокам, оглядывать то, что внизу. Огромная картина зимних сарозеков представляла перед его взором. Там, на незаметной излучине железнодорожной линии, приткнулось

кучкой несколько домиков и несколько огоньков — это разъезд Боранлы-Буранный. В одном из домиков Укубала с дочурками. Они, пожалуй, уже спят. А Укубала, возможно, и не спит. Что-то ведь думает и что-то должно ей подсказывать сердце. А в другом домике — Зарипа со своими ребятами. Она-то наверняка не спит. Тяжело ей, что и говорить. А впереди еще сколько предстоит горя мыкать — ребятишки-то пока еще не знают об отце. А куда денешься, правду не обойдешь стороной...

Представил он себе, как, грохоча, бегут в тот час поезда среди ночи, полыхая огнями и взметая снежную пыль, и какая глухая и бесконечная ночь стоит вокруг. Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, внимая домбре, в беспросветно темной и дикой степи, среди снегов и ветра бодрствует неистовый Каранар. Ему не до сна, не до покоя. Вот ведь как устроено в природе. Весь год набирается сил, весь год изо дня в день собирает и пережевывает корм, все время непрестанно перетирая жвачку могучими челюстями, и для этого у него соответственно устроен желудок, вначале накапливающий грубый корм, а затем возвращающий его для вторичного измельчения, чем и занимается верблюд в любое время, пережевывая жвачку на ходу и даже во сне, и все это с тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах, и чем мощнее, налитее и крепче горбы, чем плотнее в них сало, тем мощнее самец в зимний гон. И тогда ему нипочем ни снега, ни холода, ни даже хозяин и тем более прочие люди. Тогда он лютует, опьяненный неукротимой силой, тогда он царь и владыка, и нет ему ни усталости, ни страха, и ничего на свете не существует — ни питья, ни еды, ничего, кроме утоления великой и необузданной страсти его. Но ведь для этого он и жил целый год, для этого и набирался силы изо дня в день. И в этот час Буранный Едигей сидел гостем в тепле и слушал домбру, а где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лунных снегов ярился и метался Буранный Каранар, верный зову крови, ревниво оберегая облюбленных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая устрашающе черными космами бороды.

И об этом думалось Едигею под звуки домбры...

Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое. К тому, что ожидалось завтра. Странное желание возникло при этом — заслонить, загородить от опасности все, что дорого ему, весь

мир, который представился ему, чтобы никому и ничему не было плохо. И это смутное ощущение некой вины своей перед всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль...

— Уа, Едигей, — окликнул его Эрлепес, задумчиво улыбаясь, доигрывая, мелко перебирая затихающие струны. — Ты никак устал с дороги, надо тебе отдохнуть, а я тут на домбре бренчу.

— Да нет, что ты, Эрлеке, — искренне смутился Едигей, прикладывая руки к груди. — Наоборот, давно мне не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, продолжай, сделай такое добро. Играй.

— А что бы ты хотел?

— Это тебе лучше знать, Эрлеке. Мастер сам знает, что ему сподручней. Конечно, старинные вещи — они как бы роднее. Не знаю отчего, за душу берут, думы навевают.

Эрлепес понимающе кивнул.

— Вот и Коспан у нас такой, — усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Коспана. — Как слушает домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так, что ли, Коспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забывай. Плесни нам понемногу.

— Это я мигом, — оживился Коспан и подлил на дно стаканов по новой.

Они выпили, закусили. Переждав, Эрлепес снова взял в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так ли настроен инструмент.

— Коли тебе по душе старинные вещи, — сказал он, обращаясь к Едигею, — напомню я тебе одну историю, Едике. Многие старики ее знают, да и ты знаешь. Кстати, у вас Казангап хорошо рассказывает, но он рассказывает, а я наиграю и спою — целый театр устрою. В твою честь, Едике. «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

Едигей благодарно закивал, а Эрлепес прошелся по струнам, предваряя сказание так хорошо знакомой домбровой увертюрой, и снова застонала настороженная душа Едигея, ибо все, что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой тоской и пониманием.

Гудела домбра, ей вторил голос поющего Эрлепеса, густой и низкий, очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого жырау* Раймалы-аги. Рай-

* Жырау — степной бард.

малы-аге было уже за шестьдесят, когда он влюбился в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую певицу Бегимай, она зажглась как звезда на его пути. Вернее, это она влюбилась в него. Но Бегимай была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы-агу. И с тех пор эта история любви имеет своих сторонников и противников. Нет равнодушных. Одни не приемлют, отвергают поступок Раймалы-аги и требуют, чтобы имя его было забыто, другие сочувствуют, сопереживают, передают эту горькую печаль влюбленного из уст в уста, из рода в род. Так и живет сказание о Раймалы-аге. Во все времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои защитники.

Припомнилось Едигею в тот вечер, как поносил и злобствовал кречетоглазый, обнаруживший среди бумаг Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы-аги к брату Абдильхану. Абуталип же, напротив, был очень высокого мнения об этой, как он называл ее, поэме о степном Гёте; оказывается, у немцев тоже был великий и мудрый старик, который влюбился в молоденькую девушку. Абуталип записал песню о Раймалы-аге со слов Казангала в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые становятся достоянием многих, ибо цена того урока настолько высока, так много вмещает в себя та история, что то, что было пережито одним человеком, как бы распространяется на всех живших в то время и даже на тех, кто придет следом, много позже...

Перед ним сидел Эрлепес, вдохновенно наигрывая на домбре и вторя ей голосом, начальник разъезда, которому положено прежде всего ведать путями на определенном участке железной дороги, казалось бы, зачем ему посить в себе мучительную историю давнего прошлого, историю несчастного Раймалы-аги, зачем страдать так, точно бы сам он был на его месте... Вот что значит музыка и истинное пение, думалось Едигею, скажут: умри и родись заново — и на то готов в ту минуту... Эх, как хочется, чтобы всегда горел в просветлевшей душе такой огонь, от которого ясно и вольготно думается человеку о себе самым лучшим образом...

На новом месте Едигею не сразу удалось уснуть, хотя он и выходил перед этим подышать воздухом, хотя и устроили ему хозяева удобное, теплое ложе, застелили

свежими простынями, сберегаемыми в каждом доме для таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как скребся и посвистывал ветер, как проходили поезда в ту и другую сторону... Ждал рассвета, чтобы обратить взбунтовавшегося Каранара и пораньше отправиться в путь, побыстрее добраться до Боранлы-Буранного, где ждут его детишки обоих домов, потому что он всех любит в равной степени и потому, что он для того и живет на этой земле, чтобы им было хорошо... Обдумывал он, каким способом предстоит усмирить Каранара. Вот ведь задача, все у него не как у людей, и верблюд достался самый норовистый и свирепый, люди боятся одного его вида и теперь готовы даже пристрелить... Но как втолкуешь скотине, что хорошо, что плохо... Ведь потянуло его сюда неспроста — так природа распорядилась, а Каранар велик и могуч, и оттого нет ему никаких преград, и кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит... Как тут быть, как приструнить Каранара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедовой головы, не Коспан, так кто-нибудь другой пристрелит, и ничего не поделаешь... Засыпая, припомнил еще раз пение Эрлепеса, его игру на домбре и очень был тем доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту дробру страдания некогда влюбившегося, на беду свою, певца Раймалы-аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едигей ощутил в той истории Раймалы-аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую боль. То, что испытал Раймалы-ага лет сто тому назад, как эхо отдавалось теперь в нем, в Буранном Едигее, живущем в пустынных сарозеках. Едигей тяжело вздыхал, ворочался в постели, грустно и печально было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности духа в себе. Куда ему было податься и как быть дальше? Что сказать Зарипе и что ответить Укубале? Нет, не находил распутия, плутал, запутывался и, засыпая, очутился вдруг на Аральском море... Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра... И как тогда, как в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал, реял над морским простором и слышал все время, как гудела и звенела домбра, как пел Эрлепес о несчастной любви Раймалы-аги, и снилось ему снова, как выпускал он в море золотого мекре. Мекре был гибкий и увесистый, и когда он нес его к воде, явственно ощущал

живую плоть рыбы, то, как она жаждала вырваться в свою стихию. Он шел по приборю, море катилось ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал руки, и золотой мекре, вспыхивая в густой синеве воздуха живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и падал в воду... И все так же доносилась откуда-то музыка... Кто-то плакал и жаловался на свою судьбу.

Той ночью гулял в степи морозный порывистый ветер. Стужа набирала силу. Стадо верблюдиц из четырех голов, облюбванное и оберегаемое Буранным Каранаром, стояло в затишке, в ложбине под невысокой сопкой. Заметаемые с подветренной стороны снегом, они сбились в кучу, угревая друг друга, положив головы на шеи друг другу, но их неистовый косматый повелитель Каранар не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестно к кому и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу.

Каранар не находил себе места. Он топтался по метьельному дымному насту, черный зверь о двух горбах, с дливнящей шеей и рывкающей патлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас не прочь был заняться любовным трудом и все докучал и приставал то к одной, то к другой матке, крепко кусал их за лодыжки и за ляжки, оттирал их одну от другой, но это было уж слишком с его стороны, верблюдицам достаточно было и дневного времени, когда они охотно исполняли его прихоти, а ночью им хотелось покоя. Поэтому они тоже неприязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных приставаний и не собирались уступать. Ночью им хотелось покоя.

Ближе к рассвету поуспокоился, попритих и Буранный Каранар. Стоял рядом с самками, покрикивая изредка как бы спросонья и дико озираясь вокруг. И тогда верблюдицы прилегли на снег, вся четверка, одна возле другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного атана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевшего ими в битве с другими атанами. И снилось им лето, пахучая полынь, нежное прикосновение сосунков к вымени, и вымена их побаливали, покалывали из смутной глубины, предощущая будущее молоко... А Буранный Каранар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах...

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она наконец повернулась таким боком, что наступило утро пад сарозеками, увидел вдруг Буранный Каранар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Коспан. Коспан взял с собой ружье.

Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, закипел во гневе — как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гурту, какое имели право нарушить его гон? Каранар завопил зычным, свирепеющим голосом и, дергая головой на длиннющей шее, залязгал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую пасть. И пар валил, как дым, из его горячего рта на холоде и тут же оседал на черных космах белой налетающей изморозью. От возбуждения Каранар начал мочиться, встал раскорячившись и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едигея.

Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись налегке — в телогрейке и ватных штанах, — раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках.

— Ты смотри, Едике, в случае чего я его уложу, — сказал Коспан, направляя ружье.

— Нет, ни в коем случае. За меня не беспокойся. Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если на тебя нападет, тогда дело другое.

— Хорошо, — согласился Коспан, оставаясь верхом на верблюдице.

А Едигей, нахлестывая бич резкими, стреляющими хлопками, пошел навстречу своему Каранару. Каранар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной, навстречу Едигею. Тем временем матки встали с лежбища и тоже беспокойно забегали вокруг.

Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжью волокушу на снежных заносах, Едигей шел по снегу, громко окликавая издали Каранара, надеясь, что тот узнает его голос:

— Эй, эй, Каранар! Не валяй дурака! Не валяй, говорю! Это я! Ты что, ослеп? Это я, говорю!

Но Каранар не реагировал на его голос, и Едигей ужаснулся, когда увидел косматый злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной

громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотней надвинув малахай, Едигей пустил в ход бич. Бич был длинный, метров семь, плетенный из тяжелой, просмоленной кожи. Верблюд орал, наступал на Едигея, пытаясь схватить его зубами или повалить на землю и затоптать, но Едигей не подпускал его к себе и хлестал бичом со всей силы, увертываясь, отступал и наступал и все кричал ему, чтобы тот вспомнился и признал его. Так бились они каждый как умел, и каждый был по-своему прав. Едигей был потрясен неукротимой, невменяемой устремленностью атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья, но другого выхода не было. Одного только опасался Едигей: только бы глаз Каранару не выбить, остальное сойдет. Упорство Едигея сломило наконец волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на верблюда, Едигею удалось приблизиться и кинуться, затем ухватить его за верхнюю губу, он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился, и тут же, изловчившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Каранар замычал, застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой, в его расширенных, немигающих, пемеющих от страха и боли глазах Едигей увидел свое четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, убоявшись собственного вида. Ему захотелось бросить все к черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем не повинную тварь, но он тут же одумался: его ждали в Боранлы-Буранном, и нельзя было возвращаться без Каранара, того просто пристрелят ак-мойнакские соседи. И он пересилил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный Каранар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасти, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться.

— Коспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих верблюдиц подальше, за сонку, чтобы он их не видел! — прокричал Едигей Коспану.

Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, а сам побежал отгонять Каранарово стадо. Тем временем все было покончено — Едигей быстро уложил седло на Каранара и, когда прибежал Коспан и принес Едигею брошенную шубу, быстро оделся и не мешкая водрузился верхом на оседланного и обузданного Каранара.

Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным маткам, хотел даже, закидывая голову набок,

достать зубами хозяина. Но Едигей знал свое дело. И несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное не-смолкаемое вытье Каранара, Едигей упорно гнал его по снежной степи и все пытался вразумить.

— Перестань! Хватит! — говорил он ему. — Замолчи! Все равно назад не вернешься. Дурная ты голова! Думаешь, я тебе зла желаю? Да не будь меня, сейчас бы тебя пристрелили как вредного бешеного зверя. А что скажешь? Ты же взбесился, это верно, еще как верно! Взбесился, ведешь себя как последний сумасброд! А не то зачем приперся сюда, своих маток тебе не хватало? Вот учти, доберемся до дома — и конец твоим куролесиям по чужим стадам! На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался!

Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Каранара от его ак-мойшакских верблюдиц. И это было вообще несправедливо. Был бы он смиренным животным — какой вопрос! Вот ведь бросил Едигей верховую верблюдицу у Коспана. Коспан обещал при случае пригнать ее на Боранлы-Буранный — и никаких тебе проблем, все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.

Через некоторое время смирился Буранный Каранар и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода — бежал тротом, стриг ногами расстояние сарозеков как заведенный. И Едигей успокоился, уселся поудобней между упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотней подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к борашлинским местам.

Но было еще достаточно далеко до дома. День выдался сносный. Немного ветреный, немного облачный. Метели в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буранный Едигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать Каранара, а особенно вчерашним вечером у Коспана, домброй и пением Эрлепеса.

И Едигей невольно вернулся к мыслям о своей незадачливой жизни. Вот ведь беда! Как сделать, чтобы никто не пострадал и чтобы боль свою не таить, а сказать напрямик — так и так, мол, Зарипа, люблю тебя. И если детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то, если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запи-

шет этих ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И пусть добиваются они успеха своими силами и умением. Жалко разве для этого фамилию отдать? Да, и такие мысли навещали по пути Бураншого Едигея.

Уже день клонился к исходу. Неутомимый Каранар, как ни противился, как ни ярился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись бораилинские лого, вот знакомые буераки, замеченные сугробами, вот большое всхолмление — и впереди на излучине железной дороги приткнулся разъезд Бораилы-Буранный. Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи? Вроде бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто целый год здесь не был. И соскучился здорово — особенно по детишкам. Завидев впереди поселение, Каранар еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара. Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда. Один пошел на запад, другой на восток...

Едигей остановился на задах, во дворе, чтобы сразу же запереть Каранара в загон. Спешился, ухватил врытую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда. И оставил его в покое. «Пусть поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка — Сауле. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал.

— Замерзнешь, — сказал он ей. Она была легко одета. — Беги домой. Я сейчас.

— Папа, — сказала Сауле, ласкаясь к отцу, — а Даул и Эрмек уехали.

— Куда уехали?

— Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали.

— Уехали? Когда уехали? — все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери.

— Да сегодня утром еще.

— Вот как! — дрогнувшим голосом отозвался Едигей. — Ну ты беги, домой беги, — отпустил он девочку. — А я потом, потом. Иди, иди сейчас...

Сауле скрылась за углом. А Едигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх

ватника, направился прямо в барак Зарипы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами. Едигей резко потянул дверь за скобу и, переступив порог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату с разбросанным повсюду ненужным хламом. Ни детей, ни Зарипы!

— Как же так? — прошептал Едигей в пустоту, все еще не желая понять до конца, что произошло. — Значит, уехали? — сказал он удивленно и скорбно, хотя совершенно очевидно было, что люди уехали отсюда.

И ему стало плохо, так плохо, как никогда за всю прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты, у холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше, как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу обиду и утрату. На подоконнике лежали забытые Эрмеком гадательные камушки, те самые сорок один камушек, на которых научились они гадать, когда вернется не существующий давно их отец, камушки надежды и любви. Едигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке — вот и все, что осталось. Больше у него не хватило сил, он отвернулся к стене, прижимаясь горячим горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал сдавленно и безутешно. И пока он плакал, из руки его то и дело падали на пол камушки один за другим. Он судорожно пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не подчинялась ему, и камушки выскальзывали и падали на пол с глухим стуком один за другим, падали и закатывались по разным углам опустевшего дома...

Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая. Достал из кармана шарфик, подаренный накапуне Зарипой, и утирал им слезы...

Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась, что он не отпустит их. Да он и не отпустил бы их ни в коем случае, ни за что. Чем бы это ни кончилось, не отпустил бы, будь он здесь. Но теперь было поздно гадать, как и что было бы, не будь он в отъезде. Их не было. Не было Зарипы! Не было мальчиков! Да разве бы он разлучился с ними? Это все Зарипа, поняла, что лучше уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но

не подумала о нем, о том, как страшно будет ему застать опустевший барак.

И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде! Кто-то! Да известно кто — Казангап, кто же еще! Только он не срывал, копейно, стоп-кран, как Едигей в день смерти Сталина, а договорился, упросил начальника разъезда остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это такой тип... И Укубала, должно быть, приложила руку, чтобы побыстрее выпроводить их вон отсюда! Ну подождите же! И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая мозг, — хотелось ему сейчас собраться с силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Боранлы-Буранный, сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось, сесть на Каранара и укатить в сарозеки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода! Так он сидел на покинутом месте — обессиленный, опустошенный, потрясенный случившимся. Осталось только тупое недоумение: «Зачем уехала, куда уехала? За чем уехала, куда уехала?»

Потом он появился дома. Укубала молча приняла его шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу Буранного Едигея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрячими. Они ничего не выражали, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. Укубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля.

— Чай горячий, — сказала жена. — С огня.

Едигей молча глянул на нее и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора.

— Зарипа уехала отсюда с детьми, — промолвила паконец Укубала.

— Знаю, — не поднимая головы от чая, коротко буркнул Едигей. И, помолчав, спросил, все так же не поднимая головы от чая: — Куда уехала?

— Этого она нам не сказала, — ответила Укубала.

На том они замолчали. Обжигаясь крутым чаем и невзирая на это, Едигей занят был лишь одним: только бы не взорваться, только бы не разнести тут все вдребезги, не напугать детей, только бы не натворить беды...

Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу. Снова надел валенки, шубу, шапку.

— Ты куда? — спросила жена.

— Скотину посмотреть, — бросил он в дверях.

Короткий зимний день успел тем временем кончиться. Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг. И мороз заметно покрепчал, поземка зашевелилась, вскидываясь, змеясь бегущими гривами. Едигей хмуρο прошагал в загон. И, войдя, раздраженно зыркнул глазами, прикрикнул на рвавшегося с цепи Каранара:

— Ты все орешь! Тебе все нейдет! Ну так ты у меня, сволочь, дождешься! С тобой у меня разговор короткий теперь! Теперь мне все нипочем!

Едигей зло толкнул Каранара в бок, заматерился злым матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ногу цепь, на которой тот был прикован. Затем он взял его за повод, в другой руке зажал бич, намотанный на кнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего с тоски атана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, одергивал Буранного Каранара, чтобы тот прекратил свой стон и вопль, но поскольку это не возымело действия, плюнул и, не обращая внимания, шел, угрюмо и терпеливо снося верблюжий ор, шел упрямо по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю, темнеющему, теряющему постепенно очертания. Он тяжело дышал, но шел не останавливаясь. Долго шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Каранара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей быстро привязал повод недоуздка к поясу на ватнике, чтобы верблюд не вырвался и не убежал и чтобы иметь руки свободными, и, ухватившись обеими руками за кнутовище, принялся стегать бичом атана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он Буранного Каранара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгал ругательства и проклятия:

— На тебе! На! Подлая скотина! Это все из-за тебя! Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя отпущу, беги куда глаза глядят, но прежде я тебя изувечу! На тебе! На! Ненасытная тварь! Тебе все мало! Тебе надо бегать по сторонам. А она уехала тем часом с детьми! И никому из вас нет дела, каково мне! Как мне теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам все равно, то и мне все равно. Так получай, получай, собака!

Каранар кричал, рвался, метался под ударами бича,

и, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с пог, и побежал прочь, волоча его по снегу. Он волок хозяина с дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы избавиться от него, лишь бы освободиться, убежать туда, откуда его насильно вернули.

— Стой! Стой! — вскрикивал Едигей, захлебываясь, зарываясь в снегу, по которому тащил его атан.

Шапка слетела, сугробы били жаром и холодом в голову, в лицо, в живот, налезали за шею, за пазуху, в руках запутался бич, и ничего нельзя было поделывать, чтобы как-то остановить атана, отвязать повод от ремня на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя в бегстве спасение. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Едигею не удалось каким-то чудом распустить ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то задохнулся бы в сугробах. Когда он уже схватился за повод, верблюду проволока его еще несколько метров и остановился, удерживаемый хозяином из последних сил.

— Ах ты! — приходя в себя, бормотал Едигей, задыхаясь и пошатываясь. — Так ты так? Ну получай, скотина! И прочь, прочь с моих глаз! Беги, проклятый, чтобы никогда мне не видеть тебя! Пропади ты пропадом! Сгинь, проваливай! Пусть тебя пристрелят, пусть изведут, как бешеную собаку! Все из-за тебя! Подыхай в степи. И чтобы духу твоего близко не было! — Каранар убежал с криком в ак-мойнакскую сторону, а Едигей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная и матеря на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки. И потому Едигей долго кричал еще вслед:

— Пропадай, чертова скотина! Беги! Подыхай там, ненасытная тварь! Чтоб тебе пулю в лоб закатили!

Каранар убежал все дальше по сумеречному, стемневшему полю и вскоре исчез в метельной мгле, только доносились изредка его резкие трубные выклики. Едигей представил себе, как всю ночь напролет без усталости будет бежать он сквозь метель туда, к ак-мойнакским маткам.

— Тыфу! — плюнул Едигей и повернул назад по широкому, пропахавному собственным телом снежному следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках, брел он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег и, согнувшись в три погибели, крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном одино-

честве, на коленях посреди сарозеков, он услышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, взметая поземку, и услышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка и миллионы снежинок, неслышно шурша, шелестя в трении по воздуху, казалось ему, говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что нет смысла жить без любимой женщины и без тех ребятшек, к которым он привязался, как не всякий отец. И ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом.

— Нет бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни! Так что же ждать от других? Нет бога, нет его! — сказал он себе отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных сарозеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно памятуя сам о боге, убеждал в то же время, что, с точки зрения науки, бога не существует, он не верил тому. А теперь поверил...

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, коленопреклоненного на снегу, посреди снежной пустыни. Ни король, ни император, ни какой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти с таким отчаянием, как сделал то Буранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной... И плыла Земля...

Дня через три Казангап остановил Едигея у склада, где они получали костыли и подушки под рельсы для ремонта.

— Что-то ты нелюдимый стал, Едигей, — сказал он как бы между прочим, перекладывая связку железок на носилки. — Ты избегаешь меня, что ли, сторонисься почему-то, все никак не удается поговорить.

Едигей резко и зло глянул на Казангапа.

— Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте. И ты это знаешь!

— А я и не сомневаюсь, что ты готов придушить меня и, быть может, еще кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься?

— Это вы принудили ее уехать! — высказал напрямик Едигей то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни.

— Ну знаешь, — покачал головой Казангап, и лицо его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. —

Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что женщина эта оказалась с великим умом, не то что ты. Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться? Нет? А она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том. И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми, и она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше никто. Понял? Уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства и достоинства твоей жены. И они попрощались как люди. Да ты поклонись им обоим в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены, как Укубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край света почище твоего Каранара...

Молчал Едигей — что было отвечать? Казангап говорил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казангап того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на прямую грубость.

— Ладно! — проговорил он и сплюнул пренебрежительно в сторону. — Послушал я тебя, умника. Потому ты такой и ходишь здесь двадцать три года бессменно, без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе знать дела эти! Ладно! Некогда мне тут выслушивать. — И пошел, не стал разговаривать.

— Ну смотри, дело хозяйское, — послышалось позади.

После этого разговора задумал Едигей покинуть опостылевший разъезд Боранлы-Буранный. Всерьез задумал, потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без Зарипы, без ее мальчишек все померкло вокруг, опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Жангельдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей куда глаза глядят. Только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован же он цепями навечно к этому богом забытому разъезду, большинство людей живут же в других местах — в городах и селах, они не согласились в сарозеках? За какие грехи? Нет, хватит, уедет, вернется на Аральское море или двинет в Караганду, в Алма-Ату — и мало ли еще мест на свете. Работник он хороший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на плечах, плюнет на все и уедет, чего тут думать.

Соображал Едигей, как подступиться с этим разговором к Укубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока он собирался, выбирал удобный момент для разговора, минула неделя и объявился вдруг Буранный Каранар, выгнанный хозяином на вольное жительство.

Обратил внимание Едигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полагает и снова вернется. Едигей вышел посмотреть, что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное — верблюду, только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей подошел поближе и только тогда узнал своего Каранара.

— Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бечара*, до чего же ты истаскался! — воскликнул опешивший Едигей.

От прежнего Буранного Каранара остались только кожа да кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на истончившейся шее, космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже коленей, прежних каранаровских горбов, вздымавшихся как черные башни, не было и в помине — оба горба свалились набок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилел, что не хватило мочи добрести до загона. И остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, до последней клеточки изошелся он в гоне и теперь вернулся как опорожненный мешок, добрался, приполз.

— Эх-хе-хе! — не без злорадства удивлялся Едигей, оглядывая Каранара со всех сторон. — Вот до чего ты докатился! Тебя даже собака не узнала. А ведь был атаном! Ну и ну! И ты еще заявился?! Ни стыда, ни совести! Яйца-то у тебя на месте, дотянул или потерял по пути? А и вонища же от тебя. На ноги лил, сил не хватало. Вон как намерзло на заднице! Бечара! Совсем доходягой стал!

Каранар стоял не в силах шевельнуться, и не было в нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и жалкий, он лишь покачивал головой и старался только устоять, удержаться на ногах.

Едигею стало жалко атана. Он пошел домой и вернулся с полным тазиком отборного пшеничного зерна. Подсолил сверху полпригоршней соли.

— На, поешь, — поставил он корм перед верблю-

* Бечара — бедолага.

дом. — Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до загана. Полежишь, придешь в себя.

В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую:

— Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не удивляйся: вчера, мол, разговаривать не хотел, то да се говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу я возвратить тебе Каранара. Поблагодарить пришел. Когда-то ты подарил его мне сосунком. Спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло, так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне. Недели через две придет в прежний вид. Силен и здоров будет. Только подкормить требуется.

— Пстой, — перебил его Казангап. — Ты куда kloнишь? Чего это ты вдруг решил возвращать мне Каранара? Я тебя просил об этом?

И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в сарозеках, пора переменить место жительства. Может, к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал и вот что сказал ему:

— Смотри, дело твое. Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей не уйдешь. Она будет посподу с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй перебори себя. А уехать — это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может осилить себя.

Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал и спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая. «А может, все же уехать, закатиться в другие края? — думал он. — Но смогу ли забыть? А почему я должен забывать? А как же быть дальше? И не думать нельзя и думать тяжело. А ей каково-то? Где она теперь с несмышленищами? И есть ли кому понять и помочь ей в случае чего? И Укубале нелегко — сколько дней уже молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость... А за что?»

Казангап понял, что происходит в уме Бурапного Едигей, и, чтобы облегчить положение, сказал, кашлянув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза:

— А впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей, словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все сумеешь. И если на то пошло, ты не Раймалы-ага, а я не

Абдильхан. И главное, за сто верст вокруг нет у нас ни одной березины, к которой я мог бы привязать тебя. Ты свободен, поступай как угодно. Только подумай, перед тем как стронуться с места.

Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Едигея.

Х

Раймалы-ага был очень известным для своего времени певцом. Смолоду прославился. Милостью божьей он оказался жырау, сочетавшим в себе три прекрасных начала: он был и поэтом, и композитором собственных песен, и исполнителем незаурядным, певцом большого дыхания. Своих современников Раймалы-ага поражал. Стоило ему ударить по струнам, как вслед за музыкой лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. И на следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо, услышав напев Раймалы, каждый уносил его с собой по аулам и кочевьям. Это его песню распевали тогдашние джигиты:

Воды прохладный вкус познает конь горячий,
Когда он припадет к реке, бегущей с гор.
Когда же я скачу к тебе, чтобы с седла припасть к твоим
губам,

Я познаю отраду бытия на белом свете...

Раймалы-ага красиво и ярко одевался, это ему сам бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучшими мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный — всем известный золоти-сто-игреневый ахалтекинец Сарала, даренный туркменами на званом пиру. Хвалу воздавали Сарале не меньше, чем хозяину. Любуясь походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждение получали. Потому и говорили те, кому охота была подшутить: все богатство Раймалы — звук домбры да походка Саралы.

А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы-ага провел в седле и с домброй в руках. Богатства не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселии, везде ему почет и ласка. А коню уход и корм. Однако были иные крепкие, состоятельные люди, которые не любили его — беспутно, мол, bestолокво прожил жизнь, как ветер в поле. Да, поговаривали и так за спиной.

Но когда Раймалы-ага появлялся на красном пиру, то

с первыми звуками его домбры и песни все затихали, все завороченно смотрели на его руки, глаза и лицо, даже те, кто не одобрял его образа жизни. На руки смотрели потому, что не было таких чувств в человеческом сердце, созвучия которым не нашли бы эти руки в струнах; на глаза смотрели потому, что вся сила мысли и духа горела в его глазах, беспрестанно преображавшихся; на лицо смотрели потому, что красив он был и одухотворен. Когда он пел, лицо его менялось, как море в ветреный день...

Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпение, но многие женщины плакали украдкой по почам, мечтая о нем.

Так катилась его жизнь от песни к песне, со свадьбы на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкралась. Вначале в усах седина замелькала, потом борода поседела. И даже Сарала стал не тот — телом упал, хвост и грива иссеклись, по походке только и можно было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил Раймалы-ага в зиму свою, как тополь островерхий, подсыхающий в гордом одиночестве... И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдильхан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упрёки. Однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и обстирывать...

О старости стал петь Раймалы-ага, о смерти стал задумываться. Великие и печальные песни рождались в те дни. И настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей — зачем рождается человек на свет? И уже не разъезжал он, как прежде, по пирам и свадьбам, все больше дома оставался, все чаще наигрывал на домбре грустные мелодии, воспоминаниями жил, да все дольше засиживался со старейшинами в беседах о бренности мира...

И, бог ему свидетель, спокойно завершил бы дни свои Раймалы-ага, если бы не один случай, потрясший его на склоне лет.

Однажды не утерпел Раймалы-ага, оседлал своего престарелого Саралу и поехал на большой праздник развезть скуку. Домбру на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе, если не петь, то погостить хотя бы. С тем и поехал Раймалы-ага — с легкой душой, с намерением быстро вернуться.

Встретили его с почетом большим, в самую лучшую

юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц, кумыс попивал, разговоры вел приличные да благожелания высказывал.

А в ауле пир шел горой, доносились отовсюду песни, смех, голоса молодых, игры и забавы. Слышно было, как готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопотали повара у костров, как гомонили на воле табуны, как беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, донося запахи трав цветущих... Но более всего и ревностно улавливал слух Раймалы-аги музыку и пение в соседних юртах, смех девичий то и дело взрывался вокруг, заставляя его настораживаться...

Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не подавал собеседникам, но мысленно Раймалы-ага витал в прошлом, ушел в те дни, когда сам был молодым и красивым, когда мчался по дорогам на молодом и ретивом скакуне Сарале, когда травы, сминаясь под копытами, плакали и смеялись, когда солнце, слышав песню его, катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, когда от звуков его домбры загоралась кровь в сердцах людей, когда каждое слово его срывали на лету, когда умел он страдать, умел любить, и казнить, и слезы лить, прощаясь со стремени... К чему и зачем все то было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, как тлеющий огонь под пеплом серым?

Печалился Раймалы-ага, все больше помалкивал, погруженный в себя. И вдруг услышал он приближающиеся к юрте шаги, голоса и звон монист, и знакомое шуршание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял сшитый полог над дверью юрты, и на пороге появилась девушка с домброй, прижатой к груди, открытолицая, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива тугими, что выдавало в ней весьма решительный характер, и вся она, та черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, — и ростом, и обличьем, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прощения прося у знатных лиц. Но никто не успел и рта открыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к Раймалы-аге, запела приветственную песню:

«Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб жажду утолить, к тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-ага, сказать слова привета. Не осуди, что вторглись мы сюда толпою шумной, на то здесь пир, на

то веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости моей, Раймалы-ага, — отважилась к тебе явиться с песней, с таким же трепетом и тайным страхом, как если бы сама в любви признаться я хотела. Прости, Раймалы-ага, я смелостью заражена, как порохом ружье заветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цветок в бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час. И этот час настал...»

«Позволь, но кто же ты, пришлица прекрасная?» — хотел было узнать Раймалы-ага, но не посмел прервать чужую песню на полуслове. Однако весь подался к ней в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем, горячей кровью возбудилась плоть, и если бы в тот час особым зрением обладать сумели люди, увидели б они, как встрепенулся он, как крыльями взмахнул, подобно беркуту на взлете. Глаза в нем ожили и засияли, насторожился сам, как клик желанный слышав в небесах. И поднял голову Раймалы-ага, забыв о годах...

А девушка-певица продолжала:

«Послушай же историю мою, жырау великий, коль скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю тебя, певец от бога Раймалы-ага. Я всюду следовала за тобой, Раймалы-ага, где б ты ни шел, куда б ты ни приехал. Не осуждай. Моя мечта была акыном стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне, великий мастер песни Раймалы-ага. И, следуя повсюду за тобой незримой тенью, ни слова твоего не пропустив, твои напевы повторяя как молитвы, училась я, стихи твои, как заклинанья, затвердила. Мечтала я, просила я у бога мне ниспослать великой силы дар, чтобы могла тебя приветствовать в один счастливый день, чтобы в любви признаться, в преклонении давнем спеть песни, сочиненные в твоем присутствии, и еще, пусть бог простит мне эту дерзость, с тобой, великий мастер, в искусстве состязаться я мечтала, пусть если даже буду побеждена. О Раймалы-ага, об этом дне мечтала, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты — таким великим, таким любимым всеми, настолько славой и почетом окружен, немудрено, меня, девочку малую, заметить ты не мог в народе, не мог ты отличить в том многолюдье на пирах. А я же, упиваясь песнями твоими, сгорая от стыда, я втайне грезила тобой и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе и объявиться смело. И клятву я дала себе познать искусство слова, по-

знать природу музыки так глубоко и научиться петь, как ты, учитель мой, чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыскующего взора, чтоб привет сказать, в любви признаться и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я здесь. Я вся здесь на виду и на суду. Пока росла я, пока я женщиной предстать спешила без опоздания, так время медленно тянулось, и наконец-то нынешней весной все девятнадцать мне исполнились. А ты, Раймалы-ага, в моем девичьем мире все такой же и все тот же, лишь поседел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других, совсем не поседевших. И вот я здесь. Теперь позволь сказать мне решительно и ясно, меня отвергнуть как девицу волею ты, но как певицу — не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться в красноречии... Тебе бросаю вызов, мастер, слово за тобой!»

— Но кто же ты? Откуда ты? — воскликнул Раймалы-ага и с места встал. — Как звать тебя?

— Мое имя Бегимай.

— Бегимай? Так где же ты была до этого? Откуда ты явилась, Бегимай? — невольно вырвалось из уст Раймалы-аги, и голову склонил он омраченно.

— Ведь я сказала, Раймалы-ага. Мала была я, я росла.

— Все понимаю, — ответил он на то. — Не понимаю лишь одно — судьбы своей не понимаю! Зачем угодно было ей тебя взрастить такой прекрасной к закату лет моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что все, что было прежде, не то все было, что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне как воздаяние от неба отрадное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя? К чему судьба немилость проявляет столь жестоко?

— Напрасно сетуешь так горько, Раймалы-ага, — сказала Бегимай. — Уж если то судьба в моем лице явилась — во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе доставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Но если ты сомненья одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо мной дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытанья.

— О чем ты говоришь! Что испытанье словом, Бегимай! Что стоит состязанье в мастерстве, когда есть испытанья пострашнее — любви, не совместимой с тем поряд-

ком, в котором мы живем. Нет, Бегимай, не обещаю я соревноваться в красноречии с тобой. Не потому, что сил не хватит, не потому, что слово умерло во мне, не потому, что голос потускнел. Я лишь могу тобою восхищаться, Бегимай. Я лишь могу любить тебя себе на горе, Бегимай, и лишь в любви с тобою состязаться, Бегимай.

С этими словами Раймалы-ага взял домбру, настроил ее на новый лад и запел новую песню, запел как в былые дни — то как ветер, чуть слышный в траве, то как гроза, грохочущая раскатами в бело-голубом небе. С тех пор и осталась та песня на земле. Песня «Бегимай»:

«...Если ты пришла издалека, чтоб испить воды из родника, я как ветер встречный добегу и к ногам твоим упаду, Бегимай. Если же сегодня день напоследний мне судьбой начертан на роду, то сегодня не умру я, Бегимай, и вовеки не умру я, Бегимай, оживу и снова буду жить, Бегимай, чтобы не остаться без тебя, Бегимай, без тебя, как без очей, Бегимай...»

Вот так он пел ту песню «Бегимай». День тот надолго остался в памяти людей. Сколько разговоров закипело сразу вокруг Раймалы-аги и Бегимай. А когда провожали невесту к жениху, среди праздничных белых юрт, среди всадников на праздничных конях, среди яркой праздничной толпы, во главе провожательного каравана гарцевали Раймалы-ага и Бегимай с песнями благопожеланий. Бок о бок ехали они, стремя в стремя ехали они, красовались рядышком они, обращались к богу они, к добрым силам обращались они, новобрачным счастья желали они, на домбрах играли они, на свирелях играли они, песни пели они — то он, то она, то он, то она...

И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они, и смеялись травы вокруг, дым костров стелился вокруг, и летали птицы вокруг, веселились ребята, на двухлетках вокруг скача...

Не узнавали люди старого певца Раймалы-агу. Снова голос звенел, как бывало, снова гибким и ловким он стал, как бывало, а глаза сияли, как две лампы в белой юрте на зеленом лугу. Даже конь его Сарала шею выгнул и тоже гордился.

Но не всем то было по душе. Были в толпе и те, что плевались, глядя на Раймалы-агу. Сродственники, соплеменники его возмущались — баракбай, так назывался тот род. Баракбай злились, находясь на свадьбе. Куда это

годится — Раймалы-ага с ума спятил на старости лет. Стали наговаривать они брату его Абдильхану. Как же будем тебя волостным избирать, засмеют нас другие на выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет? Слышишь, что поет, как жеребец молодой, гогочет? А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и срам! На глазах у всех голову крутит ему. Не к добру. Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам...

Абдильхан давно уже зло держал на беспутного брата, до седин дожившего за беспутным занятием. Думал — постарел, остепенился, и тут на тебе: на весь род баракбаев позор навлекает.

И тогда приударил коня своего Абдильхан, пробилаясь к брату через толпу, и кричал, угрожая кнутом: «Опомнись! Домой уезжай!» Но не слышал и не видел его старший брат, сладкозвучными песнями занятый. А поклонники — те, что плотной толпой окружали верхами певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдильхана вмиг отеснили и успели с разных сторон по шее огреть плетью. Разберись тут, кто руку приложил. Ускакал Абдильхан...

А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась в устах.

«...Когда марал влюбленный подругу кличет ревом поутру, ему ущелье вторит эхом горным», — пел Раймалы-ага.

«Когда же лебедь, разлученный с лебедицей белой, на солнце глянет поутру, то солнце он увидит кругом черным», — отвечала песней Бегимай.

И так они пели в честь молодых — то он, то она, то он, то она...

Не ведал Раймалы-ага в тот час самозабвенный, с какой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдильхан, с какой обидой и мстью нестерпимой последовали за ним сородичи, весь баракбаев род. Какую в сговоре расправу заготовили они ему, не знал...

А песни пелись — то он, то она, то он, то она...

Мчал Абдильхан, к седлу пригнувшись черной тучей. К аулу, к дому! Сородичи, что волчьей стаей рядом шли, ему кричали на скаку:

— Брат твой рассудком тронулся! Ума лишился! Беда! Его лечить скорее надо!

А песни пелись — то он, то она, то он, то она...

Так с песнями проводили они свадебный кортеж к

положенному месту. Здесь на прощание еще раз спели благопожелания. И, обращаясь к людям, сказал Раймалы-ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного акына, певицу молодую Бегимай. Сказал, что кремь, лишь о кремь ударяясь, огонь воспламеняет, так и в искусстве слова, состязаясь в мастерстве, акыны постигают тайны совершенства. Но сверх всего, сверх мыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате, когда светило всей мощью полыхает, наполненной от сотворенья мира, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не знал от роду.

— Раймалы-ага! — ему в ответном слове сказала Бегимай. — Сбылась моя мечта. Я буду следовать за тобой. Как скажешь и где скажешь — явлюсь немедленно с домброй. Чтоб песня с песней сочелась, чтобы любить тебя и быть твоей любовью. С тем жизнь свою судьбе вручаю без оглядки.

Так пелись песни.

И здесь при всем степном народе условились они, что встреча через день на ярмарке большой, где будут петь для всех приезжих со всех сторон.

И в тот же час те, что разъезжались с проводов, весть разносили по всей округе о том, что Раймалы-ага и Бегимай на ярмарку приедут петь. Бежала новость:

— На ярмарку!

— На ярмарку коней седлайте!

— На ярмарку акынов слушать приезжайте!

Молва людская эхом откликалась:

— Вот праздник будет!

— Вот потеха!

— Вот красота!

— Какой позор!

— Как здорово!

— Бесстыдство-то какое!

А Раймалы-ага и Бегимай расстались посреди пути:

— До ярмарки, родная Бегимай!

— До ярмарки, Раймалы-ага!

И, удаляясь, еще кричали с седел:

— До ярмарки-и!

— До ярмарки-и, Раймалы-ага-а-а!

День на исходе был. Большая степь спокойно погружалась в наплывы белых сумраков степного лета. Созрели травы, чуть духом увядания травы отдавали, прохладой свежей веяло после дождей в горах, летели коршуны

перед закатом низко и неспешно, посвистывали птахи, славя вечер мирный...

— Какая тишина, какая благодать! — промолвил Раймалы-ага, поглаживая коня по гриве. — Ах, Сарала, ах, старипа, мой славный конь, неужто жизнь так прекрасна, что даже в свой последний срок любить так можно?..

А Сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых, день-деньской ходил под седлом, воды речной испить ему хотелось и в поле выйти попасться при лунном свете.

А вот аул у изгиба реки. Вот юрты, вот огни веселые дымят.

Раймалы-ага спешился. Коня у коновязи на выстойку поставил. В жилище не заходя, присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел. Соседский паренек.

— Раймалы-ага, вас просят люди в юрту.

— Какие люди?

— Да все свои, все баракбаи.

Переступив порог, увидел Раймалы-ага старейших рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку — брата Абдильхана. Тот мрачен был. Глаза не поднимал, как будто прятал что во взоре.

— Мир вам! — приветствовал Раймалы-ага сородичей. — Уж не случилась ли беда?

— Тебя мы ждем, — промолвил самый главный.

— Если меня, то здесь я, — ответил Раймалы-ага, — и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу.

— Постой! Остановись в дверях! И на колени встань! — услышал он приказ.

— Что это значит? Ведь я пока хозяин этой юрты.

— Нет, ты не хозяин! Не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума!

— О чем же речь?

— О том, что дашь отныне клятву нигде и никогда не петь, не шляться по пирам и напрочь выкинуть из головы ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, забыв о пегой бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей и своей. Так поклянись! Чтобы на глаза ты больше ей не попадался!

— Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе.

Тут крик поднялся:

— Да он же нас позором покрывает!

— Пока не поздно, откажись!

— Да он рехнулся!

— Да он и впрямь свихнулся!

— А ну-ка тише! Помолчите! — навел порядок главный судья. — Итак, Раймалы, ты все сказал?

— Я все сказал.

— Вы слышите, потомки рода Баракбая, что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал?

— Мы слышали.

— Тогда послушайте, что я скажу. Вначале я тебе скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности однолошадной, в гуляниях провел ты, пел на пирах, домброй бренчал, шутом-маскаропосом был. Ты жизнь свою употребил для развлечения других. Тебе прощали мы твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты стар и ты смешон теперь. Тебя мы презираем. Пора о смерти бы подумать, о смирении. А ты же на забаву и на злословие чужим аулам с той девкой спутался, как вертопрах последний, попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету, так что ж, пусть покарает тебя бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдильхан, ты брат его единокровный, от одного отца и матери одной, и ты опора наша и надежда. Тебя мы волостным хотели бы видеть от имени всех баракбаев. Но брат твой рехнулся вконец, он сам не понимает, что творит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты вправе поступить с ним так, чтобы умалишенный Раймалы нас не позорил бы на людях, чтобы никто не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы баракбаев!

— Никто мне не пророк и не судья, — заговорил Раймалы-ага, опережая Абдильхана. — Мне жалко вас, сидящих здесь и не сидящих, вы в заблуждении темном, вы судите о том, что недоступно решать на общем сборе. Не ведаете вы, где истина, где счастье в этом мире. Да разве же постыдно петь, когда поется, да разве же любить постыдно, когда любовь приходит, ниспосланная богом на веку? Ведь самая большая радость на земле — влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня считаете безумным лишь потому, что я покою и от любви, пришедшей неурочно, не уклоняюсь, радуюсь ей, то я уйду от вас. Уйду, свет клином не сошелся. Сейчас же сяду на Саралу, уеду к ней или уедем вместе в края другие, чтоб не тревожить вас ни песнями, ни поведением своим.

— Нет, не уйдешь! — взорвался грозным хрипом все это время молчавший Абдильхан. — Отсюда ты не выйдешь никуда. Ни на какую ярмарку тебе нет хода. Тебя лечить мы будем, пока твой разум не найдет тебя.

И с этими словами брат выхватил домбру из рук акына.

— Вот так! — И оземь бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, как бык взъяренный топчет пастуха. — Отныне петь ты позабудешь! Эй вы, ведите клячу эту, Саралу! — И подал знак.

И те, что на дворе стояли наготове, от коновязи быстро подогнали Саралу.

— Срывай седло! Бросай сюда! — топор припрятанный выхватывая, командовал Абдильхан.

Седло крушил он топором, кромсая в щепки.

— Вот! Никуда ты не поедешь! Ни на какую ярмарку! — И в ярости изрезал в клочья сбрую, ремни стремян порезал на куски, а сами стремяна в кусты забросил, одно в одну, второе в сторону другую.

В испуге заметался Сарала, на пятки приседал, хрипел, грызя удила, как будто знал, что и его постигнет та же участь.

— Так, значит, ты на ярмарку собрался? На Сарале верхом? Так погляди! Так погляди! — свирепствовал Абдильхан.

И тут же сородичи свалили Саралу в два счета, в два счета волосяным арканом стянули лошадь в узел. А Абдильхан, могучей пятерней схватив коня за хвост, оттягивая голову навзничь, над горлом беззащитным нож запес.

Рванулся что есть силы Раймалы-ага из рук удерживающих.

— Остановись! Не убивай коня!

Но не успел. Как кровь струей горячей ударила изпод ножа, в глаза ударила, как тьма среди дня. И весь в крови дымящейся, облитый кровью Саралы, с земли, шатаясь, встал Раймалы-ага.

— Напрасно! Ведь я пешком уйду. Я на коленях уползу! — сказал униженный певец, полою утираясь.

— Нет, и пешком ты не уйдешь! — От горла перерезанного Саралы лицо в оскале резко поднял Абдильхан. — Тебе отсюда шагу не шагнуть! — проговорил он тихо и вдруг вскричал: — Хватайте! Смотрите, он безумен! Вяжите, он убьет!

Тут крики. Все смешались, сшиблись:

- Сюда веревку!
- Заламывай руки!
- Крути потуже!
- Он спятил! Вот вам бог!
- Смотри, глаза какие!
- Он разум потерял, ей-ей!
- Тащи его туда, к березе!
- Давай поволокли!
- Тащи скорей!

Уже луна над головой стояла высоко. Совсем спокойно было в небе, на земле. Пришли какие-то шаманы, костер разложили и в дикой пляске изгоняли духов, затмивших разум великого певца.

А он стоял, привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

Потом пришел мулла. Тот зачитал молитвы из Корана. На путь потребный наставлял мулла.

А он стоял, привязанный к березе, с руками, стянутыми за спиной.

И, обращаясь к брату Абдильхану, запел Раймалыага:

«Последний сумрак унося с собой, уходит ночь, и день грядущий с утра наступит снова. Но для меня отныне света нет. Ты солнце отнял у меня, несчастный брат мой Абдильхан. Ты рад, угрюмо торжествуешь, что разлучил меня с любовью, от бога посланной уже на склоне лет. Но знал бы ты, какое счастье я ношу с собою, пока дышу, пока не смолкло сердце. Ты повязал, ты прикрутил меня петлями к дереву, а я не здесь сейчас, несчастный брат мой Абдильхан. Здесь только тело брэнное мое, а дух мой, как ветер, пробегает расстояния, как дождь, соединяется с землей, я каждое мгновение с нею неразлучен, как ее волос собственный, как собственное ее дыхание. Когда она проснется на рассвете, я козерогом диким с гор к ней прибегу и буду ждать на каменном утесе, когда она из юрты выйдет поутру. Когда она огонь воспламенит, я буду дымом сладким, окуривать ее я буду. Когда она поскачет на коне и через брод речной перебираться станет, я буду брызгами лететь из-под копыт, я буду окроплять ее лицо и руки. Когда же запоет она, я песней буду...»

Над головой чуть слышно шелестели ветки по утренней заре. День наступил. Узнав о том, что Раймалы сошел с ума, полюбопытствовать прибыли соседи. С коней не слезая, толпились в отдалении.

А он стоял в изодранной одежде, привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

Интересно цел, ту песню, что знаменитой стала после:

С черных гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Дай мне волю, брат мой Абдильхан.
Не гадал, не думал, что тобою буду
Связан по рукам и по ногам.
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан,
Я по доброй воле в небеса уйду...

С черных гор когда пойдет кочевье,
Я на ярмарке не буду, Бегимай.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай.
Мы с тобой не будем петь на ярмарке,
Конь мой не поспеет, сам я не дойду.
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай,
Я по доброй воле в небеса уйду...

Вот такая она, история эта...

Теперь, по пути на Ана-Бейит, провожая Казангапа в последний путь, и об этом неотступно думал Едигей.

XI

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей...

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Миновав очень долгий проезд вдоль краснопесчаного обрыва Малакумдычап, где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына-манкурта, они оказались на под-

ступях к Ана-Бейиту. Постоянно посматривая то на часы, то на солнце над сарозеками, Буранный Едигей считал, что все пока идет так, как надо. После похорон они вполне могли поспеть вовремя вернуться домой, чтобы сообща помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да, жизнь, жизнь! Казангап будет уже покоиться на Ана-Бейите, а они, вернувшись, домой, еще раз вспомнят о нем добрым словом...

Все в том же порядке — впереди Едигей на Каранаре, обряженном в попопу с кистями, за ним трактор с прицепом и за прицепом экскаватор «Беларусь» — они выехали из Малакумдычапа на анабейитскую равнину в сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим языком. И тут по выходе из Малакумдычапа случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие — на изгородь из колючей проволоки.

Едигей первым остановился — вот те раз! Он даже привстал на стременах и с высоты Каранара посмотрел направо, посмотрел налево — насколько глаз хватал змеилась вверх и вниз по степи непроходимая шипованная проволока, нацепленная в несколько рядов на железобетонные четырехгранные столбцы, врытые в землю через одинаковые промежутки, через каждые пять метров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Неизвестно, откуда она начиналась и где кончалась. А может быть, нигде не кончалась. Проезда дальше не было. И как тут было быть, как дальше путь держать?

Тем временем позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Сабитжан, за ним Длинный Эдильбай.

— Что такое? — махнул рукой Сабитжан на изгородь. — Не туда попали, что ли? — спросил он у Едигея.

— Почему не туда? Туда, да только вот проволока откуда-то взялась. Черт ее побори!

— А разве ее прежде не было?

— Не было.

— А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?

Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть.

— Эй ты! А ну останови трактор! Хватит тарыхтеть! — раздраженно бросил Сабитжан высунувшемуся из кабины Калибеку.

Тот заглушил мотор. За ним смолк и экскаватор. Стало

тихо. Совсем тихо. Буранный Едигей хмуро сидел на своем верблюде, Сабитжан и Длинный Эдильбай стояли возле, трактористы — Калибек и Жумагали — оставались в кабинах, покойный Казангап, запеленатый в белый войлок, лежал в прицепе, рядом сидел его зять-алкоголик, муж Айзады, рыжий пес Жолбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрал ногу.

Великая сарозекская степь простиралась под небом от края и до края земли, но прохода к Ана-Бейитскому кладбищу не было. И все остановились в недоумении перед колючей стеной.

Первым нарушил молчание Длинный Эдильбай:

— А что, Едике, прежде ее здесь не было?

— Сроду не было! Первый раз вижу.

— Выходит, что оградил зону специально. Для космодрома, наверно? — предположил Длинный Эдильбай.

— Да, так получается. Иначе зачем столько трудов — в голой степи такую изгородь отгрохали. Кому-то ведь взбрело в голову. Что ни вздумается, то и делают, черт их побери! — выругался Едигей.

— Да что тут чертыхаться! Лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, — мрачно подал голос Сабитжан.

Наступила тягостная пауза. Буранный Едигей глянул неприязненно сверху вниз, с высоты Каранара, на стоящего подле Сабитжана.

— Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суетись, — сказал он как можно спокойней. — Прежде здесь не было колючей проволоки, откуда было знать?

— Вот об этом и речь, — буркнул Сабитжан и отвернулся.

Опять замолчали. Длинный Эдильбай что-то соображал.

— Так как быть теперь, Едике? Что делать? Есть ли какая-нибудь другая дорога на кладбище?

— Да, должна быть. Почему же нет? Есть тут дорога, километров пять правее, — отвечал Едигей, оглядываясь по сторонам. — Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда — ни туда ни сюда.

— Так это точно, там есть дорога? — вызывающе уточнил Сабитжан. — А то как раз получится — ни туда ни сюда!

— Есть, есть, — заверил Едигей. — Садитесь, поехали. Не будем время терять.

И они снова двинулись. Снова затарахтели трактора позади. Поехали вдоль проволоки.

Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим. Как же так, досадовал он в душе, позакрывали, заградили кругом и на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь! И, однако, у него была надежда — должно быть какое-то сообщение и на этой, южной, стороне. Так оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму.

Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание на основательность, прочность пропускного пункта: крепкие бетонные монолиты по краям, у самого проезда с края дороги кирпичный домик с широким, сплошь цельным стеклом для обозрения, сверху, на плоской крыше, были установлены два прожекторных фонаря, видимо, для освещения проезда в ночное время. От шлагбаума уходила дальше асфальтированная дорога. Едигей забеспокоился при виде такой устроенности.

С их появлением из постового помещения вышел молоденький, совсем еще юный белобрысый солдат с автоматом через плечо дулом книзу. Одергивая гимнастерку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с неприступным видом. И все же вначале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, преграждающей дорогу.

— Здравствуйте, — козырнул часовой, глянув на Едигея светло-голубыми, еще ребяческими глазами. — Кто такие будете? Куда путь держите?

— Да мы здешние, солдат, — сказал Едигей, улыбаясь мальчишеской строгости часового. — Вот везем человека, старика нашего, хоронить на кладбище.

— Не положено без пропуска, — отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без опаски отстраняясь от Каранаровой зубастой пасти, жующей жвачку. — Здесь охраняемая зона, — пояснил он.

— Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? Похороним и назад. Никаких задержек.

— Не могу. Не имею права, — сказал часовой.

— Слушай, родимый. — Едигей склонился с седла так, чтобы лучше были видны его боевые орден и медали. — Не посторонние мы. Мы с разъезда Боранлы-Буранного. Слышал, должно быть. Мы свои лю-

ди. Хоронить-то ведь надо. Мы только на кладбище и назад.

— Да я-то понимаю, — начал было часовой, бесхитростно пожимая плечами, но тут некстати подоспел Сабитжан с напускным, поспешающим видом важного, делового человека.

— Что такое, в чем дело? Я из облпрофсоюза, — заявил он. — Почему задержка?

— Потому что не положено.

— Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсовета.

— А мне все равно, откуда вы.

— Как это так? — опешил Сабитжан.

— А так. Охраняемая зона.

— Тогда зачем разговоры разводить? — оскорбился Сабитжан.

— А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам. Чтобы ему понятно было. А вообще-то я не имею права вступать в разговоры с посторонними. Я на посту.

— Значит, проезда на кладбище нет?

— Нет. Не только на кладбище. Здесь проезда нет никому.

— Ну тогда что ж, — обозлился Сабитжан. — Я так и знал! — бросил он Едигею. — Так и знал, что ерунда получится! Так нет! Куда там! Ана-Бейит! Ана-Бейит! Вот тебе Ана-Бейит! — И с этими словами он отошел оскорбленно, сплевывая зло и нервно.

Едигею стало неловко перед молоденьким часовым.

— Извини, сынок, — сказал он ему по-отечески. — Ясное дело, ты службу несешь. Но покойника куда теперь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да поехал.

— Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут, так я и должен делать. Я же не начальник здесь.

— Да-а, дела-а, — растерянно протянул Едигей. — А сам-то ты откуда родом?

— Вологодский я, папаша, — проокал часовой смущенно и по-детски обрадованно, не скрывая, улыбаясь тому, что приятно ему было ответить на этот вопрос.

— Так что, у вас в Вологде тоже так — на кладбищах часовые стоят?

— Да что ты, папаша, зачем же! На кладбище у нас когда хошь и сколько хошь. Да разве в этом дело? Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и воевал,

смотрю, знаешь небось, служба есть служба. Хочу не хочу, а долг, никуда не денешься.

— Так-то оно так, — соглашался Едигей, — только куда теперь нам с покойником?

Они замолчали. И, крепко подумав, солдатик с сожалением тряхнул белобровой, ясноглазой головой.

— Нет, папаша, не могу! Не в моих правах!

— Что ж, — проговорил совершенно растерянно Едигей.

Ему было тяжело повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабитжан все больше распалялся, подошел к Длинному Эдильбаю.

— Я ведь говорил! Не надо тащиться в такую даль! Это же предрассудки! Морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидать мертвеца! Так нет: лопни, подай им Ана-Бейит. И ты тоже мне — уезжай, без тебя похороним! Вот и хороните теперь!

Длинный Эдильбай молча отошел от него.

— Слушай, друг, — сказал он часовому, подойдя к плагбауму. — Я тоже служил и тоже знаю кое-какие порядки. Телефон у тебя есть?

— Есть, конечно.

— Тогда так — звони начальнику по караулу. Должны, что местные жители просят, чтобы им разрешили проезд на кладбище Ана-Бейит!

— Как? Как? Ана-Бейит? — переспросил часовой.

— Да. Ана-Бейит. Так называется наше кладбище. Звони, друг, другого выхода нет. Пусть самолично разрешение получит для нас. А мы — будь уверен, кроме кладбища, нас тут ничего не интересует.

Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу, наморщив лоб.

— Да ты не сомневайся, — сказал Длинный Эдильбай. — Все по уставу. На пост прибыли посторонние лица. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся механика. Что ты на самом деле! Ты обязан доложить.

— Ну хорошо, — кивнул часовой. — Сейчас позвоню. Только начальник караула все время по территории колесит, по постам. А территория-то вон какая!

— Может, и мне разрешишь рядом быть? — попросил Длинный Эдильбай. — В случае чего подсказать что к чему.

— Ну давай, — согласился часовой.

И они скрылись в постовом помещении. Дверь была

открыта, и Едигею все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал начальника караула. А тот не обнаруживался.

— Да нет, мне начальника по караулу! — объяснял он. — Лично его... Да нет. Тут дело важное.

Едигей нервничал. Куда же запропастился этот начальник по караулу? Вот не везет так не везет!

Накопец он отыскался.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — громко заговорил часовой звонким, взволнованным голосом.

И доложил ему, что, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. Как быть? Едигей насторожился. Скажет лейтенант — пропусти, и все! Молодец Длинный Эдильбай! Все же сообразительный парень. Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь он все время отвечал на вопросы:

Да... Сколько? Шесть человек. А с покойником семь. Старик какой-то умер. А старший у них на верблюде. Потом трактор с прицепом. А за трактором экскаватор тоже... Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть... Как? А что мне сказать? Значит, нельзя? Не разрешает-ся? Есть, слушаюсь!

И тут раздался голос Длинного Эдильбая. Видимо, он выхватил трубку.

— Товарищ лейтенант! Войдите в наше положение. Товарищ лейтенант, мы прибыли с разъезда Боранлы-Буранный. А куда же нам теперь? Войдите в наше положение. Мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и сразу вернемся... А? Что? Ну как же так! Ну, приезжайте, приезжайте, сами убедитесь! У нас тут есть старик наш, фронтовиком был, воевал. Объясните ему.

Длинный Эдильбай вышел из караульного помещения расстроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины.

Буранный Едигей призадумался. Кто мог ожидать такого оборота дела? Придется ждать прибытия лейтенанта. Тем временем Едигей спешил, отвел верблюда к экскаватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул назад, к шлагбауму. Трактористы Калибек и Жумагали негромко разговаривали между собой. Курили. Сабитжан

нервно прохаживался взад и вперед в стороне от всех. А Казангапов зять, муж Айзады, все так же сидел в прицепе у тела покойного.

— Ну что, Едике, как там, пропустят вас? — спросил он у Едигея.

— Должны пропустить. Сейчас приедет сам начальник, лейтенант. Что ж нас не пускают? Что мы, шпионы какие! А ты бы слез с прицепа. Походи, промнись малость.

Было уже три часа. А они еще не добрались до Ана-Бейита, хотя и оставалось не так далеко.

Едигей вернулся к часовому.

— Сынок, долго ли ждать твоего начальника? — спросил он.

— Да нет. Сейчас примчится. Он на машине. Тут минут десять-пятнадцать ходу.

— Ну ладно, подождем. А давно эту колючую проволоку установили?

— Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже год. Выходит, полгода уже, как оцепили вокруг.

— То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное — Ана-Бейит. А Казангап покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.

Солдат, видимо, проникся сочувствием к Буранному Едигею.

— Слушай, папаша, — сказал он деловито. — Вот приедет начальник караула лейтенант Тансыкбаев, вы ему скажите все как есть. Что он, не человек? Пусть доложится выше. А там вдруг и разрешат.

— Спасибо на добром слове. А иначе как же нам? Как ты сказал — Тансыкбаев? Фамилия лейтенанта Тансыкбаев?

— Да, Тансыкбаев. Он у нас тут недавно. А что? Знакомый? Из ваших он. Может, свояк какой будет?

— Да нет, что ты, — усмехнулся Едигей. — Тансыкбаевых у нас, как у вас Ивновых. Просто припомнился один человек с такой фамилией.

Тут зазвонил телефон на посту, и часовой поспешил туда. Едигей остался один. Вздрыгнули опять брови. И, хмуро оглядываясь вокруг, поглядывая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, Буранный Еди-

гей покачал головой. «А вдруг это сын того, кречетоглазого? — подумал он и сам же себя обругал мысленно. — Еще что! Втемяшится же в голову! Сколько их, с такой фамилией. Не должно, не может быть. С тем Тансыкбаевым сквитались ведь потом сполна... Все-таки есть правда на земле! Есть! И как бы то ни было, всегда будет правда...

Он отошел в сторону, достал носовой платок и протер им тщательно свои ордена, медали и ударнические значки на груди, чтобы они блестели и чтобы их сразу видно было лейтенанту Тансыкбаеву.

XII

А с тем кречетоглазым Тансыкбаевым дело обстояло так.

В 1956 году в конце весны был большой митинг в кумбельском депо, всех тогда созвали, со всех станций и разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии. Сколько всяких собраний промелькнуло на веку Буранного Едигея, по тот митинг не забывался никогда.

Собрались в паровозоремонтном цехе. Народу было полным-полно, иные аж наверх залезли, под самую крышу, на консолях сидели. Но самое главное — какие речи были! Про Берию выяснилось все до дна. Заклеймили проклятого палача, никаких сожалений не было! Крепко выступали, до самого вечера, деповские рабочие сами лезли на трибуну, и ни один человек не ушел, как пригвоздило всех к месту. И только рокот голосов, как лес, шумел под сводами корпуса. Запомнилось, кто-то рядом в толпе молвил про то чисто российским говором: «Ну как есть море перед бурей». А так оно и было. Колотилось сердце в груди, на фронте перед атакой так колотилось, и очень пить хотелось. Во рту пересыхало. Но где там при таком многолюдье воды достать? Не до воды было, пришлось терпеть. В перерыве Едигей протиснулся к парторгу депо Чернову, бывшему начальнику станции. Тот в президиуме был.

— Слушай, Андрей Петрович, может, и мне выступить?

— Давай, если есть такая охота.

— Охота есть, очень даже. Только вначале посоветуемся. Помнишь, у нас на разъезде работал Куттыбаев. Абуталип Куттыбаев. Ну, еще ревизор написал про него

донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Абуталип там воевал в партизанах. И всякое другое приписал еще тот ревизор. А эти бериевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что! Помнишь?

— Да, помню. Жена его приезжала за бумагой.

— Во-во! А потом семья-то уехала. А я вот сейчас слушал, думал. С Югославией у нас дружба — и никаких разногласий! А за что страдают неповинные люди? Детишки Абуталиповы подросли, им уже в школу. Так надо же все на чистую воду. А не то будет им каждый тыкать в глаза. Детишки и так пострадали — без отца остались.

— Постой, Едигей. Так ты хочешь об этом выступить?

— Ну да.

— А как фамилия того ревизора?

— Да узнать можно. Я его, правда, больше не видел.

— У кого ты сейчас узнаешь? А потом, есть ли документальное доказательство, что именно он написал?

— А кто еще больше?

— Тут фактическое доказательство нужно, дорогой мой Буранный. А вдруг не так окажется? Дело нешуточное. Ты вот что, Едигей, послушай совета. Напиши письмо обо всем этом в Алма-Ату. Напиши все как было, всю ту историю и пошли в ЦК партии республики. А там разберутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за это дело. Сам видишь.

Вместе со всеми на том митинге Буранный Едигей выкрикивал громогласно и решительно: «Слава партии! Личию партии одобряем!» А потом, под конец митинга, кто-то запел «Интернационал». Его поддержало несколько голосов, и через минуту вся толпа как один запела под сводами депо великий гимн всех времен, гимн всех, кто был вечно угнетаем. Никогда еще не доводилось Едигею петь в таком многолюдье. Как на волнах подняло и понесло его торжественное, гордое и в то же время горькое сознание своего единства с теми, кто есть соль и пот земли. А гимн коммунистов все нарастал, возвышался, вскипая в сердце отвагой и решимостью отстоять, утвердить право многих для счастья многих. И как часто бывало с Едигеем в случаях сильного волнения, опять почудилось ему, что он на Аральском море. И там витал его дух вольной чайкой над беловерхими бурунами — алабахами.

С этим ликующим чувством он вернулся домой. За чаем рассказал Укубале подробно и живо все, что бы-

ло на митинге. Рассказал и о том, как тоже хотел было выступить и что ему ответил на то теперешний парторг Чернов. Укубала слушала мужа, наливала ему из самовара чай пиалу за пиалой, а тот все пил и пил.

— Да что с тобой, ты вон опорожнил уже весь самовар! — удивилась она, посмеиваясь.

— Понимаешь, там, на митинге, еще так захотелось пить отчего-то. Заволновался очень. А где там, столько народу, не шевельнешься. А потом выскочил, хотел напиться, а тут смотрю — в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту. Свой оказался парень. Жандос с Тогрек-Тама. Ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело!

— То-то же, гляжу, — промолвила Укубала, подливая ему чаю по новой. И сказала потом: — Вот что, Едигей, хорошо, что ты подумал о них, об Абуталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься. Письмо — дело хорошее, но пока оно напишется, пока дойдет, да прочтется, да пока думать будут над ним, ты уж лучше сам поезжай в Алма-Ату. И там все расскажешь как было.

— Так ты думаешь, мне в Алма-Ату? Прямо к большому начальству?

— Ну а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров сколько уже зовет не дозвется. Адреса оставляет каждый раз. Ну, не я, так ты съезди. Мне-то от дому куда, детей на кого? А ты не откладывай. Бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы — на сто лет. Возьми хоть разок и там, на месте, большим людям все расскажи.

Едигей подивился разумности жены.

— А что, жена, ты вроде дело говоришь. Давай подумаем.

— Не думай долго. Не тот случай. Чем раньше сделаешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет. Куда идти, к кому идти, он-то лучше знает.

— Тоже дело.

— Вот я и говорю. Не стоит откладывать. А заодно посмотришь — кое-что купишь для дома. Девчушки-то наши подросли. Сауле осенью в школу. В интернат определять будем или как? Ты думал об этом?

— Думал, думал, а как же, — спохватился Буранный Едигей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так

быстро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу пора.

— Так вот если думал, — продолжала Укубала, — поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца. А потом будет время — походи, посмотри, что для дочерей и для меня не мешало бы. Я ведь тоже уже немолода, — сказала она со сдержанным вздохом.

Едигей посмотрел на жену. Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разом. Конечно, она немолода была уже, но и до старости было далеко. И однако, нечто такое, новое, незнакомое почувствовал в ней. И понял он — умудренность во взгляде жены обнаружил и первую ее седину заметил. Их было на виске штуки три-четыре, белеющих нитей, не больше, и все-таки они говорили о прожитом и пережитом...

Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Боранлы-Буранного, чтобы сесть на алма-атинский поезд. Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде. А это можно было сделать только на станции.

Потом прибыл поезд Москва — Алма-Ата, на нем и поехал Едигей, минуя собственный разъезд Боранлы-Буранный. Место у него было в купированном вагоне на верхней полке. Пристроив вещи, Едигей сразу вышел в коридор и стоял у окна, чтобы не пропустить, взглянуть на свой разъезд с поезда, как пассажир, а уже потом можно было залезть на полку и поспать, благо впереди двое суток пути. Так думал он, хотя уже на второй день не знал, куда себя деть от вынужденного безделья. Удивлялся, глядя на иных лежебок в поезде, которые только жрали и спали.

Однако первый день, особенно в первые часы, на душе у него было празднично и даже тревожно с непривычки покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный, подтянутый, в новой шляпе, купленной по такому случаю в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурасстегнутом, хорошо сохранившемся у Казангапа кителе военных времен. Казангап навязал ему этот китель, так, говорят, лучше будет, с орденами и медалями на груди, в галифе и хромовых сапогах добротной офицерской кожи. Сапоги эти очень нравились Буранному Едигею, хотя редко приходилось их носить. Едигей

считал, что для представительности у человека прежде всего должны быть хорошие сапоги и новый головной убор. И то и другое у него было.

Так он стоял у окна. Прохожие по вагону уважительно обходили его и оглядывались. Буранный Едигей выделялся своим видом, должно быть, выражением достоинства и взволнованности на лице.

А поезд шел, мчался на всех парах по раздолью весенних сарозеков, как бы спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта. В мире существовали только две стихии — небо и открытая степь. Они светло соприкасались вдали, туда и рвался скорый поезд.

Но вот набегают навстречу боранлинские места. Каждая складка земли, каждый камень здесь знакомы. С приближением к Боранлы-Буранному Едигей оживленно задвигался возле окна, заулыбался из-под усов, словно бы годы прошли, как он здесь не был. А вот и разъезд. Мелькнули самафор, домики, пристройки, штабеля рельсов и шпал у склада, и все это предстало с разбегу примкнувшим к железной дороге среди огромного, пустынного пространства вокруг. Едигей успел даже разглядеть своих дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с запада на восток. Размахивая руками, припрыгивая, чтобы обратить на себя внимание, Сауле и Шарапат радостно улыбались проносящимся окнам вагонов. Их косички смешно дергались при этом, а глаза сияли. Едигей инстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его проезда. И никто из пассажиров, не догадываясь, что только что остались позади его дети, его дом, его разъезд! И тем более никто не мог предположить, что в гурте верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый Каранар. Едигей его сразу узнал издали, потеплел глазами.

Потом, когда удалились за несколько станций от дома, Едигей уснул. Спал долго и сладко под мерный перестук колес, под негромкий говор соседей по вагону.

А на другой день пополудни грянули Алатауские горы — от Чимкента и по всему Семиречью. Вот это были горы, вот это загляденье! И сколько ни любовался Буранный Едигей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алма-Аты, налюбоваться не мог. Для него, для сарозекского степняка, то было чудом, созерцанием вечности. Алатауы вызы-

вали в нем не только восхищение своей величественностью, но и потребность думать, глядя на них. Это ему нравилось — молчаливо думать, когда горы на виду. И мысленно он готовился к встрече с теми пока еще неизвестными ему ответственными людьми, которые объявили, что ошибкам прошлого больше не быть никогда, и по этой причине он хотел поведать им горькую историю Абуталиповой семьи. Пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то дело. Самого Абуталипа не ожидай, но детей чтобы никто не смел обижать, чтобы им была во всем открыта дорога. Старшему, Даулу, в школу этой осенью, пусть пойдет, ничего не боясь и не таясь. Только где они теперь? Как-то им приходится? А как там Зарипа?

Тягостно холодило на душе, когда вспоминал он об этом. Пора было призабыться былому, перекипеть. Ведь и ушла она для того, чтобы начисто прервать мысль о ней. Но только одному богу ведомо, что забылось, а что нет! Печалился Буранный Едигей, замирял себя, подчиняясь судьбе. А кому об этом скажешь, кто поймет? Разве что снежные горы, подпирающие небо, но ведь им на высоте такой дела нет до земных невзгод человек. На то они, великие Алатауы, чтобы многие смертные приходили и уходили, а они оставались бы навечно, чтобы многие думу думали, глядя на них, а они молчали несокрушимо...

Припомнилось Едигею, как Абуталип, уже после того как записал «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану», должно быть, много размышлял о записанном сказании, поделился однажды в разговоре мыслью о том, что такие люди, как Раймалы-ага и Бегимай, встретившись на жизненном пути, несут друг другу столько же счастья, сколько и горя, вовлекая один другого в неразрешимую трагедию — в несвободность человека от суда других. Потому и обошлись с ним так, с Раймалы-агой, его же близкие люди для его же блага, как полагали они. Для Едигея эти умные слова были тогда не более чем умными словами, пока сам не познал на себе их правоту, пока сам не настрадался. Пусть они с Зарипой были далеки от подобной истории, как звезды от земли, ничего-то между ними и не произошло, только то, что думал он о ней и очень любил, но Зарипа первой взяла на себя удар, чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости. Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы перехватила, однако не подумала о нем, не подумала, чего

будет стоять ему это ее решение. Хорошо, хоть жив остался. И теперь бывает, такая тоска подступится, что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз...

И еще припомнил Едигей, усмехаясь над собой, как чудно ему было тогда узнать от Абуталипа, что будто бы в Германии был очень видный человек, великий поэт Гёте. Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть, каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гёте, за семьдесят ему уже было, вроде тоже ведь полюбил юную девушку, и она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали, никто, однако, не вязал Гёте по рукам и ногам и сумасшедшим его не объявлял... А как обошлись с Раймалы-агой! Унизили, уничтожили человека, а хотели добра... Зарипа же тоже по-своему хотела ему добра и поступила так, как подсказывала ей совесть... Потому он на нее не в обиде. Да и можно ли обижаться на любимого человека? Скорей себя в чем-либо обвинишь и виноватым почтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но только не ей... И если можешь, то и тогда, когда она тебя покинула, помни и люби ее...

С тем и ехал Буранный Едигей, помня и любя ее, помня об Абуталипе и его осиротевших детях...

Уже подъезжая к Алма-Ате, Едигей вдруг подумал: а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот те на! Почему-то такое не пришло ему на ум дома. И Укубала не подумала об этом. По себе судили. Если сами живут безвылазно в сарозеках, то, думают, и все так. А ведь очень даже может быть, что Афанасия Ивановича не окажется дома. Человек работает в самой академии, повсюду его ждут, мало ли дел у такого ученого. Может уехать в командировку, и надолго уехать. «Вот незадача-то получится», — тревожился Едигей. И стал он думать о том, что придется тогда обратиться в редакцию своей казахской газеты, адрес газеты в каждом номере указывается. Там ему наверняка растолкуют, как и куда обращаться. Кому как не работникам газеты знать, куда идти с таким вопросом. Дома-то казалось все так просто — собрался и поехал. А теперь, с приближением к месту, забеспокоился Буранный — не зря сказано: плохой охотник мечтает об охоте, сидя дома. Так и он. Но конечно, он рассчитывал на Елизарова. Елизаров свой человек, друг с давнишних пор, много раз бывавший у него дома на разъезде, знавший историю Абуталипа Куттыбаева. Он-то с полуслова понял бы. А как рассказать

познакомым людям, с чего начинать да как речь держать — свидетельствовать, как на суде, или докладывать, или еще как? Будут ли слушать его и что скажут в ответ? А кто, мол, ты такой и почему тебе больше всех надо обелить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь отношение? Кто ты ему — брат, сват, свояк?

А поезд тем временем шел уже краем алма-атинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки. Едигей тоже был готов. Вот и вокзал завиднелся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно — разный встречающий и уезжающий люд. Поезд постепенно останавливался. И вдруг в окне среди мелькающих лиц на перроне увидел Буранный Едигей Елизарова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повезло! Не мечтал Едигей, что Елизаров сам встретит. Не виделись они давно, с прошлой осени. Нет, не изменился Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его аргамак — скакуном чистых кровей. То была высокая похвала — аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался — пусть будет по-твоему, Казангап! И при этом добавлял — старый аргамак, но все-таки аргамак! И на том спасибо! Обычно он приезжал в саразбеки в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой, видавшей виды кепке, а здесь был при галстукке, в хорошем темно-синем костюме. И этот костюм ему очень шел, его фигуре и, главное, цвету волос — седых уже наполовину.

И пока поезд останавливался, Афанасий Иванович шел рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые, со светлыми ресницами глаза Елизарова лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едигея, и недавние сомнения отошли разом. «Хорошее начало, — обрадовался он, — бог даст, поездка будет удачной».

— Ну наконец-то пожаловал! В кои-то веки! Здравствуй, Едигей! Здравствуй, Буранный! — встретил его Елизаров.

Они крепко обнялись. От многолюдья вокруг, от радости Едигей растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. О всех спросил, кто как поживает — как там Казангап, Укубала, Букей, дети, кто теперь пачальник разъезда, не забыл и о Каранаре.

— А как там твой Буранный Каранар? — поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. — Все такой же — лев рыкающий?

— Ходит. Что с ним станется, рычит, — отвечал Едигей. — В сарозеках ему приволье. Чего ему еще надо?

Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едигей видел впервые. То был ЗИМ — лучший автомобиль пятидесятых годов.

— Это мой Каранар, — пошутил Елизаров. — Садись, Едигей, — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. — Поедем.

— А кто же поведет машину? — спросил Едигей.

— Сам, — сказал Елизаров, садясь за руль. — На старости лет отважился, как видишь. Чем мы хуже американцев?

Елизаров уверенно завел мотор. И, прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя.

— Вот ты и прибыл, стало быть. Выкладывай сразу — надолго ли?

— Я ведь по делу, Афанасий Иванович. Как получится. А прежде посоветоваться надо с вами.

— Я так и знал, что по делу едешь, а не то вытащишь тебя из твоих сарозеков! Как же! Давай так, Едигей. Сейчас мы поедем к нам. Будешь жить у нас. И не возражай. Никаких гостиниц! Ты у меня особый гость. Какя у вас в сарозеках, так ты у меня. Сыйдын сыйы бар — так ведь по-казахски! Уважение от уважения!

— Да вроде так, — подтвердил Едигей.

— Значит, порешили. И мне веселей будет. Моя Юлия уехала в Москву к сыну, второй внук народился. Вот она и поспешила на радостях к молодым.

— Второй внук! Поздравляю! — сказал Едигей.

— Да, слушай, второй уже, — проговорил Елизаров, удивленно приподнимая плечи. — Станешь дедом, поймешь меня! Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял. А вот странно, мы с тобой понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну так поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон видишь горы, снег на вершинах? Туда под горы, в Медео. Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в пригороде, почти в селе.

— Помню, Афанасий Иванович, вы говорили, дом у самой речки. Всегда слышно, как вода шумит.

— Сейчас сам убедишься. Поехали. Пока светло, посмотри на город. Красота у нас сейчас. Весна. Все в цвету.

От вокзала улица шла прямо и, казалось, бесконечно через весь город, постепенно среди тополей и парков поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша. Рассказывал по пути, где что располагалось — то были все больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В самом центре города на большой и открытой со всех сторон площади стояло здание, которое Едигей сразу узнал по изображениям, — то был Дом правительства.

— Здесь ЦК, — кивнул Елизаров.

И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание узнал Буранный Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево, — то был Казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор по дороге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади. Ехали долгой улицей среди особняков, палисадников, мимо журчащих от половодья арычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом.

— Красиво! — промолвил Едигей.

— А я рад, что ты попал как раз в эту пору, — ответил Елизаров. — Лучшей Алма-Аты быть не может. Зимой тоже красиво. Но сейчас душа поет!

— Значит, настроение хорошее, — порадовался Едигей за Елизарова.

Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнел, хмурясь, и снова разбежались в улыбку морщины от глаз.

— Эта весна особая, Едигей. Перемены есть. Потому и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, огляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?

— Что-то не помню, — со всей непосредственностью ответил Едигей. — Разве что после контузии...

— Да ты здоров, как бык! — рассмеялся Елизаров. — Я вообще-то и не об этом. Просто к слову... Так вот. Партия сама сказала первое слово. Очень я этим доволен, хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно на душе и надежды питаю, как в молодости. Или это оттого, что на самом деле старею? А?

— А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому делу прибыл.

— То есть как? — не понял Елизаров.

— Может быть, помните? Я вам рассказывал об Абу-талипе Куттыбаеве.

— А, ну как же, как же! Прекрасно помню. Вон оно что. А ты в корень глядишь. Молодец. И не откладывая сразу прибыл.

— Да это не я молодец. Укубала надоумила. Только вот с чего начинать? Куда идти?

— С чего начинать? Это мы должны с тобой обсудить. Дома, за чаем, не торопясь обсудим что к чему. — И, помолчав, Елизаров сказал многозначительно: — Времена-то как меняются, Едигей, года три назад и в мыслях не шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь — никаких опасений. Так и должно быть в принципе. Надо, чтобы все мы, все до едины держались этой справедливости. И никому никаких исключительных прав. Я так понимаю.

— Вам-то здесь виднее, к тому же вы ученый человек, — высказал свое Едигей, — у нас на митинге в депо тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталипе, давно эта боль сидит во мне. Хотел даже выступить на митинге. Речь не просто о справедливости. У Абуталипа дети ведь остались, подрастают, старшему в школу этой осенью...

— А где они сейчас, семья-то?

— Не знаю, Афанасий Иванович, как уехали тогда, скоро уже три года, так и не знаем.

— Ну, это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас главное, говоря юридически, возбудить вопрос о деле Абуталипа.

— Вот-вот. Вы сразу нашли нужное слово. Потому и приехал я к вам.

— Думаю, что не напрасно приехал.

Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через три недели по возвращении Едигея, прибыла бумага из Алма-Аты, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Боранлы-Буранный Абуталип Куттыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано! Бумага предназна-

лась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший.

Почти одновременно с этим документом пришло письмо от Афанасия Ивановича Елизарова. То было знаменательное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо среди самых важных документов семьи — свидетельств о рождении детей, боевых наград, бумаг о фронтовых ранениях и трудовых характеристиках...

В том большом письме Афанасий Иванович сообщал, что премного доволен скорым рассмотрением дела Абуталипа и рад его реабилитации. Что сам факт этот — доброе знамение времени. И, как он выразился, это наша победа над самими собой.

Писал он далее, что, после того как Едигей уехал, он еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посетили с Едигеем, и узнал важные новости. Во-первых, следователь Тансыкбаев снят с работы, разжалован, лишен полученной награды и привлекается к ответственности. Во-вторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа Куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. (Вон в какую даль занесло!) Зарина работает учительницей в школе. Семейное положение в настоящее время — замужняя. Вот такие официальные сведения поступили с ее местожительства. И еще, писал он, твои подозрения, Едигей, насчет того ревизора, оправдались в ходе пересмотра дела — оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталипа Куттыбаева. «Почему он это сделал, что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Едигей. Представив себе все это, я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему для него человеку — Абуталипу Куттыбаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке — зависть, исподволь опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа? Для меня это остается загадкой. А что касается способа расправы, то он стар как мир. В свое время стоило лишь донести на кого-то, что он еретик, и такого на базарах Бухары забивали камнями, а в Европе сжигали на костре. Об этом мы с тобой много говорили, Едигей, в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру Абуталипова

дела лишний раз убеждаюсь: долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок — ненависть к личности в человеке. Как долго — даже трудно предугадать. Вопреки всему этому славию я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествовала! И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился ты справедливости бескорыстно...»

Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма. И удивлялся Едигей себе — тому, как изменился он сам, нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и подумал впервые, что, должно быть, пришла пора готовиться к грядущей не за горами старости...

Елизаровское письмо явилось для него неким рубежом — жизнь до письма и после. Все, что было до письма, — отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как берег с моря, все, что после, — спокойно протекало изо дня в день, напоминая, что оно будет длиться долго, но не бесконечно. Но главное — из письма он узнал о том, что Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заставило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя тем, что знал, каким-то образом предчувствовал, что она вышла замуж, хотя и не знал, где она, что с детьми и как живется ей среди других людей. Особенно остро и неотступно почувствовал он это по пути, когда возвращался поездом домой. Трудно сказать, отчего такое пришло в голову. Но вовсе не потому, что на душе было плохо. Наоборот, из Алма-Аты Едигей уезжал в приподнятом, хорошем настроении. Везде, где они побывали с Елизаровым, их принимали с пониманием и доброжелательностью. И это уже само по себе вселяло уверенность в правоте помыслов и надежду на добрый исход дела. Так оно потом и оказалось. А в тот день, когда Едигей уезжал из Алма-Аты, Елизаров повел его обедать в привокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было предостаточно, и они славно посидели, и выпили, и потолковали по душам на прощание. В том разговоре, как повял Едигей, Афанасий Иванович высказал свою сокровенную думу. Он, бывший московский комсомолец, очутившийся еще в двадцатые годы в Туркестанском крае, боровшийся с басмачами, да так и осевший здесь на всю жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы тяжело ни прихо-

дилось расплачиваться за ошибки и промахи, но продвижение на неизведанном пути не остановилось — в этом суть истории. И еще он сказал, что теперь движение пойдет с новой силой. Поручкой тому — самоисправление, самоочищение общества. «Раз мы можем сказать себе в лицо об этом, значит, есть в нас силы для будущего», — утверждал Елизаров. Да, хорошо потолковали они тогда за обедом.

С тем настроением и возвращался Буранный Едигей к себе в сарозеки.

И опять двинулись перед взором сине-снежные Ала-тауы, пролегая на отдалении кряжистым сопутствующим хребтом, протянувшимся через все Семиречье. И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, понял он, внутренний голос подсказал ему, что, должно быть, Зарипа уже замужем.

Глядя на горы, глядя на весенние дали, думалось Едигею о том, что есть на свете верные люди — и слову и делу, такие, как Елизаров, и что без таких, как он, человеку на земле было бы гораздо труднее. И еще уже по завершении всех хождений по делу Абуталипа думалось ему о превратностях быстротекущего, переменчивого времени — остался бы жив Абуталип, сейчас бы сняли с него возведенные облыжно обвинения и, быть может, заново обрел бы он счастье и покой со своими детьми. Был бы жив! Этим все сказано. Был бы он жив, конечно же, Зарипа ждала бы его до последнего дня. Уж это точно! Такая женщина дождалась бы мужа, чего бы то ей ни стоило. А коли некого ждать, то и нечего ждать, нечего жить молодой женщине в одиночестве. А раз такое дело, если встретит подходящего человека, то выйдет замуж, а почему и нет? Едигей расстроился от этих мыслей. Попытался переключить внимание на что-то другое, пытался не думать, не давать воли воображению. Но ничего не получилось. Тогда он пошел в вагон-ресторан.

Здесь было малоллюдно и еще чисто и свежо по началу пути. Сидел Едигей в одиночестве у самого окна. Вначале взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то. Широкий обзор вагона-ресторана позволял созерцать одновременно и горы, и степь, и небо над ними. Этот зеленый простор в мимолетном маковом цвету с одной стороны и торжественность заснеженных горных хребтов с другой стороны возвышали, возносили душу к несбыточным желаниям и приводили к горьким сокрушениям. От горечи ему захотелось горького. И он заказал водки. Выпив несколь-

ко рюмок, он, однако, не почувствовал выпитого. Тогда он заказал пиво и сидел, весь отдавшись своим размышлениям. День клонился к концу. В прозрачности весеннего вечера разбегалась земля по сторонам от железной дороги. Проносились, мелькая, поселки, сады, дороги, мосты, люди и стада, но все это мало трогало Едигея, ибо тяжкая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрачала и угнетала его душу смутным предчувствием некой законченности былого.

И опять пришли на память прощальные слова Раймалы-аги:

...С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай...

В том состоянии казалось Едигею Буранному, что это он притянут веревками к березе, как когда-то Раймалы-ага, что это он, отторгнутый и отнятый от самого себя...

Так просидел он до темноты, пока не набилось в вагон-ресторан много народу и стало трудно дышать от табачного дыма. Не понимал Едигей — и чего эти люди так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за столом и почему они находят удовольствие в водке и табаке? Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех. Он встал, пошатываясь, нашел официантку, запыхавшуюся с подносом между галдящими столами путевого ресторана, и, расплатившись, пошел к себе в купе. Предстояло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь вместе с поездом, ему становилось все тягостней и сиротливей от ощущения своего полного одиночества и отчужденности.

Зачем было жить, зачем куда-то ехать...

И теперь ему было безразлично, откуда, куда и зачем он едет, куда спешит сквозь ночь скорый поезд. В каком-то тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к прохладным застекленным дверям и стоял здесь не оглядываясь, не обращая внимания на пассажиров, спующих мимо него.

А поезд шел раскачиваясь. И можно было открыть дверь, поскольку у Едигея, как у всех железнодорожников, был свой ключ, можно было открыть и переступить черту... В какой-то пустынной местности во тьме Едигей различил два далеких маяющих огонька. Они долго не исчезали из виду. То ли то окна одинокого жилья свети-

лись, то ли то были костры небольшие. Какие-то люди, должно быть, находились возле тех огней. Кто они? И почему они там? Эх, была бы там Зарипа с детишками! Спрыгнул бы сейчас с поезда и побежал к ней, а добежав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы не стыдясь, чтобы выплакать всю накопившуюся боль и тоску...

Буранный Едигей сдавленно застонал, глядя на те огоньки в степи, уже исчезающие в стороне. И стоял так у дверей тамбура, всхлипывая неслышно и не оборачиваясь, не обращая внимания на шумные хождения пассажиров по поезду. Лицо его было мокрым от слез... и была возможность открыть дверь и переступить черту...

А поезд шел раскачиваясь.

...С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай...

...Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озекы, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гриневичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакумдычак, большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды — до полудня и полудни.

Внимательно просматривая поверхность степи, примечая все, что шевелилось внизу, вплоть до ползущих жуков и юрких ящериц, коршун молча летел над сарозеками, степенно намахивая крыльями, постепенно набирая высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и одновременно приближался, перемещаясь плавными витками, к своему излюбленному месту охоты — к территории закрытой зоны. С тех пор как этот обширный район был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живности и разного рода пернатых, потому что лисы и другое рыскающее зверье уже не смели проникать сюда беспре-

пятственно. Зато коршуна изгородь была нипочем. Тем он и пользовался. Она обернулась ему на благо. Хотя как сказать. Третьего дня засек он сверху маленького зайчонка, и, когда кинулся на него камнем, зайчишка успел заскочить под проволоку, а коршун чуть не напоролся с размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало шипов. Несколько пушинок с груди потом отделились в воздухе, полетели сами по себе. С тех пор коршун старался подальше держаться от этой опасной изгороди.

Так летел он в тот час, как подобает владыке, с достоинством, не суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот день с утра — в первый и теперь, во второй, залет — он заметил большое оживление людей и машин на обширных бетонированных полях космодрома. Машины катили взад-вперед особенно часто кружили возле конструкций с ракетами. Эти ракеты, нацеленные в небо, давно уже стояли особняком на своих площадках, коршун давно уже привык к ним, но сегодня что-то происходило вокруг. Слишком много машин, слишком много людей, слишком много движения...

Не осталось не замеченным коршуном и то, что проследовавшие давеча по степи человек на верблюде, два тархатящих трактора и рыжая лохматая собака стояли теперь у колючей проволоки снаружи, точно бы не могли ее преодолеть... Рыжая собака раздражала коршуна своим праздным видом и особенно тем, что околачивалась возле людей, но он ничем не выказал своего отношения к рыжей собаке, не опустится же он до такой степени... Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая, что будет дальше, что собирается делать эта рыжая собака, виляющая хвостом возле людей...

Едигей поднял бородатое лицо и увидел в небе парящего коршуна. «Белохвост, крупный, — подумал он. — Эх, был бы коршуном, кто бы мог меня остановить. Полетел бы и сел бы на кумбезах * Ана-Бейита!..»

В это время впереди на дороге показалась машина. «Едет! — обрадовался Буранный Едигей. — Ну, дай бог, все уладится!» «Газик» быстро примчался к шлагбауму и резко остановился сбоку от дверей постового помещения. Часовой ждал приближения машины. Он сразу вытянулся, отдал честь начальнику по караулу лейтенанту

* Кумбез — гробница.

Тансыкбаеву, когда тот вышел из «газика», и начал докладывать:

— Товарищ лейтенант, докладываю вам...

Но начальник караула приостановил его жестом и, когда часовой на полуслове убрал руку от козырька, обернулся к стоящим по ту сторону шлагбаума.

— Кто тут посторонние? Кто ждет? Это вы? — спросил он, обращаясь к Буранному Едигею.

— Биз, бизгой, карагым. Ана-Бейитке желтпей турып калдык. Калай да болса, жардамдеш, карагым*, — сказал Едигей, стараясь, чтобы награды на груди попали на глаза молодому офицеру.

На лейтенанта Тансыкбаева это не произвело никакого впечатления, он лишь сухо кашлянул и, когда старик Едигей намерился было снова заговорить, холодно упрямил его:

— Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей, — пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми глазами.

Буранный Едигей засмутился сильно:

— Э-э, извини, извини. Если не так, то извини. — И растерянно умолк, потеряв дар речи и ту мысль, которую собирался высказать.

— Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу просьбу, — вырывая старика, обратился Длинный Эдильбай.

— Изложите, только покороче, — предупредил начальник по караулу.

— Одну минутку. Пусть присутствует при этом сын покойного. — Длинный Эдильбай обернулся в сторону Сабитжана. — Сабитжан, эй, Сабитжан, подойди сюда!

Но тот, прохаживаясь в стороне, лишь отмахнулся неприязненно:

— Договаривайтесь сами.

Длинному Эдильбаю пришлось покраснеть.

— Извините, товарищ лейтенант, он в обиде, что так получается. Это сын умершего, нашего старика Казангана. И тут еще зять его, вон он, в прицепе.

Зять подумал, кажется, что его требуют, и стал слезать с прицепа.

* Мы, это мы, сынок. Не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь, помоги нам, сынок.

— Эти детали меня не интересуют. Излагайте суть дела, — предложил начальник по караулу.

— Хорошо.

— Коротко и по порядку.

— Хорошо. Коротко и по порядку.

Длинный Эдильбай принялся докладывать все как есть — кто они, откуда, с какой целью и почему появились здесь. И пока он говорил, Едигей следил за лицом лейтенанта Тансыкбаева и понял, что ничего хорошего ждать им не следует. Тот стоял по ту сторону плагбаума лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу посторонних лиц. Едигей это понял и померк в душе. И все, что было связано со смертью Казангапа, все его приготовления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить молодых согласиться хоронить покойника на Ана-Бейите, все его думы, все то, в чем он видел связующую нить свою с историей сарозеков, — все это вмиг превратилось в ничто, все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Тансыкбаева. Едигей стоял оскорбленный в лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез за трусливого Сабитжана, который вчера еще только, запиная водку шубатом, разглагольствовал о богах, о радиоуправляемых людях, стараясь поразить боранлинцев своими познаниями, а теперь не желал и рта раскрыть! Смешно и обидно было ему за нелепо обряженного в ковровую попону с кистями Буранного Каранара — зачем и кому это надо теперь! Этот лейтенант Тансыкбаев, не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке, — разве он мог оценить убранство Каранара? Смешно и обидно было Едигею за несчастного Казангапова зятя-алкоголика, который, ни капли не употребив спиртного, ехал в трясушем прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, а теперь подошел и встал рядом, судя по всему, еще надеясь, что их пропустят на кладбище. Даже за собаку свою, за рыжего пса Жолбарса, смешно и обидно было Буранному Едигею — зачем увязался он по своей доброй воле и зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину, потому и примкнула, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни трактористы Калибек и Жумагали — что им сказать теперь и что они должны думать после всего этого?

Униженный и расстроенный Едигей, однако, явственно ощущал, как поднималась в нем волна негодования,

как горячо и яростно исторгалась кровь из сердца, и, зная себя, зная, как опасно ему поддаться зову гнева, старался заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он права не совладать с собой, покуда покойник лежал еще непогребенный в прицепе. Не к лицу старому человеку возмущаться и повышать голос. Так думал он, стискивая зубы и напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни жестом того, что происходило в нем в тот час.

Как и ожидал Едигей, разговор Длинного Эдилъбая с начальником по караулу сразу же обернулся в безнадежную сторону.

— Ничем не могу помочь. Въезд на территорию зоны посторонним лицам категорически воспрещен, — сказал лейтенант, выслушав Длинного Эдилъбая.

— Мы не знали об этом, товарищ лейтенант. А иначе мы не приехали бы сюда. Зачем, спрашивается? А теперь, раз уж мы оказались здесь, попросите вышестоящее начальство, чтобы нам разрешили похоронить человека. Не везти же нам его обратно.

— Я уже докладывал по службе. И получил указание не допускать никого ни под каким предлогом.

— Какой же это предлог, товарищ лейтенант? — изумился Длинный Эдилъбай. — Стали бы мы искать предлог. Зачем? Чего мы не видели там, в вашей зоне? Если бы не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать?

— Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний, сюда доступа нет никому.

— Что значит посторонний! — вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. — Кто посторонний? Мы посторонний? — сказал он, багровея дряблым, испитым лицом, а губы у него стали сизые.

— Вот именно: с каких это пор? — поддержал его Длинный Эдилъбай.

Стараясь не преступить некую дозволенную границу, зять-алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выставляя слова:

— Это наш, наше сарозекский кладбище. И мы, мы, сарозекский народ, имеем право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-Ана, никто не знал, что будет такой закрытый зон.

— Я не намерен вступать с вами в спор, — заявил на то лейтенант Тансыкбаев. — Как начальник караульной службы на данное время, я еще раз заявляю — на

территорию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким причинам нет и не будет.

Наступило молчание. «Только бы выдержать, только бы не обругать его!» Заклиная себя, Буранный Едигей глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна, плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он этой спокойной и сильной птице. И решил, что дальше нечего испытывать судьбу, придется убираться, не лезть же силой. И, глянув еще раз на коршуна, Едигей сказал:

— Товарищ лейтенант, мы уйдем. Но передай, кто там у вас, генерал или еще больше, — так нельзя! Я, как старый солдат, говорю — это неправильно.

— Что правильно, что нет — обсуждать приказ свыше я не имею права. И чтобы в дальнейшем вы знали, мне велено передать: это кладбище подлежит ликвидации.

— Апа-Бейит? — поразился Длинный Эдильбай.

— Да. Если оно так называется.

— А почему? Кому мешает это кладбище? — возмутился Длинный Эдильбай.

— Там будет новый микрорайон.

— Чудеса! — развел руками Длинный Эдильбай. — Вам больше негде, места не хватает?

— Так предусмотрено по плану.

— Слушай, а кто твой отец? — спросил в упор Буранный Едигей лейтенанта Тансыкбаева.

Тот очень удивился:

— Это еще зачем? Какое ваше дело?

— А такое, что не должен ты говорить нам о том, о чем должен был сказать там, где задумали уничтожить нашу кладбище. Или твои отцы не умирали, или ты сам никогда не умрешь?

— Это не имеет никакого отношения к делу.

— Хорошо, давай по делу. Тогда давай, товарищ лейтенант, кто у вас самый главный, пусть меня выслушает, я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому главному вашему начальнику. Скажи, что старый фронтовик, сарозекский житель Едигей Жангельдин хочет сказать ему пару слов.

— Этого я сделать не могу. Мне указано, как положено действовать.

— А что ты можешь? — опять вмешался зять-алкоголик. И сказал с отчаяния: — Милица на базаре и то лучше!

— Прекратите безобразия! — выпрямился, бледнея,

начальник по караулу. — Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!

Едигей и Длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге, а он продолжал кричать, оглядываясь:

— Саган жол да жетпейди, саган жер да жетпейди! Урдым сендейдин аузын! *

Сабитжан, который все это время отмалчивался, мрачно прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, выступив навстречу:

— Ну что? От ворот поворот! Так оно и должно было быть! Разбежались! Ана-Бейит! И только! А теперь вот как побитые собаки!

— Это кто побитая собака? — кинулся к нему разошедшийся не на шутку зять-алкоголик. — Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь! Какая разница — тот, что стоит там, или ты? А еще бахвалишься — я государственный человек! Да ты никакой не человек!

— А ты, пьянчуга, язык-то придержи! — крикливо пригрозил Сабитжан, чтобы слышно было и на посту. — Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтоб духу твоего близко не было! Какая польза обществу, уничтожать надо таких, как ты!

С этими словами Сабитжан повернулся спиной, плевать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой, и, проявляя вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно стал распорядиться, приказывая трактористам:

— А вы что разинули рты? А ну заводите трактора! Как приехали, так и уедем! К чертовой матери! Давай поворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался других!

Калибек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд, тем временем зять-алкоголик вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойника. А Жумагали ждал, пока Буранный Едигей отвяжет своего Каранара от ковша экскаватора. Видя это, Сабитжан, однако, не воздержался, а, наоборот, заторопил:

— А ты чего не заводишь? Давай заводи! Нечего! Крути назад! Похоронил, называется! Я ведь сразу был против! А теперь хватит! Крути домой!

Пока Буранный Едигей садился на верблюда — надо было вначале заставить его прилечь, потом взгромоздить

* Тебе и дороги не хватает, тебе и земли не хватает! Плевал я на тебя!

ся в седло и поднять его на ноги, — трактора пошли вперед, в обратный путь. Покатили по своим же следам. И даже ждать не стали. Это Сабитжан, сидя в первом тракторе, торопил...

А в небе кружил все тот же коршун. Наблюдая свысока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его своим беспцельным поведением, коршун следил за ней. Непонятно было, почему собака не побежала, когда двинулись трактора, вперед, а осталась возле человека с верблюдом, ждала, пока он сядет верхом, и потом потрусила за ним.

Люди на тракторах, следом верховой на верблюде, а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по сарозекам в направлении обрыва Малакумдычап, где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстряя полет, позвал бы свою подругу, что охотилась по соседству на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо, но на этот раз коршун-белохвост несколько не беспокоился — птенцы давно уже оперились и покинули гнездо. С каждым днем укрепляя крылья, янтарно-глазые, горбатоклювые коршунята уже вели самостоятельную жизнь, имели свои владения в сарозекской округе и теперь не очень-то дружелюбно встречали старого коршуна, когда он заглядывал мимоходом в их края...

Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах его угодий. И особенно вызывала любопытство рыжая лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях. Что связывало ее с ними, почему она не охотилась сама по себе, а бегала, виляя хвостом, за теми, кто занят был своими делами? Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали внимание коршуна какие-то блестящие предметы на груди человека, едущего на верблюде. Именно поэтому коршун сразу заметил, как человек на верблюде, следовавший за тракторами, вдруг резко свернул в сторону и пошел суходолом наискось, обгоняя трактора наперерез, пока они огибали суходол. Он погонял верблюда все быстрее и быстрее, размахивая плетью, блестящие предметы на груди его подпрыгивали и позвякивали, верблюд резво бежал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака припустила галопом...

Так продолжалось некоторое время, пока человек на верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Малакумдычапа. И трактора затормозили перед ним.

— Что? Что случилось еще? — выглянул из кабины Сабитжан.

— Ничего. Глуши моторы, — велел Буранный Едигей. — Разговор есть.

— Какой еще разговор? Не задерживай, накатались досыта!

— Сейчас ты задерживаешь. Потому что хоронить будем здесь.

— Хватит издеваться! — вспыхнул Сабитжан, еще больше раздергивая на шее галстук, свалывшийся в тряпку. — Я сам буду хоронить на разъезде, и никаких разговоров! Хватит!

— Слушай, Сабитжан! Отец твой, никто не спорит. Но ведь в мире не ты один. Ты послушай все-таки. Что случилось там, на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видно, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Такого не бывало. Это позор на наши головы. Вовеки такого не бывало.

— А мне плевать на все, — возразил Сабитжан.

— Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь. А завтра будет стыдно. Подумай. Позора ничем не сможешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад.

Тем временем из кабины экскаватора вылез Длинный Эдильбай, с тележки спустился зять-алкоголик, экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Едигей верхом на Каранаре преграждал им дорогу.

— Слушайте, джигиты, — говорил он. — Не идите против человеческого обычая, не идите против природы! Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв Малакумдычап. Это тоже наша земля сарозекская! Здесь, на Малакумдычапе, Найман-Ана великий плач имела. Послушайте меня, старика Едигея. Пусть будет здесь могила Казангапа. И моя могила тоже пусть будет здесь. Бог даст, сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно, еще есть время — вон там, на самом обрыве, предадим покойника земле!

Длинный Эдильбай глянул на указанное Едигеем место.

— Как, Жумагали, проедет твой экскаватор? — спросил он у того.

— Да проедет, почему же нет. Вон тем краем...

— Ты постой, тем краем! Ты вперед у меня спроси! — вмешался Сабитжан.

— А вот мы и спрашиваем, — ответил Жумагали. — Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?

— А я говорю, хватит издеваться! Это надругательство! Поехали на разъезд!

— Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство как раз и будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь! — сказал ему Жумагали. — Так что ты крепко подумай!

Все примолкли.

— Вот что, вы как хотите, — бросил Жумагали, — а я поеду могилу рыть. Мой долг вырыть яму, да поглубже. Пока еще время терпит. В темноте никто этим заниматься не будет. А вы тут как хотите.

И Жумагали направился к своему экскаватору «Беларусь». Не мешкая завел его, вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него на верх обрыва Малакумдычап. За ним зашагал Длинный Эдильбай, за ним тронул своего Каранара Буранный Едигей.

Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку:

— Если не поедешь туда, — указал он на обрыв, — то я лягу под трактор. Мне это ничего не стоит. — С этими словами он встал перед трактористом.

— Ну чего, куда ехать? — спросил Калибек у Сабитжана.

— Кругом сволочи, кругом собаки! — выругался вслух Сабитжан. — Ну чего стоишь, заводи давай, трогай за ними!

Коршун в небе теперь следил за тем, как люди завозились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дергаться, выгребая землю и откладывая ее в кучу возле себя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подползал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одинокий человек перед странным неподвижным предметом, завернутым в белое и положенным посередине тележки. Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но больше держалась верблюда, лежала у его ног.

Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле. Он плавно отвалил в сторону и,

наметывая широкие круги над степью, полетел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по пути и глянуть заодно, что происходило там, на космодроме.

Вот уже вторые сутки на площадках космодрома царило напряжение, работа шла непрерывно днем и ночью. Весь космодром со всеми прилегающими спецслужбами и зонами ночью был ярко освещен сотнями мощных прожекторов. На земле было светлее, чем днем. Десятки тяжелых, легких и специальных машин, много ученых и инженеров были заняты подготовкой к осуществлению операции «Обруч».

Антиспутники, изготовленные для уничтожения летательных аппаратов в космосе, давно уже стояли, нацеленные к подъему, на особой площадке космодрома. Но по соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использовании до особой договоренности, так же как подобные средства американской стороны. Теперь они находили свое новое применение в связи с экстренной программой по осуществлению транскосмической операции «Обруч». Такие же ракеты-роботы готовились к синхронному запуску по операции «Обруч» и на американском космодроме Невада.

Время старта в сарозекских широтах приходилось на восемь часов вечера. Ровно в восемь ноль-ноль ракеты должны были стартовать. Последовательно с интервалом полторы минуты в дальний космос должны были уйти девять сарозекских антиспутниковых ракет, предназначенных образовать в плоскости Запад — Восток постоянно действующий обруч вокруг земного шара против проникновения инопланетных летательных аппаратов. Невадским ракетам-роботам предстояло установить обруч Север — Юг.

Ровно в три часа пополудни на космодроме Сары-Озек-1 включилась контрольно-предпусковая система «Пятиминутка». Через каждые пять минут на всех экранах и табло по всем службам и каналам вспыхивали напоминания, сопровождаемые звуковым дубляжем: «До старта четыре часа пятьдесят пять минут! До старта четыре часа пятьдесят минут...» За три часа до старта должна была включиться система «Минутка».

К тому времени орбитальная станция «Паритет» успела изменить параметры своего местонахождения в космосе и одновременно были перекодированы каналы радиосвязи бортовых систем станции, чтобы исключить всякую возможность контактов с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1.

А между тем совершенно напрасно, поистине как глас вопиющего в пустыне, из вселенной шли непрерывные радиосигналы паритет-космонавтов 1-2 и 2-1! Они отчаянно просили не прерывать с ними связи. Они не оспаривали решение Обценупра, предлагая еще и еще раз изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией, исходя, разумеется, прежде всего из интересов землян, они не настаивали на немедленной реабилитации своей, соглашаясь ждать и делать все, чтобы их нахождение на планете Лесная Грудь служило обоюдной пользе межгалактических отношений, но они возражали против предпринимаемой сторонами операции «Обруч» — против той глобальной самоизоляции, ведущей, как они считали, к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуются тысячелетия... Но было уже поздно... Никто на свете не мог их слушать, никто не предполагал, что в мировом пространстве безмолвно взывают их голоса...

Тем временем на космодроме Сары-Озек-1 уже включилась система «Минутка», необратимо отсчитывающая приближение старта по операции «Обруч»...

А коршун, совершив очередной облет, снова появился над обрывом Малакумдычап. Люди там были заняты своим делом — они работали лопатами. Экскаватор уже нарыл большую кучу земли. Теперь он запускал ковш глубоко в яму, выскребая последние порции грунта. Вскоре он перестал дергаться и отошел в сторону, а люди принялись что-то докапывать на дне ямы. Верблюд был на месте, однако рыжей собаки не было видно. Куда она могла деться? Коршун подлетел поближе и, описывая плавный круг над обрывом, поворачивая голову то направо, то налево, увидел наконец, что рыжая собака лежала под прицепом, растянувшись у самых колес. Собака валялась себе, отдыхая, а может быть, дремала, и дела ей не было до коршуна. Сколько летал он сегодня над ней, а она даже ни разу не взглянула в небо. Суслик и тот, привстав столбиком, вначале оглядится вокруг и посмотрит вверх, нет ли опасности какой. А собака приспособилась к жизни возле людей и ничего не боится, и никаких тебе забот. Вон как разлеглась! Коршун завис на мгновение, напрягся и выпустил из-под хвоста резкую, как выстрел, зеленовато-белую струю в сторону собаки. Вот, мол, на тебе!

Что-то шмякнулось сверху на рукав Буранного Еди-

гея. То был птичий помет. Откуда бы? Едигей стяхнул помет с рукава, поднял голову. «Опять белохвост, все тот же. Уже в который раз над головой. К чему бы это? Ишь как хорошо ему. Плывет, качается по воздуху». Мысль его прервал голос Длинного Эдильбая со дна ямы:

— Ну что, Едике, ты посмотри! Хватит или еще конать?

Едигей хмуро склонился над краем могилы.

— Отойди в тот угол, — попросил он Длинного Эдильбая, — а ты, Калибек, вылезай пока. Спасибо тебе. Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки, Эдильбай, еще чуток расширить надо казанак, пусть будет просторней.

Отдав эти распоряжения, Буранный Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось перед молитвой. И тогда душа его более или менее водворилась на место — пусть не удалось похоронить Казангапа на Ана-Бейите, но как бы то ни было — избежали большого позора: не приволокли покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчивости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на Боранлы-Буранный. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее шести, к тому времени готовились поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли захоронение и дорога по сарозекам. Даже при быстрой езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно вечером. Ничего не поделаешь...

После омовения Едигей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из-за экскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду.

— Сын усопшего раба божьего Казангапа Сабитжан, встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите тело на край могилы, положите покойника головой к закату, — произнес он несколько торжественным голосом. И когда все было сделано, сказал: — А теперь обратимся все в сторону священной Каабы. Раскройте ладони перед собой, думайте о боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час.

Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен, а

ведь могли же сказать: брось, старик, голову морочить, какой ты, к шутам, мулла, давай лучше прикопаем мертвеца побыстрей да вернемся домой. Мало того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребении стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в арабских странах, откуда пришла религия, молятся на кладбищах стоя во весь рост. Так это или не так, но хотелось Едигею быть поближе головой к небесам.

Но, прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении к нему правой и левой сторонам света и таким же наклоном головы земле и небу и тем самым кланяясь творцу за незыблемое устройство мира, в котором человек возникает случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня и ночи, опять же увидел Буранный Едигей коршуна-белохвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть пошевелявая крыльями, размеренно описывая высоко в небе круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от внутреннего настроения, а, наоборот, помогал сосредоточиться в кругу высоких дум.

Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках завернутый в белую кошму усопший Казангап. Произнося вполголоса погребальные слова, заблаговременно предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные для всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбежно и для тех, кому еще суждено будет народиться, произнося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходящими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете.

«Если ты и вправду слышишь, о боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услышь и меня. Я думаю, одно другому не будет мешать.

Вот мы стоим здесь, на обрыве Малакумдычап, у развернутой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещанном кладбище. А коршун в небе смотрит на нас, как стоим мы с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казангапом. Ты, великий, если ты есть, прости нас и прими захоронение раба твоего Казангапа с милостью, и если он того заслуживает, определи его душу на вечный покой.

Все, что от нас зависело, мы постарались сделать. Остальное за тобой!

А теперь, раз я к тебе обращаюсь в такой час, выслушай меня, пока я еще жив и могу мыслить. Ясное дело, люди только и знают что просят тебя — пожалей, помоги, огради! Слишком много ждут от тебя по всякому случаю — правому и неправому. Убийца и тот хочет в душе, чтобы ты был на его стороне. А ты все молчишь. Что и говорить, на то мы люди, кажется нам, особенно когда туго приходится, что только для того ты и существуешь в небесах. Тяжко тебе, понимаю, мольбам нашим нет конца. А ты один. Я же ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается.

Сокрушаюсь я крепко оттого, что заветное кладбище наше, где покоится Найман-Ана, отныне нам недоступно. А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в этом месте, на Малакумдычапе, где ступала нога ее. Да будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы предадим земле. И если правда, что душа после смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем, хотелось бы мне превратиться в коршуна-белохвоста. Чтобы летать вон как тот, над сарозеками и глядеть не наглядеться с высоты на землю свою. Вот и все.

А насчет завещания своего я накажу молодым, что прибыли сюда вместе со мной. Скажу я им, что наказ свой возлагаю на них — похоронить меня здесь. Вот только не вижу, кто совершит молитву надо мной. В бога они не верят и молитв никаких не знают. Ведь никто не знает и никогда не узнает, есть ли бог на свете. Одни говорят — есть, другие говорят — нет. Я хочу верить, что ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе, и дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, создатель. В этом ведь все дело! А они, молодые, об этом не думают и молитвы презирают. Но что они смогут сказать себе и другим в великий час смерти? Жалко мне их, как постигнут они сокровенность свою человеческую, если нет у них пути возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы богом? Прости мне это кощунство. Никто из них богом не станет, но иначе и ты перестанешь существовать. Если человек не сможет возомнить себя втайне богом, ратующим за всех, как должен был бы ратовать ты о людях, то и тебя, боже, тоже не станет... А мне не хотелось бы, чтобы ты исчез бесследно...

Вот и вся добука моя и печаль. Прости, однако, если что не так. Я простой человек, как умею, так и думаю. Сейчас доскажу я последние слова из священных писаний, и мы приступим к погребению. Благослови же нас на это дело...»

— Аминь, — заключил Буранный Едигей молитву и, помолчав, еще раз глянув на коршуна, с пронзительной тоской, медленно обернулся лицом к стоящим позади молодым, о которых только что высказал свое мнение самому господу богу. Кончилась беседа с богом. Перед ним стояли те самые пятеро, с которыми он прибыл сюда и с которыми предстояло сейчас совершить наконец столь затянувшееся захоронение.

— Так вот, — сказал он им раздумчиво, — что полагалось сказать в молитве, я сказал за вас. Теперь приступим к делу.

Скинув пиджак с орденами, Буранный Едигей сам опустился на дно ямы. Ему помогал Длинный Эдилбай. Сабитжан, как сын умершего, оставался в стороне, выражая свою скорбь склоненной головой, те трое — Калибек, Жумагали и зять-алкоголик — сняли с носилок кошмяной куль с телом и опустили его в могилу на руки Едигея и Длинного Эдилбая.

«Вот и настал час разлуки! — подумал Буранный Едигей, укладывая Казангапа на вечное пребывание на ложе его в глубине земли. — Прости, что долго не могли определить тебя на место. Целый день возили то туда, то сюда. Но так уж получилось. Не по нашей вине не погребли мы тебя на Ана-Бейите. Но не думай, я это дело не оставлю так. Дойду куда угодно. Пока жив, не промолчу. Уж я им скажу! А ты будь спокоен на своем месте. Велика, необъятна земля, а место тебе в десять вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь. И ты здесь не будешь один. Скоро и я водворюсь сюда, Казангап. Ты подожди меня немного. И не сомневайся. Если только беды какой не приключится, если умру своей смертью, прибуду и я сюда, и будем снова вместе. И превратимся мы в землю сарозекскую. Только знать того не будем. Знать об этом дано, лишь покуда живешь. Потому я и говорю вроде бы тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже нет. Вот так мы и уйдем — из былого в небылое. А поезда будут пробегать по сарозекам, и другие люди придут вместо нас...»

И тут старый Едигей не выдержал, всхлипнул — все, что было-перебыло за многие годы их жизни на разъезде

Боранлы-Буранный, вся эта, казалось бы, громадная протяженность во времени, все беды, невзгоды и радости поместились в несколько прощальных слов и несколько минут погребения. Как много и как мало дано человеку!

— Ты слышишь, Эдильбай? — проговорил Едигей, соприкасаясь с ним в тесной яме плечом к плечу. — Ты и меня похорони здесь, чтобы рядышком был. И вот так вот руками своими уложи меня и пристрой, как это делаем мы сейчас, чтобы и мне лежалось удобно. Ты даешь мне слово?

— Перестань, Едике, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет божий. А я тут сам закончу дело. Успокойся, Едике, вылезай. Не томись.

Размазывая глину на мокром лице, Буранный Едигей поднялся со дна ямы, ему протянули руки, и он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Калибек принес канистру с водой, чтобы старик умылся.

Потом они кинули вниз по пригоршне земли и принялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вначале лопатами, а потом Жумагали сел за руль, сталкивая грунт бульдозером. Потом снова укладывали кучу над могилой лопатами...

А коршун-белохвост все парил над ними, наблюдая за облачком пыли и за этой горсткой людей, совершавших нечто странное на обрыве Малакумдычап. Он отметил какое-то особое оживление среди них, когда на месте ямы стала вырастать свежая гора земли. И рыжая собака, потягиваясь, встала тем временем со своего места из-под прицепа и тоже теперь крутилась возле людей. Ей-то чего надо было? Только старый верблюд, украшенный попоной с кистями, все так же невозмутимо жевал свою жвачку, непрестанно двигая челюстями...

Кажется, люди собирались уезжать. Но нет, вот один из них, хозяин верблюда, развернул ладони перед лицом, все остальные поступили так же...

Время уже не терпело. Буранный Едигей обвел всех долгим, пристальным взглядом и сказал:

— Вот и делу конец. Хорошим ли человеком был Казангап?

— Хорошим, — ответили те.

— Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын, пусть возьмет на себя долг отца.

Никто ничего не ответил. И тогда Калибек сказал за всех:

— Нет, никаких долгов за ним не осталось.

— В таком случае что ты скажешь, сын Казангапа Сабитжан? — обратился к нему Едигей.

— Спасибо вам всем, — коротко ответил тот.

— Ну раз так, значит — двинулись домой! — сказал Жумагали.

— Сейчас. Одно только слово, — остановил его Буранный Едигей. — Я среди вас тут самый старший. Просьба у меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь меня, вот тут, бок о бок с Казангапом. Вы слышали? Это мой завет, стало быть, так и понимайте.

— Этого никто не знает, Едике, как и что будет, зачем заранее думать, — высказал свое сомнение Калибек.

— Все равно, — настаивал Едигей. — Мне полагается сказать, а вам полагается выслушать. А когда дело дойдет до дела, вспомните, что был такой завет.

— А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике, выкладывай заодно, — подшутил Длинный Эдильбай, желая разрядить обстановку.

— А ты не смейся, — обиделся Едигей. — Я ведь всерьез.

— Запомним, Едике, — успокоил его Длинный Эдильбай. — Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь. Не сомневайся.

— Ну вот это слово джигита, — удовлетворенно пробурчал тот.

Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Каранара, Буранный Едигей пошел рядом с Сабитжаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило.

— Слушай, Сабитжан, руки у нас освободились, и есть теперь один разговор. Как же нам быть с кладбищем нашим, с Ана-Бейитом? — сказал он ему вопрошающим тоном.

— А что как быть? Тут и голову нечего ломать, — ответил Сабитжан. — План есть план. Ликвидировать его будут, сносить по плану. Вот и весь сказ.

— Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец. И теперь мы его похоронили. Одного в чистом поле — единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный, работаешь в области, слава богу,

разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал...

— Ну и что из этого? — перебил его Сабитжан.

— А то, что помог бы ты мне в разговоре, отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывая, прямо завтра же к начальству здешнему, есть же в этом городке кто-то самый главный. Нельзя, чтобы Ана-Бейит сровняли с землей. Ведь тут история.

— Это все старые сказки, пойми ты, Едиге. Здесь решаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это — тьфу! Да и все равно туда нас не пустят.

— Так если не идти, то не пустят. А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать на встречу. Не гора же он, чтобы с места не трогаться.

Сабитжан метнул на Едигея раздраженный взгляд.

— Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рассчитывай. Мне это совсем ни к чему.

— Так бы и сказал. И разговору конец. А то сказки!

— А как же ты думал? Что я, так и побегу! Ради чего? У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу пускать? Чтобы отсюда один звонок — и мне пинком под задницу? Нет уж, спасибо!

— Ты свое спасибо сам принимай, — бросил Буранный Едигей и добавил зло: — Пинком под задницу! Выходит, только для задницы и живешь!

— А как же ты думал? Вот именно! Это тебе просто — кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот послаще попало.

— Во-во! Прежде головой дорожили, а теперь, выходит, задницей.

— Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи.

— Ясно. Разговору конец! — отрезал Буранный Едигей. — Справляй поминки, и больше нам с тобой, бог даст, не встретиться никогда.

— Уж как придется, — скривился Сабитжан.

На том они разминулись. Пока Буранный Едигей садился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя моторы, но он им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом, да побыстрее насколько можно, люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога, он, мол, поедет сам по себе.

Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше.

Теперь он был один, в полном одиночестве посреди сарозеков, если не считать верного пса Жолбарса, который вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь не по пути с ними. Но Едигей не обращал на него внимания. Если бы собака убежала домой, он и этого не заметил бы. Не до того было. Свет был не мил. Ничем не мог подавить он в себе душевного ожога — гнетущую, тревожную опустошенность после разговора с Сабитжаном. Эта сосущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак. Каялся Буранный Едигей, крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Сабитжан тот человек, к которому стоило обращаться за советом да помощью? Понадеялся — грамотный, мол, образованный, ему проще найти язык с такими, как он сам. А что из того, что обучался он на разных курсах да в разных институтах? Может быть, его и обучали для того, чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть, где-то есть кто-то пронизательный, как дьявол, который много трудов вложил в Сабитжана, чтобы Сабитжан стал Сабитжаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Сабитжан, рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о радиоуправляемых людях. Грядут, мол, те времена! А что, если им самим уже управляет по радио тот невидимый и всемогущий...

И чем больше думал старик Едигей об этом, тем обидней и безысходней становилось от этих мыслей.

— Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабитжана.

Но он вовсе не собирался мириться со случившимся, он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Едигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел бы сделать, с чего начать и как приступить к тому, чтобы думы и чаяния его по поводу Ана-Бейита дошли до тех, кто действительно может изменить приказ. Дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их... Но как этого достичь? Куда двинуться, что предпринять?

В тяжком раздумье Едигей огляделся по сторонам, сидя верхом на Каранаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались под краснопесча-

ные яры Малакумдычапа. Трактора давно уже исчезли вдаль, умолкли. Укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранял в памяти сарозекскую быль, — старик Казангап лежал теперь на обрыве, под свеженасыпанным холмом одинокой могилы, посреди необъятной степи. Едигей представил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет, приплюснется, сольется с пыльным цветом сарозек и трудно, а то и просто невозможно будет различить его на этом месте. Тому и быть — никто не переживет землю, никто не минет земли...

Солнце набрякло, отяжелело к концу дня, принижаясь под непосильной тяжестью своей все ближе и ближе к горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на минуту. В чреве заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озаренного пространства.

Размышляя, обдумывая обстановку, Буранный Едигей решил на то, чтобы снова вернуться к шлагбауму на проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда похороны были позади, когда он не был связан никем и ничем и потому мог полагаться на себя в полной мере настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему природой и опытом, он мог позволить себе действовать на свой страх и риск так, как считал нужным. Прежде всего он хотел добиться, заставить караульную службу пойти на то, чтобы его препроводили, пусть даже под конвоем, к большому начальству, или, если требуется, принудить того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать его, Буранного Едигея. И тогда бы он все высказал в лицо...

Все это им было продумано, и Буранный Едигей решил действовать без промедления — непосредственным поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проявить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или встречи, с этого начать, заставить охранников понять, что он будет добиваться своего до тех пор, пока его не выслушает самый высокий чин, а не какой-то Тансыкбаев...

На том он укрепился духом.

— Таубакель! Если у собаки есть хозяин, то у волка есть бог! — ободрил он себя и уверенно приударил Каранара, направляясь в сторону шлагбаума.

Тем временем солнце закатилось, стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем тем-

но. Оставалось с полкилометра до плагбаума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Едигей заранее спешился. Слез, сползая с седла. Верблюды были ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще какой начальник попадет, а то ведь не захочет разговаривать, скажет: «Проваливай отсюда вместе со своим верблюдом. Откуда ты такой взялся! Никакого приема тебе нет» — и в кабинет не допустит. Но главное же, не знал Едигей, чем кончится его затея, долго ли придется ждать результата, так уж лучше было заявиться самому по себе, а Каранара оставить пока стреноженным в степи. Будет себе пастись.

— Ну ты здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем оно обернется, — пробурчал он, обращаясь к Каранару, но больше для собственной уверенности. Пришлось все-таки укладывать верблюда наземь, потому что требовалось достать из переметной сумы путы, приготовить их.

Пока Едигей возился впотьмах с путами, было так тихо вокруг, царил такая безмерная тишина, что он слышал собственное дыхание и попискивание, жужжание каких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось великое множество звезд, вдруг сразу обьявившихся в чистом небе. Так тихо было, точно бы ожидалось что-то...

Даже привычный к сарозекской тишине Жолбарс и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то. Что ему могло не нравиться в этой тишине?

— Ты еще мне тут путаешься под ногами! — недовольно высказался хозяин. Потом он подумал: а куда девать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело, собака не отстанет. Будешь гнать — все равно не уйдет. Появляться же с собакой просителем опять же было не к лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают: вот, мол, пришел старик права отстаивать, а с ним никого, кроме собаки. Так уж лучше быть без пса. И тогда Едигей решил привязать его на длинном поводу к верблюжьей сбруе. Пусть побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку: «Жолбарс! Жолбарс! Поди сюда!» — и склонился, чтобы заладить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе, что-то сдвинулось в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вснышка грозного пламени. Буран

ный Едигей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с места... Собака в страхе кинулась к ногам человека. То пошла на подъем первая боевая ракета-робот по транскосмической заградительной операции «Обруч». В сарозеках было ровно восемь часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья и еще, и еще... Ракеты уходили в дальний космос закладывая вокруг земного шара постоянно действующий кордон, чтобы ничего не изменилось в земных делах, чтобы все осталось как есть...

Небо обвалывалось на голову, разверзаясь в клубы кипящего пламени и дыма... Человек, верблюд, собака — эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом, они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами...

Но как долго бы они ни бежали, то был бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота вокруг...

А они бежали — человек, верблюд и собака, бежали без оглядки, и вдруг, почудилось Едигею, откуда ни возьмись появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из белого платка Найман-Аны, когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына-манкурта... Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и светопреставлении:

— Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец — Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай...

И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме...

Через несколько дней из Кызыл-Орды прибыли на Боранлы-Буранный обе дочери Едигея, Сауле и Шарпат, с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине сарозекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра.

Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у Едигеева порога, отца дома не было, а Укубала выскочила навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь, все приговаривала:

— Многое спасибо тебе, господи! Вот кстати-то! Отец как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!

— А где же отец? — спросила Шарапат.

— А он вернется к вечеру. Уехал с утра в Почтовый ящик, к начальству тамошнему. Все дела у него там какие-то! Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же ваш дом, дети мои...

Поезда в этих краях все так же шли с запада на восток и с востока на запад...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

КОММЕНТАРИИ

Повесть «БЕЛЫЙ ПАРОХОД (ПОСЛЕ СКАЗКИ)» опубликована в 1970 году (впервые книгой — в сборнике прозы Ч. Айтматова, изданном «Молодой гвардией»). Повесть «Белый пароход» неоднократно переиздавалась, вышла в социалистических странах, во Франции (1971 г.), Италии и Англии (1972 г.), Испании (1973 г.).

Публикация повести «Белый пароход (После сказки)» вызвала оживленную дискуссию в печати. В «Литературной газете» с полемическими статьями выступили Вл. Солоухин, Д. Стариков, А. Алимжанов, в «Комсомольской правде» — Б. Панкин, в «Правде» с большой статьей выступил Ю. Лукин. С В. Солоухиным и Д. Стариковым полемизирует Вл. Воронов в монографии «Чингиз Айтматов». В книжном издании «Белого парохода» автор несколько изменил конец, усилив тему социального оптимизма повести.

Заключая дискуссию о повести «Белый пароход (После сказки)», Чингиз Айтматов писал в «Литературной газете» о мифах и народных легендах: «Они, как известно, есть память народа, сгусток его жизненного опыта, его философии и истории, выраженных в сказочно-фантастической форме; наконец, это его заветы будущим поколениям. Человек формировал свой духовный мир через познание внешней природы и осознал себя как часть этой природы. Меня поразило, что проблемы, поставленные в древней притче о Матери-оленихе, не утратили своего нравственного смысла и до наших дней.

Извечная, неустанная устремленность человека к добру, к разумному господству над природой нашла в легенде не просто беспристрастное отражение, но и свое критическое осмысление. Критерий гуманности здесь — отношение человека к природе. И отсюда закономерно вытекает проблема нравственная — проблема

совести как одной из важнейших функций сознания, как одного из качеств, отличающих человека от всего остального в мире...»

Автор рассказывает о том, как возник замысел повести: «Первоначально эта повесть была задумана как небольшой рассказ. Я хотел написать несколько элегическую историю, вспомнить свою юность и тех людей, которых я знал тогда и которых давно уже нет.

Однажды осенью я с друзьями поехал в горы. В пути нас застала снежная буря. Все мгновенно побелело, на расстоянии метра уже ничего не было видно. В конце концов мы добрались до деревни и там заночевали. Рано утром небо прояснилось, и мы поехали дальше. На дороге нам встречались грузовики, застигнутые пургой. Когда мы приехали в лесничество, нам навстречу вышел старик, мы немного поговорили с ним. Я расспросил о дороге, он рассказал мне, что грузовики ночью стояли перед его домом, а водители почевали у него. Я спрашивал о его жизни, его работе и о том, водятся ли в этих местах маралы. Он ответил: нет, в прошлом году после долгого времени появился один, но его застрелили.

Это практически и послужило реальной основой рассказа. Я хотел написать о том, что видел — как я еду, встречаю грузовики и разговариваю со стариком. Хотел описать, как был расстроен старик смертью марала. Он пытался отговорить людей стрелять в марала. Именно в этой местности жило племя бугу, которое почитало марала как священное животное. Но когда я начал писать, я почувствовал, что за этим эпизодом скрывается нечто более важное. Появился образ мальчика. Да, я припоминаю, там бегал и мальчишка. Старик сказал, что он его водит в школу. Я спросил, где же школа, и он ответил — далеко, за лесом. Каждый день он отводил его туда и забирал. Так что в основе моей повести были реальные люди и события. Но литература должна перерабатывать реальные факты. Когда уже была написана половина повести, я еще не знал, как поведет себя мальчик в конце.

...В начале работы я иначе представлял себе финал повести. Марала убивают, и мальчику очень жалко его. Рано утром он встает, видит, как падает снег. Дедушка сажает его на лошадь и едет вместе с ним в школу. Но потом решил сделать эту минорную концовку — другой, символичной: мальчик уплывает к белому пароходу, своему идеалу...»

Повесть «Белый пароход (После сказки)» получила высокую оценку за рубежом. В частности — французский журнал «Плезир де Франс» писал после выхода повести: «Признаемся, что мы не видим, какая из западных литератур смогла бы сегодня предложить нам произведение того же уровня, что и «Белый пароход».

В 1977 году Чингизу Айтматову как автору повести и сценария фильма «Белый пароход» (режиссер Б. Шамшиев) присуждена Государственная премия СССР.

Повесть «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ» опубликована в 1977 году. Повесть неоднократно переиздавалась, вышла в ГДР (1978 г.), во Франции (1978 г.), Италии (1979 г.) и других странах.

Сам Чингиз Айтматов так говорит об истории создания повести: «Я никогда не был там, я не знаю нивхов, но я знаком с самым первым писателем этой народности, с Владимиром Санги. И Владимир Санги рассказал мне следующую историю.

Семилетним мальчиком он вместе со взрослыми выехал в море на охоту. Они попали в густой туман и потеряли ориентировку. По истечении двух дней, когда они потеряли всякую надежду на спасение, они увидели пролетающую птицу и взяли курс по направлению ее полета. Спустя некоторое время была обнаружена земля. Это событие было взято мною за основу, но, как видите, все остальное полностью изменено».

«...Я не задавался целью показать, как они заблудились, а потом вновь нашли землю, я писал не приключенческую повесть. Я хотел заставить читателей задуматься о главных ценностях человеческой нравственности, о чувстве долга, то есть обо всем том, что делает человека человеком.

...Меня часто спрашивают, почему в моем творчестве преобладает трагическое. И я всегда отвечаю: это зависит не только от меня. Человек сам по себе — существо глубоко трагическое. Как только он начинает осознавать жизнь вокруг себя, он понимает, что однажды должен уйти из жизни. В этом заключается его трагедия. Все остальные существа живут и не знают, что когда-нибудь им придется умереть. А человек знает, что каждая жизнь кончается, и знает, как она кончается. В этом корень трагизма, ощущаемого человеком. И этот трагизм всегда сопутствует человеку. Он теряет своих близких, своих друзей, смерть неотвратимо угрожает и ему. Жизнь — это постоянное переплетение радостей и огорчений, приобретений и потерь, успехов и неудач, к которым примешиваются проблемы социальной, общественной жизни».

В повести использованы мифы народа нивхов; миф как форма общения играет здесь значительную роль. В. Санги замечает: «Айтматов создал мифологическую поэму о самопожертвовании...»

Повесть вызвала множество откликов в печати: см., например, статью Б. Панкина в «Правде» (4/1—1978 г.), статью В. Новико-

ва «Художественный поиск» (журнал «Новый мир» № 12 за 1978 г.), «Легенда, созданная заново. Диалог критика и прозаика» (беседа А. Руденко и В. Санги — журнал «Дружба народов» № 1 за 1978 г.).

Ряд откликов был помещен в зарубежной печати. К. Прево писал в «Юманите» после выхода в 1978 году однотомника повестей Ч. Айтматова во Франции: «Как и у Кириска, так и у Султанмурата в основе отношений к отцу лежит не конфликт, а органическая духовная общность с ним, совсем не свойственная французской литературе». В Италии книге Чингиза Айтматова (в нее вошли повести «Ранние журавли» и «Пегий пес, бегущий краем моря») присуждена в 1980 году литературная премия в городе Вольтерра — «за глубокий гуманизм произведений советского писателя».

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ (Буранный полустанок)» — первый роман Чингиза Айтматова. Роман опубликован в конце 1980 года, вышел несколькими изданиями и вызвал множество откликов в печати и читательских писем. «Писем много, — говорит Чингиз Айтматов, — особенно сейчас, после публикации романа «И дольше века длится день». Пишут со всей страны, из-за рубежа. Письма большие, некоторые на целую тетрадь...»

В «Правде» выступил Н. Потапов (основные положения статьи сохранены в предисловии к этому трехтомнику), в «Литературной газете» — Е. Сидоров, в «Литературной России» — В. Коркин. Критики единодушно оценили роман как выдающееся произведение современной литературы.

С открытым письмом обратился к Айтматову поэт Михаил Дудин. «...Знаешь, Чингиз, что твой Едигей Буранный — мой ровесник и брат по солдатской судьбе. На нем держится роман, на его плечах, как на плечах Атланта, лежит всей тяжестью земля, в прошлом и будущем населяющих ее людей, и он, Едигей, незаметно и естественно справляется с этой своей обязанностью». В статье «Все касается всех» («Вопросы литературы», № 12, 1980 г.) Чингиз Айтматов так говорит о своем романе: «...я не просто представитель определенной национальной литературы, я обязан сказать нечто большее».

В этом смысле «нечто большее» я попытался сказать в новом произведении, в романе «И дольше века длится день». Сейчас, когда книга уже написана, я испытываю потребность поразмыслить над тем, что, собственно, явилось для меня путеводной звездой.

Писатель не может четко сформулировать, о чем его сочинение. Ему всегда кажется, что недостаточно слов, чтобы выразить

всю полноту замысла. И все же попытаюсь. Сокровенная мысль моего романа не нова, но и неизбежна: главная суть и ценность мироздания — человек. Можно писать о социальных, о международных, о научно-технических условиях современности, но при этом лишь Человек, живущий на земле, должен тревожить и вдохновлять художника. Без этого искусство мертво.

...Образ Буранного Едигея — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.

...Должно быть, самое трагическое и большое противоречие конца XX века заключается в возможностях человеческого гения и невозможности осуществить их в силу причин, которые внешне паблюдателю должны показаться невероятными, настолько они абсурдны. Политические, идеологические, расовые барьеры, порожденные империализмом, сегодня загораживают путь в раздираемом противоречиями мире к самому продолжению рода человеческого, не говоря уже о его развитии.

...Большое место в новом романе занимают и современные космические исследования. Я не ученый и даже не писатель-фантаст, но мне необходим был этот пласт, чтобы с космических высот посмотреть на то, что происходит «внизу».

СОДЕРЖАНИЕ

Белый пароход. (После сказки). *Повесть*
5

Пегий пес, бегущий краем моря. *Повесть*
115

И дольше века длится день. (Буранный полустанок). *Роман*.
195

Комментарии
490

Айтматов Ч. Т.

А 36 Собрание сочинений: В 3-х т. — Т. 2. Повести.
Роман. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 495 с.

В пер.: 2 р. 150 000 экз.

Во второй том трехтомного Собрания сочинений известного советского писателя, лауреата Ленинской и Государственных премий Чингиза Айтматова входят получившие широкое признание повести «Белый пароход (После сказки)», «Пегий пес, бегущий краем моря» и роман «И дольше века длится день (Буранный полустанок)».

А 4702010200—089
078(02)—83 Подписное

ББК 84Ки7
С (Кирг)2

ИБ № 3518

Чингиз Торекулович Айтматов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т 2

Редактор **С. Шевелев**
Художник **Ю. Бажанов**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректоры **В. Назарова, Н. Самойлова**

Сдано в набор 15.07.82. Подписано в печать 19.04.83. А05106.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 26,04.
Учетно-изд. л. 28,2. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.).
Цена 2 руб. Заказ 1213.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства
и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

